

A large red circle is centered on the page, partially overlapping the text area. It has a thin black outline.A small blue circular logo is located in the lower right quadrant of the red circle. It features a stylized white design that resembles a face or a gear.

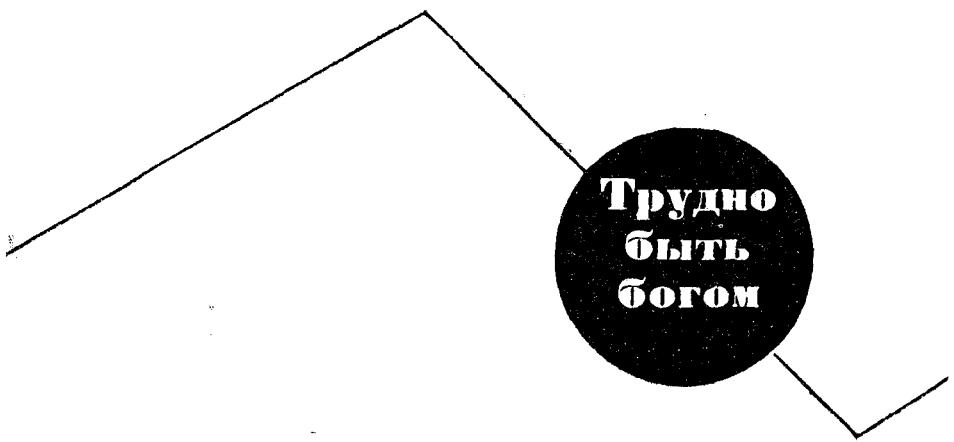
Аркадий Стругацкий
Борис Стругацкий



Библиотека
современной
фантастики
в 15 томах

Аркадий
Стругацкий
Борис
Стругацкий
**Трудно быть
богом**
**Понедельник
начинается
в субботу**

7
том



Художник

Е. ГАЛИНСКИЙ

Редколлегия:

К. АНДРЕЕВ,
А. ГРОМОВА,
И. ЕФРЕМОВ,
С. ЖЕМАЙТИС,
Е. ПАРНОВ,
А. СТРУГАЦКИЙ

*То были дни, когда я познал,
что значит: страдать; что
значит: стыдиться; что зна-
чит: отчаяться.*

Пьер Абеляр

*Должен вас предупредить вот
о чем. Выполняя задание, вы
будете при оружии для под-
нятия авторитета. Но пу-
скать его в ход вам не разре-
шается ни при каких обстоя-
тельствах. Ни при каких об-
стоятельствах. Вы меня по-
няли?*

Эрнест Хемингуэй

ПРОЛОГ

Ложа Анкиного арбалета была выточена из черной пластмассы, а тетива была из хромистой стали и на-тягивалась одним движением бесшумно скользящего рычага. Антон новшеств не признавал: у него было доб- рое боевое устройство в стиле маршала Тока, короля Пица Первого, окованное черной медью, с колесиком, на которое наматывался шнур из воловых жил. Что касается Пашки, то он взял пневматический карабин. Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и неспособен к столярному ремеслу.

Они причалили к северному берегу, где из желто- го песчаного обрыва торчали корявые корни мачтовых сосен. Анка бросила рулевое весло и оглянулась. Солн- це уже поднялось над лесом, и все было голубое, зе- леное и желтое — голубой туман над озером, темно- зеленые сосны и желтый берег на той стороне. И небо над всем этим было ясное, белесовато-синее.

— Ничего там нет, — сказал Пашка.

Ребята сидели, перегнувшись через борт, и глядели в воду.

— Громадная щука, — уверенно сказал Антон.

— С вот такими плавниками? — спросил Пашка.

Антон промолчал. Анка тоже посмотрела в воду, но увидела только собственное отражение.

— Искупаться бы, — сказал Пашка, запуская ру- ку до локоть в воду. — Холодная, — сообщил он.

Антон перебрался на нос и спрыгнул на берег. Лодка закачалась. Антон взялся за борт и выжида- тельно посмотрел на Пашку. Тогда Пашка поднялся, заложил весло за шею, как коромысло, и, извиваясь нижней частью туловища, пропел:

Старый шкипер Вицлупудли!
Ты, приятель, не заснул?
Берегись, к тебе несутся
Стаи жареных акул!

Антон молча рванул лодку.

— Эй-эй! — закричал Пашка, хватаясь за борта.
— Почему жареных? — спросила Анка.
— Не знаю, — ответил Пашка. Они выбрались из лодки. — А верно здорово? Стai жареных акул!

Они потащили лодку на берег. Ноги проваливались во влажный песок, где было полным-полно высохших иголок и сосновых шишек. Лодка была тяжелая и скользкая, но они выволокли ее до самой кормы и остановились, тяжело дыша.

— Ногу отдавил, — сказал Пашка и принялся правлять красную повязку на голове. Он внимательно следил за тем, чтобы узел повязки был точно над правым ухом, как у носатых ируканских пиратов. — Жизнь не дорога, о-хэй! — заявил он.

Анка сосредоточенно сосала палец.

— Занозила? — спросил Антон.
— Нет. Содрала. У кого-то из вас такие когти...
— Ну-ка, покажи.
Она показала.

— Да, — сказал Антон. — Травма. Ну, что будем делать?

— На плечо — и вдоль берега, — предложил Пашка.

— Стоило тогда вылезать из лодки, — сказал Антон.

— На лодке и курица может, — объяснил Пашка. — А по берегу: тростники — раз, обрывы — два, омыты — три. С налимами. И сомы есть.

— Стai жареных сомов, — сказал Антон.
— А ты в омут нырял?
— Ну, нырял.
— Я не видел. Не довелось как-то увидеть.
— Мало ли чего ты не видел.

Анка повернулась к нем спиной, подняла арбалет и выстрелила в сосну шагах в двадцати. Посыпалась кора.

— Здорово, — сказал Пашка и сейчас же выстрелил из карабина. Он целился в Анкину стрелу, но промазал. — Дыхание не задержал, — объяснил он.

— А если бы задержал? — спросил Антон. Он смотрел на Анку.

Анка сильным движением оттянула рычаг тетивы. Мускулы у нее были отличные — Антон с удовольствием смотрел, как прокатился под смуглой кожей твердый шарик бицепса.

Анка очень тщательно прицелилась и выстрелила еще раз. Вторая стрела с треском воткнулась в ствол немного ниже первой.

— Зря мы это делаем, — сказала Анка, опуская арбалет.

— Что? — спросил Антон.

— Деревья портим, вот что. Один малек вчера стрелял в дерево из лука, так я его заставила зубами стрелы выдергивать.

— Пашка, — сказал Антон. — Сбегал бы, у тебя зубы хорошие.

— У меня зуб со свистом, — ответил Пашка.

— Ладно, — сказала Анка. — Давайте что-нибудь делать.

— Неохота мне лазить по обрывам, — сказал Антон.

— Мне тоже неохота. Пошли прямо.

— Куда? — спросил Пашка.

— Куда глаза глядят.

— Ну? — сказал Антон.

— Значит, в сайву, — сказал Пашка. — Тошка, пошли на Забытое Шоссе. Помнишь?

— Еще бы!

— Знаешь, Анечка... — начал Пашка.

— Я тебе не Анечка, — резко сказала Анка. Она терпеть не могла, когда ее называли не Анка, а как-нибудь еще.

Антон это хорошо запомнил. Он быстро сказал:

— Забытое Шоссе. По нему не ездят. И на карте его нет. И куда идет, совершенно неизвестно.

— А вы там были?

— Были. Но не успели исследовать.

— Дорога из ниоткуда в никуда, — изрек оправившийся Пашка.

— Это здорово! — сказала Анка. Глаза у нее стали как черные щелки. — Пошли. К вечеру дойдем?

— Ну что ты! До двенадцати дойдем.

Они полезли вверх по обрыву. На краю обрыва Пашка обернулся. Внизу было синее озеро с желтоватыми проплешинаами отмелей, лодка на песке и большие расходящиеся круги на спокойной маслянистой воде у берега — вероятно, это плеснула та самая щука. И Пашка ощущил обычный неопределенный восторг, как всегда, когда они с Тошкой удирали из интерната и впереди был день полной независимости с неразведенными местами, с земляникой, с горячими безлюдными лугами, с серыми ящерицами, с ледяной водой в неожиданных родниках. И, как всегда, ему захотелось заорать и высоко подпрыгнуть, и он немедленно сделал это, и Антон, смеясь, поглядел на него, и он увидел в глазах Антона совершенное понимание. А Анка вложила два пальца в рот и лихо свистнула, и они вошли в лес.

Лес был сосновый и редкий, ноги скользили по опавшей хвое. Косые солнечные лучи падали между прямых стволов, и земля была вся в золотых пятнах. Пахло смолой, озером и земляникой; где-то в небе верещали невидимые пичужки.

Анка шла впереди, держа арбалет под мышкой, и время от времени нагибалась за кровавыми, будто лакированными, ягодами земляники. Антон шел следом с добрым боевым устройством маршала Тоца на плече. Колчан с добрыми боевыми стрелами тяжко похлопывал его по заду. Он шел и поглядывал на Анкину шею — загорелую, почти черную, с выступающими позвонками. Иногда он озирался, ища Пашку, но Пашки не было видно, только по временам то справа, то слева вспыхивала на солнце его красная повязка. Антон представил себе, как Пашка бесшумно скользит между соснами с карабином наготове, вытянув вперед хищное худое лицо с облупленным носом. Пашка крался по сайве, а сайва не шутит. Сайва, приятель, спросит — и надо успеть ответить, подумал Антон и

пригнулся было, но впереди была Анка, и она могла оглянуться. Получилось бы нелепо.

Анка оглянулась и спросила:

— Вы ушли тихо?

Антон пожал плечами.

— Кто же уходит громко?

— Я, кажется, все-таки нашумела, — озабоченно сказала Анка. — Я уронила таз — и вдруг в коридоре шаги. Наверное, Дева Катя — она сегодня в дежурных. Пришлося прыгать в клумбу. Как ты думаешь, Тошка, что за цветы растут на этой клумбе?

Антон сморщил лоб.

— У тебя под окном? Не знаю. А что?

— Очень упорные цветы. «Не гнет их ветер, не валит буря». В них прыгают несколько лет, а им хоть бы что.

— Интересно, — сказал Антон глубокомысленно. Он вспомнил, что под его окном тоже клумба с цветами, которые «не гнет ветер и не валит буря». Но он никогда не обращал на это внимания.

Анка остановилась, подождала его и протянула горсть земляники. Антон аккуратно взял три ягоды.

— Бери еще, — сказала Анка.

— Спасибо, — сказал Антон. — Я люблю собирать по одной. А Дева Катя вообще ничего, верно?

— Это кому как, — сказала Анка. — Когда человеку каждый вечер заявляют, что у него ноги то в грязи, то в пыли...

Она замолчала. Было удивительно хорошо идти с нею по лесу плечом к плечу вдвоем, касаясь голыми локтями, и поглядывать на нее — какая она красивая, ловкая и необычно доброжелательная и какие у нее большие серые глаза с черными ресницами.

— Да, — сказал Антон, протягивая руку, чтобы снять блеснувшую на солнце паутину. — Уж у нее-то ноги не пыльные. Если тебя через лужи носят на руках, тогда, понимаешь, не запылишься...

— Кто это ее носит?

— Генрих с метеостанции. Знаешь, здоровый такой, с белыми волосами.

— Правда?

— А чего такого? Каждый малек знает, что они влюблены.

Они опять замолчали. Антон глянул на Анку. Глаза у Анки были как черные щелочки.

— А когда это было? — спросила она.

— Да было в одну лунную ночь, — ответил Антон без всякой охоты. — Только ты смотри не разболтай.

Анка усмехнулась.

— Никто тебя за язык не тянул, Тошка, — сказала она. — Хочешь земляники?

Антон машинально сгреб ягоды с испачканной ладошкой и сунул в рот. Не люблю болтунов, подумал он. Терпеть не могу трепачей. Он вдруг нашел аргумент.

— Тебя тоже когда-нибудь будут таскать на руках. Тебе приятно будет, если начнут об этом болтать?

— Откуда ты взял, что я собираюсь болтать? — рассеянно сказала Анка. — Я вообще не люблю болтунов.

— Слушай, что ты задумала?

— Ничего особенного. — Анка пожала плечами. Немного погодя она доверительно сообщила: — Знаешь, мне ужасно надоело каждый божий вечер дважды мыть ноги.

Бедная Дева Катя, подумал Антон. Это тебе не сайва.

Они вышли на тропинку. Тропинка вела вниз, и лес становился все темнее и темнее. Здесь буйно росли папоротник и высокая сырья трава. Стволы сосен были покрыты мхом и белой пеной лишайников. Но сайва не шутит. Хриплый голос, в котором не было ничего человеческого, неожиданно проревел:

— Стой! Бросай оружие — ты, благородный дон, и ты, дона!

Когда сайва спрашивает, надо успеть ответить. Точным движением Антон сшиб Анку в папоротники налево, а сам прыгнул в папоротники направо, покатился и залег за гнилым пнем. Хриплое эхо еще от-

давалось в стволах сосен, а тропинка была уже пуста. Наступила тишина.

Антон, завалившись на бок, вертел колесико, натягивая тетиву. Хлопнул выстрел, на Антона посыпался какой-то мусор. Хриплый нечеловеческий голос сообщил:

— Дон поражен в пятку!

Антон застонал и подтянул ногу.

— Да не в эту, в правую, — поправил голос.

Было слышно, как Пашка хихикает. Антон осторожно выглянул из-за пня, но ничего не было видно в сумеречной зеленой каше.

В этот момент раздался пронзительный свист и шум, как будто упало дерево.

— Уай!.. — сдавленно заорал Пашка. — Пощады! Пощады! Не убивайте меня!

Антон сразу вскочил. Навстречу ему из папоротников, пятясь, вылез Пашка. Руки его были подняты над головой. Голос Анки спросил:

— Тошка, ты видишь его?

— Как на ладони, — одобрительно отозвался Антон. — Не поворачиваться! — крикнул он Пашке. — Руки за голову!

Пашка покорно заложил руки за голову и объявил:

— Я ничего не скажу.

— Что полагается с ним делать, Тошка? — спросила Анка.

— Сейчас увидишь, — сказал Антон и удобно уселся на пень, положив арбалет на колени. — Имя! — рявкнул он голосом Гексы Ируканского.

Пашка изобразил спиной презрение и неповинование. Антон выстрелил. Тяжелая стрела с треском вонзилась в ветку над Пашкиной головой.

— Ого! — сказал голос Анки.

— Меня зовут Бон Саранча, — неохотно признался Пашка. — «И здесь он, по-видимому, лежит — один из тех, что были с ним».

— Известный насильник и убийца, — пояснил Антон. — Но он никогда ничего не делает даром. Кто послал тебя?

— Меня послал дон Сатарина Беспощадный, — сорвал Пашка.

Антон презрительно сказал:

— Вот эта рука оборвала нить зловонной жизни дона Сатарина два года назад в Уроцище Тяжелых Мечей.

— Давай я всажу в него стрелу? — предложила Анка.

— Я совершенно забыл, — поспешило сказал Пашка. — В действительности меня послал Арат Красивый. Он обещал мне сто золотых за ваши головы.

Антон хлопнул себя по коленям.

— Вот брехун! — вскричал он. — Да разве станет Арат связываться с таким негодяем, как ты!

— Можно я все-таки всажу в него стрелу? — кро-
вожадно спросила Анка.

Антон демонически захохотал.

— Между прочим, — сказал Пашка, — у тебя от-
стрелена правая пятка. Пора бы тебе истечь кровью.

— Дудки! — возразил Антон. — Во-первых, я все
время жую кору белого дерева, а во-вторых, две пре-
красные варварки уже перевязали мне раны.

Папоротники зашевелились, и Анка выпала на тро-
пинку. На щеке ее была царапина, колени были вы-
мазаны в земле и зелени.

— Пора бросить его в болото, — объявила она. —
Когда враг не сдается, его уничтожают.

Пашка опустил руки.

— Вообще-то ты играешь не по правилам, —
сказал он Антону. — У тебя все время получается,
что Гекса хороший человек.

— Много ты знаешь! — сказал Антон и тоже вы-
шел на тропинку. — Сайва не шутит, грязный на-
емник.

Анка вернула Пашке карабин.

— Вы что, всегда так палите друг в друга? —
спросила она с завистью.

— А как же! — удивился Пашка. — Что, нам
кричать: «Кх-кх! Пу-пу!» — что ли? В игре нужен
элемент риска!

Антон небрежно сказал:

— Например, мы часто играем в Вильгельма
Телля.

— По очереди, — подхватил Пашка. — Сегодня
я стою с яблоком, а завтра он.

Анка оглядела их.

— Вот как? — медленно сказала она. — Интерес-
но было бы посмотреть.

— Мы бы с удовольствием, — ехидно сказал Ан-
тон. — Яблока вот нет.

Пашка широко ухмылялся. Тогда Анка сорвала
у него с головы пиратскую повязку и быстро свернула
из нее длинный кулек.

— Яблоко — это условность, — сказала она. —
Вот отличная мишень. Сыграем в Вильгельма Телля.

Антон взял красный кулек и внимательно осмотр-
ел его. Он взглянул на Анку — глаза у нее были как
щелочки. А Пашка развлекался — ему было весело.
Антон протянул ему кулек.

— «В тридцати шагах промаха в карту не дам, —
ровным голосом сказал он. — Разумеется, из знако-
мых пистолетов».

— «Право? — сказала Анка и обратилась к Паш-
ке: — А ты, мой друг, попадешь ли в карту на три-
дцати шагах?»

Пашка пристраивал колпак на голове.

— «Когда-нибудь мы попробуем, — сказал он,
скаля зубы. — В свое время я стрелял не худо».

Антон повернулся и пошел по тропинке, вслух
считая шаги:

— Пятнадцать... шестнадцать... семнадцать...

Пашка что-то сказал — Антон не слышал, и
Анка громко рассмеялась. Как-то слишком громко.

— Тридцать, — сказал Антон и повернулся.

На тридцати шагах Пашка выглядел совсем ма-
леньким. Красный треугольник кулька торчал у него
на голове, как шутовской колпак. Пашка ухмылялся.
Он все еще играл. Антон нагнулся и стал неторопли-
во натягивать тетиву.

— Благословляю тебя, отец мой Вильгельм! —
крикнул Пашка. — И благодарю тебя за все, что бы-
ни случилось.

Антон наложил стрелу и выпрямился. Пашка и Анка смотрели на него. Они стояли рядом. Тропинка была как темный сырой коридор между высоких зеленых стен. Антон поднял арбалет. Боевое устройство маршала Топа стало необычайно тяжелым. Руки дрожат, подумал Антон. Плохо. Зря. Он вспомнил, как зимой они с Пашкой целый час кидали снежки в чугунную шишку на столбе ограды. Кидали с двадцати шагов, с пятнадцати и с десяти — никак не могли попасть. А потом, когда уже надоело и они уходили, Пашка небрежно, не глядя бросил последний снежок и попал. Антон изо всех сил вдавил приклад в плечо. Анка стоит слишком близко, подумал он. Он хотел было крикнуть ей, чтобы она отошла, но понял, что это было бы глупо. Выше. Еще выше... Еще... Его вдруг охватила уверенность, что, если он даже повернется к ним спиной, фунтовая стрела все равно вонзится точно в Пашкину переносицу, между веселыми зелеными глазами. Он открыл глаза и посмотрел на Пашку. Пашка больше не ухмылялся. А Анка медленно-медленно поднимала руку с растопыренными пальцами, и лицо у нее было напряженное и очень взрослое. Тогда Антон поднял арбалет еще выше и нажал на спусковой крючок. Он не видел, куда ушла стрела.

— Промазал, — сказал он очень громко.

Переступая на негнущихся ногах, он двинулся по тропинке. Пашка вытер красным кульком лицо, встряхнув, развернул его и стал повязывать голову. Анка нагнулась и подобрала свой арбалет. Если она этой штукой трахнет меня по голове, подумал Антон, я ей скажу спасибо. Но Анка даже не взглянула на него.

Она повернулась к Пашке и спросила:

— Пошли?

— Сейчас, — сказал Пашка.

Он посмотрел на Антона и молча постучал себя согнутым пальцем по лбу.

— А ты уже испугался, — сказал Антон.

Пашка еще раз постучал себя пальцем по лбу и пошел за Анкой. Антон плелся следом и старался подавить в себе сомнения.

А что я, собственно, сделал, вяло думал он. Чего они надулись? Ну Пашка ладно, он испугался. Только еще неизвестно, кто больше трусил — Вильгельм-папа или Телль-сын. Но Анка-то чего? Надо думать, перепугалась за Пашку. А что мне было делать? Вот тащусь за ними, как родственник. Взять и уйти. Поверну сейчас налево, там хорошее болото. Может, сову поймаю. Но он даже не замедлил шага. Это значит навсегда, подумал он. Он читал, что так бывает очень часто.

Они вышли на заброшенную дорогу даже раньше, чем думали. Солнце стояло высоко, было жарко. За шиворотом кололись хвойные иголки. Дорога была бетонная, из двух рядов серо-рыжих растрескавшихся плит. В стыках между плитами росла густая сухая трава. Но обочинах было полно пыльного репейника. Над дорогой с гудением пролетали бронзовки, и одна нахально стукнула Антона прямо в лоб. Было тихо и томно.

— Глядите! — сказал Пашка.

Над серединой дороги на ржавой проволоке, протянутой попerek, висел круглый жестяной диск, покрытый облупившейся краской. Судя по всему, там был изображен желтый прямоугольник на красном фоне.

— Что это? — без особого интереса спросила Анка.

— Автомобильный знак, — сказал Пашка. — «Въезд запрещен».

— «Кирпич», — пояснил Антон.

— А зачем он? — спросила Анка.

— Значит, вон туда ехать нельзя, — сказал Пашка.

— А зачем тогда дорога?

Пашка пожал плечами.

— Это же очень старое шоссе, — сказал он.

— Анизотропное шоссе, — заявил Антон. Анка стояла к нему спиной. — Движение только в одну сторону.

— Мудры были предки, — задумчиво сказал Пашка. — Этак едешь-едешь километров двести,

вдруг — хлоп! — «кирпич». И ехать дальше нельзя, и спросить не у кого.

— Представляешь, что там может быть за этим знаком! — сказала Анка. Она огляделась. Кругом на много километров был безлюдный лес, а не у кого было спросить, что там может быть за этим знаком. — А вдруг это вовсе и не «кирпич»? — сказала она. — Краска-то вся облупилась...

Тогда Антон тщательно прицелился и выстрелил. Было бы здорово, если бы стрела перебила проволоку и знак упал бы прямо к ногам Анки. Но стрела попала в верхнюю часть знака, пробила ржавую жестянку и вниз посыпалась только высохшая краска.

— Дурак, — сказала Анка, не оборачиваясь.

Это было первое слово, с которым она обратилась к Антону после игры в Вильгельма Телля. Антон криво улыбнулся.

— «And enterprises of great pitch and moment, — произнес он, — with this regard their current turn away and loose the name of action» *.

Верный Пашка закричал:

— Ребята, здесь прошла машина! Уже после грозы! Вон трава примята! И вот...

Везет Пашке, подумал Антон. Он стал разглядывать следы на дороге и тоже увидел примятую траву и черную полосу от протекторов в том месте, где автомобиль затормозил перед выбоиной в бетоне.

— Ага! — сказал Пашка. — Он выскоцил из-под знака!

Это было ясно каждому, но Антон возразил:

— Ничего подобного, он ехал с той стороны.

Пашка поднял на него изумленные глаза.

— Ты что, ослеп?

— Он ехал с той стороны, — упрямо повторил Антон. — Пошли по следу.

— Ерунду ты городишь! — возмутился Пашка. — Во-первых, никакой порядочный водитель не поедет

* «И начинанья, вознесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия» (Шекспир, «Гамлет»).

под «кирпич». Во-вторых, смотри: вот выбоина, вот тормозной след... Так откуда он ехал?

— Что мне твои порядочные! Я сам непорядочный, и я пойду под знак.

Пашка взбеленился.

— Иди куда хочешь! — сказал он, слегка заикаясь. — Недоумок. Совсем обалдел от жары!

Антон повернулся и, глядя прямо перед собой, пошел под знак. Ему хотелось только одного: чтобы впереди оказался какой-нибудь взорванный мост и чтобы нужно было прорваться на ту сторону. Какое мне дело до этого порядочного! — думал он. — Пусть идут, куда хотят.. со своим Пашенькой. Он вспомнил, как Анка срезала Павла, когда тот назвал ее Аничкой, и ему стало немного легче. Он оглянулся.

Пашку он увидел сразу: Бон Саранча, согнувшись в три погибели, шел по следу таинственной машины. Ржавый диск над дорогой тихонько покачивался, и сквозь дырку мелькало синее небо. А на обочине сидела Анка, уперев локти в голые колени и положив подбородок на сжатые кулаки.

...Они возвращались уже в сумерках. Ребята гребли, а Анка сидела на руле. Над черным лесом поднималась красная луна, неистово вопили лягушки.

— Так здорово все было задумано, — сказала Анка грустно. — Эх, вы!..

Ребята промолчали. Здесь Пашка вполголоса спросил:

— Тошка, что там было, под знаком?

— Взорванный мост, — ответил Антон. — И скелет фашиста, прикованный цепями к пулемету. — Он подумал и добавил: — Пулемет весь врос в землю...

— Н-да... — сказал Пашка. — Бывает. А я там одному машину помог починить.

ГЛАВА 1

Когда Румата миновал могилу святого Мики — седьмую по счету и последнюю на этой дороге,

было уже совсем темно. Хваленый хамахарский жеребец, взятый у дона Тамэо за карточный долг, оказался сущим барахлом. Он вспотел, сбил ноги и двигался скверной, вихляющейся рысью. Румата сжимал ему коленями бока, хлестал между ушами перчаткой, но он только уныло мотал головой, не ускоряя шага. Вдоль дороги тянулись кусты, похожие в сумраке на клубы застывшего дыма. Нестерпимо звенели комары. В мутном небе дрожали редкие тусклые звезды. Дул порывами несильный ветер, теплый и холодный одновременно, как всегда осенью в этой приморской стране с душными, пыльными днями и зябкими вечерами.

Румата плотнее закутался в плащ и бросил поводья. Торопиться не имело смысла. До полуночи оставался час, а Икающий лес уже выступил над горизонтом черной зубчатой кромкой. По сторонам тянулись распаханные поля, мерцали под звездами болота, воняющие неживой ржавчиной, темнели курганы и склонившиеся частоколы времен Вторжения. Далеко слева вспыхивало и гасло угрюмое зарево: должно быть, горела деревушка, одна из бесчисленных однообразных Мертвожорок, Висельников, Ограбиловок, недавно переименованных по августейшему указу в Желанные, Благодатные и Ангельские. На сотни миль — от берегов Пролива и до сайвы Икающего леса — простиравшаяся эта страна, накрытая одеялом комариных туч, раздираемая оврагами, затопляемая болотами, пораженная лихорадками, морами и зловонным насыщением.

У поворота дороги от кустов отделилась темная фигура. Жеребец шарахнулся, задирая голову. Румата подхватил поводья, привычно поддернул на правой руке кружева и положил ладонь на рукоятку меча, всматриваясь. Человек у дороги снял шляпу.

— Добрый вечер, благородный дон, — тихо сказал он. — Прошу извинения.

— В чем дело? — осведомился Румата, прислушиваясь.

Бесшумных засад не бывает. Разбойников выдает скрип тетивы, серые штурмовички неудержимо рыгают от скверного пива, баронские дружиинники алчно

сопят и гремят железом, а монахи — охотники за рабами — шумно чешутся. Но в кустах было тихо. Видимо, этот человек не был наводчиком. Да он и не был похож на наводчика — маленький плотный горожанин в небогатом плаще.

— Разрешите мне бежать рядом с вами? — сказал он, кланяясь.

— Изволь, — сказал Румата, шевельнув поводьями. — Можешь взяться за стремя.

Горожанин пошел рядом. Он держал шляпу в руке, и на его темени светлела изрядная лысина. Приказчик, подумал Румата. Ходит по баронам и прасолам, скапает лен или пеньку. Смелый приказчик, однако... А может быть, и не приказчик. Может быть, книгочай. Беглец. Изгой. Сейчас их много на ночных дорогах, больше, чем приказчиков... А может быть, шпион.

— Кто ты такой и откуда? — спросил Румата.

— Меня зовут Киун, — печально сказал горожанин. — Я иду из Арканара.

— Бежишь из Арканара, — сказал Румата, наклонившись.

— Бегу, — печально согласился горожанин.

Чудак какой-то, подумал Румата. Или все-таки шпион? Надо проверить... А почему, собственно, надо? Кому надо? Кто я такой, чтобы его проверять? Да не желаю я его проверять! Почему бы мне просто не поверить? Вот идет горожанин, явный книгочай, бежит, спасая жизнь... Ему одиноко, ему страшно, он слаб, он ищет защиты... Встретился ему аристократ. Аристократы по глупости и из спеси в политике не разбираются, а мечи у них длинные, и серых они не любят. Почему бы горожанину Киуну не найти бескорыстную защиту у глупого и спесивого аристократа? И все. Не буду я его проверять. Незачем мне его проверять. Поговорим, скроется время, расстанемся друзьями...

— Киун... — произнес он. — Я знал одного Киуна. Продавец снадобий и алхимик с Жестянной улицы. Ты его родственник?

— Увы, да, — сказал Киун. — Правда, дальний

родственник, но им все равно... до двенадцатого потомка.

— И куда же ты бежишь, Киун?

— Куда-нибудь... Подальше. Многие бегут в Ирукан. Попробую и я в Ирукан.

— Так-так, — произнес Румата. — И ты вообразил, что благородный дон проведет тебя через заставу?

Киун промолчал.

— Или, может быть, ты думаешь, что благородный дон не знает, кто такой алхимик Киун с Жестяной улицы?

Киун молчал. Что-то я не то говорю, подумал Румата. Он привстал на стременах и прокричал, подражая глашатаю на Королевской площади:

— Обвиняется и повинен в ужасных, непрощаемых преступлениях против бога, короны и спокойствия!

Киун молчал.

— А если благородный дон безумно обожает дона Рэбу? Если он всем сердцем предан серому слову и серому делу? Или ты считаешь, что это невозможно?

Киун молчал. Из темноты справа от дороги выдвинулась ломаная тень виселицы. Под перекладиной белело голое тело, подвешенное за ноги. Э-э, все равно ничего не выходит, подумал Румата. Он натянул повод, схватил Киуна за плечо и повернул лицом к себе.

— А если благородный дон вот прямо сейчас подвесит тебя рядом с этим бродягой? — сказал он, глядываясь в белое лицо с темными ямами глаз. — Сам. Скоро и проворно. На крепкой арканарской веревке. Во имя идеалов. Что же ты молчишь, грамотей Киун?

Киун молчал. У него стучали зубы, и он слабо корчился под рукой Руматы, как придавленная ящерица. Вдруг что-то с плеском упало в придорожную канаву, и сейчас же, словно для того, чтобы заглушить этот плеск, он отчаянно крикнул:

— Ну, вешай! Вешай, предатель!

Румата перевел дыхание и отпустил Киуна.

— Я пошутил, — сказал он. — Не бойся.

— Ложь, ложь... — всхлипывая, бормотал Киун. — Всюду ложь!..

— Ладно, не сердись, — сказал Румата. — Лучше подбери, что ты там бросил, — промокнет...

Киун постоял, качаясь и всхлипывая, бесцельно похлопал ладонями по плащу и полез в канаву. Румата ждал, устало сгребвшись в седле. Значит, так и надо, думал он, значит, иначе просто нельзя... Киун вылез из канавы, пряча за пазуху сверток.

— Книги, конечно, — сказал Румата.

Киун помотал головой.

— Нет, — сказал он хрипло. — Всего одна книга. Моя книга.

— О чём же ты пишешь?

— Боюсь, вам это будет неинтересно, благородный дон.

Румата вздохнул.

— Берись за стремя, — сказал он. — Пойдем.

Долгое время они молчали.

— Послушай, Киун, — сказал Румата. — Я пошутил. Не бойся меня.

— Славный мир, — проговорил Киун. — Веселый мир. Все шутят. И все шутят одинаково. Даже благородный Румата.

Румата удивился.

— Ты знаешь мое имя?

— Знаю, — сказал Киун. — Я узнал вас по обручу на лбу. Я так обрадовался, встретив вас на дороге...

Ну, конечно, вот что он имел в виду, когда назвал меня предателем, подумал Румата. Он сказал:

— Видишь ли, я думал, что ты шпион. Я всегда убиваю шпионов.

— Шпион... — повторил Киун. — Да, конечно. В наше время так легко и сытно быть шпионом. Орел наш, благородный дон Рэба озабочен знать, что говорят и думают поданные короля. Хотел бы я быть шпионом. Рядовым осведомителем в таверне «Серая Радость». Как хорошо, как почтенно! В шесть часов

вечера я вхожу в распивочную и сажусь за свой столик. Хозяин спешит ко мне с моей первой кружкой. Пить я могу сколько влезет, за пиво платит дон Рэба — вернее, никто не платит. Я сижу, попиваю пиво и слушаю. Иногда я делаю вид, что записываю разговоры, и перепуганные людишки устремляются ко мне с предложениями дружбы и кошелька. В глазах у них я вижу только то, что мне хочется: собачью преданность, почтительный страх и восхитительную бессильную ненависть. Я могу безнаказанно трогать девушек и тискать жен на глазах у мужей, здоровенных дядек, и они будут только подобострастно хихикать... Какое прекрасное рассуждение, благородный дон, не правда ли? Я услышал его от пятнадцатилетнего мальчишки, студента Патриотической школы...

— И что же ты ему сказал? — с любопытством спросил Румата.

— А что я мог сказать? Он бы не понял. И я рассказал ему, что люди Ваги Колеса, изловив осведомителя, вспарывают ему живот и засыпают во внутренности перец... А пьяные солдаты засовывают осведомителя в мешок и топят в нужнике. И это истинная правда, но он не поверил. Он сказал, что в школе они этого не проходили. Тогда я достал бумагу и записал наш разговор. Это нужно было мне для моей книги, а он, бедняга, решил, что для доноса, и обмочился от страха...

Впереди сквозь кустарник мелькнули огоньки корчмы Скелета Бако. Киун споткнулся и замолчал.

— Что случилось? — спросил Румата.

— Там серый патруль, — пробормотал Киун.

— Ну и что? — сказал Румата. — Послушай лучше еще одно рассуждение, почтенный Киун. Мы любим и ценим этих простых, грубых ребят, нашу серую боевую скотину. Они нам нужны. Отныне простолюдин должен держать язык за зубами, если не хочет вывешивать его на виселице! — Он захохотал, потому что сказано было отменно — в лучших традициях серых казарм.

Киун съежился и втянул голову в плечи.

— Язык простолюдина должен знать свое место,

Бог дал простолюдину язык вовсе не для разглагольствований, а для лизания сапог своего господина, каковой господин положен простолюдину от века...

У коновязи перед корчмой топтались оседланые кони серого патруля. Из открытого окна доносилась азартная хриплая брань. Стучали игральные кости. В дверях, загораживая проход чудовищным брюхом, стоял сам Скелет Бако в драной кожаной куртке, с засученными рукавами. В мохнатой лапе он держал тесак — видно, только что рубил собачину для похлебки, вспотел и вышел отдохнуться. На ступеньках сидел, пригорюнясь, серый штурмовик, поставив боевой топор между коленей. Рукоять топора стянула ему физиономию набок. Было видно, что ему томно с перепоя. Заметив всадника, он подобрал слюни и сипло взревел:

— С-стой! Как тебя там... Ты, бла-ародный!..

Румата, выпятив подбородок, проехал мимо, даже не покосившись.

— ...А если язык простолюдина лижет не тот сапог, — громко говорил он, — то язык этот надлежит удалить напрочь, ибо сказано: «Язык твой — враг мой»...

Киун, прячась за круп лошади, широко шагал рядом. Краем глаза Румата видел, как блестит от пота его лысина.

— Стой, говорят! — заорал штурмовик.

Было слышно, как он, гремя топором, катится по ступеням, поминая разом бога, черта и всякую благородную сволочь.

Человек пять, подумал Румата, поддергивая манжеты. Пьяные мясники. Вздор.

Они миновали корчму и свернули к лесу.

— Я мог бы идти быстрее, если надо, — сказал Киун неестественно твердым голосом.

— Вздор! — сказал Румата, осаживая жеребца. — Было бы скучно проехать столько миль и ни разу не подраться. Неужели тебе никогда не хочется подраться, Киун? Все разговоры, разговоры...

— Нет, — сказал Киун. — Мне никогда не хочется драться.

— В том-то и беда, — пробормотал Румата, поворачивая жеребца и неторопливо натягивая перчатки.

Из-за поворота выскочили два всадника и, увидев его, разом остановились.

— Эй ты, благородный дон! — закричал один. — А ну, предъяви подорожную!

— Хамье! — стеклянным голосом произнес Румата. — Вы же неграмотны, зачем вам подорожная?

Он толкнул жеребца коленом и рысью двинулся навстречу штурмовикам. Трусят, подумал он. Мнутся... Ну хоть пару оплеух! Нет... Ничего не выйдет. Так хочется разрядить ненависть, накопившуюся за сутки, и, кажется, ничего не выйдет. Останемся гуманными, всех простим и будем спокойны, как боги. Пусть они режут и оскверняют, мы будем спокойны, как боги. Богам спешить некуда, у них впереди вечность...

Он подъехал вплотную. Штурмовики неуверенно подняли топоры и попятались.

— Н-ну? — сказал Румата.

— Так это, значит, что? — растерянно сказал первый штурмовик. — Так это, значит, благородный дон Румата?

Второй штурмовик сейчас же повернул коня и галопом умчался прочь. Первый все пятился, опустив топор.

— Прощенья просим, благородный дон, — скороговоркой говорил он. — Обознались. Ошибочка произошла. Дело государственное, ошибочки всегда возможны. Ребята малость подпили, горят рвением... — Он стал отъезжать боком. — Сами понимаете, время тяжелое... Ловим беглых грамотеев. Нежелательно бы нам, чтобы жалобы у вас были, благородный дон...

Румата повернулся к нему спиной.

— Благородному дону счастливого пути! — с облегчением сказал вслед штурмовик.

Когда он уехал, Румата негромко позвал:

— Киун!

Никто не отозвался.

— Эй, Киун!

И опять никто не отозвался. Прислушавшись, Румата различил сквозь комариный звон шорох кустов. Киун торопливо пробирался через поле на запад, туда, где в двадцати милях проходила ируканская граница. Вот и все, подумал Румата. Вот и весь разговор. Всегда одно и то же. Проверка, настороженный обмен двусмысленными притчами... Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяkim отребьем, а когда встречаешь настоящего человека, поговорить нет времени. Нужно прикрыть, спасти, отправить в безопасное место, и он уходит, так и не поняв, имел ли дело с другом или с капризным выродком. Да и сам ты ничего не узнаешь о нем. Чего он хочет, что может, зачем живет...

Он вспомнил вечерний Арканар. Добротные каменные дома на главных улицах, приветливый фонарик над входом в таверну, благодушные, сытые лавочники пьют пиво за чистыми столами и рассуждают о том, что мир совсем не плох, цены на хлеб падают, цены на латы растут, заговоры раскрываются савремя, колдунов и подозрительных книгоочеев сажают на кол, король по обыкновению велик и светел, а дон Рэба безгранично умен и всегда начеку. «Выдумают, надо же!.. Мир круглый! По мне хоть квадратный, а умов не мути!..», «От грамоты, от грамоты все идет, братья! Не в деньгах, мол, счастье, мужик, мол, тоже человек, дальше — больше, оскорбительные стишки, а там и бунт!..», «Всех их на кол, братья!.. Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал: грамотный? На кол тебя! Стишки пишешь? На кол! Таблицы знаешь? На кол, слишком много знаешь!», «Бина, пышка, еще три кружечки и порцию тушеного кролика!» А по булыжной мостовой — грррум, грррум, грррум — стучат коваными сапогами коренастые, красномордые парни в серых рубахах, с тяжелыми топорами на правом плече. «Братья! Вот они, защитники! Разве эти допустят? Да ни в жисть! А мой-то, мой-то... На правом фланге! Вчера еще его порол! Да, братья, это вам не смутное время! Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокой-

ствие и справедливость. Ура, серые, роты! Ура, дон Рэба! Слава королю нашему! Эх, братья, жизнь-то какая пошла чудесная!..»

А по темной равнине королевства Арканарского, озаряемой заревами пожаров и искрами лучин, по дорогам и тропкам, изъеденные комарами, со сбитыми в кровь ногами, покрытые потом и пылью, измученные, перепуганные, убитые отчаянием, но твердые как сталь в своем единственном убеждении, бегут, идут, бредут, обходя заставы, сотни несчастных, объявленных вне закона за то, что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрязший в невежестве народ; за то, что они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни не знающего красоты народа; за то, что они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны на службу своему неумелому, запущенному старинной чертовщиной народу... Беззащитные, добрые, непрактичные, далеко обогнавшие свой век...

Румата стянул перчатку и с размаху треснул ею жеребца между ушами.

— Ну, мертвая! — сказал он по-русски.

Была уже полночь, когда он въехал в лес.

Теперь никто не может точно сказать, откуда взялось это странное название — Икающий лес. Существовало официальное предание о том, что триста лет назад железные роты имперского маршала Тоца, впоследствии первого Арканарского короля, прорубались через сайву, преследуя отступающие орды меднокожих варваров, и здесь на привалах варили из коры белых деревьев брагу, вызывающую неудержимую икоту. Согласно преданию, маршал Тоц, обходя однажды утром лагерь, произнес, морща аристократический нос: «Поистине, это невыносимо! Весь лес икает и провонял брагой!» Отсюда якобы и пошло странное название.

Так или иначе, это был не совсем обычновенный лес. В нем росли огромные деревья с твердыми белы-

ми стволами, каких не сохранилось нигде больше в Империи — ни в герцогстве Ируканском, ни тем более в торговой республике Соан, давно уже пустившей все свои леса на корабли. Рассказывали, что таких лесов много за Красным Северным хребтом в стране варваров, но мало ли что рассказывают про страну варваров...

Через лес проходила дорога, прорубленная века два назад. Дорога эта вела к серебряным рудникам и по ленному праву принадлежала баронам Пампа, потомкам одного из сподвижников маршала Тоца. Ленное право баронов Пампа обходилось арканарским королям в двенадцать пудов чистого серебра ежегодно, поэтому каждый очередной король, вступив на престол, собирал армию и шел воевать замок Бау, где гнездились бароны. Стены замка были крепки, бароны отважны, каждый поход обходился в тридцать пудов серебра, и после возвращения разбитой армии короли Арканарские вновь и вновь подтверждали ленное право баронов Пампа наряду с другими привилегиями, как-то: ковырять в носу за королевским столом, охотиться к западу от Арканара и называть принцев прямо по имени, без присовокупления титулов и званий.

Икающий лес был полон темных тайн. Днем по дороге на юг тянулись обозы с обогащенной рудой, а ночью дорога была пуста, потому что мало находилось смельчаков ходить по ней при свете звезд. Говорили, что по ночам с Отца-дерева кричит птица Сиу, которую никто не видел и которую видеть нельзя, поскольку это не простая птица. Говорили, что большие мохнатые пауки прыгают с ветвей на шеи лошадям и мигом прогрызают жилы, захлебываясь кровью. Говорили, что по лесу бродит огромный древний зверь Пэх, который покрыт чешуей, дает потомство раз в двенадцать лет и волочит за собой двенадцать хвостов, потеющих ядовитым потом. А кое-кто видел, как среди бела дня дорогу пересекал, бормоча свои жалобы, голый вепрь Ы, проклятый святым Микой, — свирепое животное, неуязвимое для железа, но легко пробиваемое костью.

Здесь можно было встретить и беглого раба со смоляным клеймом между лопаток — молчаливого и беспощадного, как мохнатый паук-кровосос. И скрюченного в три погибели колдуна, собирающего тайные грибы для своих колдовских настоев, при помощи которых можно стать невидимым, превращаться в некоторых животных или приобрести вторую тень. Хаживали вдоль дороги и ночные молодцы грозного Ваги Колеса, и беглецы с серебряных рудников с черными ладонями и белыми, прозрачными лицами. Знахари собирались здесь для своих ночных бдений, а разухабистые егеря барона Пампы жарили на редких полянах ворованных быков, целиком насаженных на вертел.

Едва ли не в самой чаще леса, в миle от дороги, под громадным деревом, засохшим от старости, вросла в землю покосившаяся изба из громадных бревен, окруженная почерневшим частоколом. Стояла она здесь с незапамятных времен, дверь ее была всегда закрыта, а у стоявшего крыльца торчали покосившиеся идолы, вырезанные из цельных стволов. Эта изба была самое что ни на есть опасное место в Икающем лесу. Говорили, что именно сюда приходит раз в двенадцать лет древний Пэх, чтобы родить потомка, и тут же, заползши под избу, изыхает, так что весь подпол в избе заливает черным ядом, а когда яд потечет наружу — вот тут-то и будет всему конец. Говорили, что в ненастные ночи идолы сами собой выкашиваются из земли, выходят к дороге и подают знаки. И говорили еще, что изредка в мертвых окнах загорается нелюдской свет, раздаются звуки и дым из трубы идет столбом до самого неба.

Не так давно пеньющий деревенский дурачок Ирма Кукиш с хутора Благорастворение (по-простому — Смердуны) сдуру забрел вечером к избе и заглянул в окно. Домой он вернулся совсем уже глупым, а оклемавшись немного, рассказал, что в избе был яркий свет и за простым столом сидел с ногами на скамье человек и отхлебывал из бочки, которую держал одной рукой. Лицо человека свисало чуть не до пояса и все было в пятнах. Был это, ясно, сам святой

Мика еще до приобщения к вере, многоженец, пьяница и сквернослов. Глядеть на него можно было, только побарывая страх. Из окошка тянуло сладким тоскливым запахом, и по деревьям вокруг ходили тени. Рассказ дурачка сходились слушать со всей округи. А кончилось дело тем, что приехали штурмовики и, загнув ему локти к лопаткам, угнали в город Арканар. Говорить об избе все равно не перестали и называли ее теперь не иначе, как Пьяной Берлогой...

Продравшись через заросли гигантского папоротника, Румата спешился у крыльца Пьянной Берлоги и обмотал повод вокруг одного из идолов. В избе горел свет, дверь была раскрыта и висела на одной петле. Отец Кабани сидел за столом в полной пропастации. В комнате стоял могучий спиртной дух, на столе среди обглоданных костей и кусков вареной брюквы возвышалась огромная глиняная кружка.

— Добрый вечер, отец Кабани, — сказал Румата, перешагивая через порог.

— Я вас приветствую, — отозвался отец Кабани хриплым, как боевой рог, голосом.

Румата, звеня шпорами, подошел к столу, бросил на скамью перчатки и снова посмотрел на отца Кабани. Отец Кабани сидел неподвижно, положив обвисшее лицо на ладони. Мохнатые полуседые брови его свисали над щеками, как сухая трава над обрывом. Из ноздрей крупнопористого носа при каждом выдохе со свистом вылетал воздух, пропитанный неусвоенным алкоголем.

— Я сам выдумал его! — сказал он вдруг, с усилием задрав правую бровь и поведя на Румату заплывшим глазом. — Сам! Зачем?.. — Он высвободил из-под щеки правую руку и помотал волосатым пальцем. — А все-таки я ни при чем!.. Я его выдумал... и я же ни при чем, а?!.. Точно — ни при чем... И вообще мы не выдумываем, а черт знает что!..

Румата расстегнул пояс и потащил через голову перевязи с мечами.

— Ну, ну! — сказал он.

— Ящик! — рявкнул отец Кабани и надолго замолчал, делая странные движения щеками.

Румата, не спуская с него глаз, перенес через скамью ноги в покрытых пылью ботфортах и уселся, положив мечи рядом.

— Ящик... — повторил отец Кабани упавшим голосом. — Это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. Кто-то давним-давно все выдумал, сложил все в ящик, прорвартел в крышке дыру и ушел... Ушел спать... Тогда что? Приходит отец Кабани, закрывает глаза, с-сует руку в дыру. — Отец Кабани посмотрел на свою руку. — Х-хват! Выдумал! Я, говорит, это вот самое и выдумывал!.. А кто не верит, тот дурак... Сую руку — р-раз! Что? Проволока с колючками. Зачем? Скотный двор от волков... Молодец! Сую руку — д-ва! Что? Умнейшая штука — мясокрутка называемая. Зачем? Нежный мясной фарш... Молодец! Сую руку — три! Что? Г-горючая вода... Зачем? Ссыревые дрова разжигать... А!?

Отец Кабани замолк и стал клониться вперед, словно кто-то пригибал его, взял за шею. Румата взял кружку, заглянул в нее, потом вылил несколько капель на тыльную сторону ладони. Капли были сиреневые и пахли сивушными маслами. Румата кружевным платком тщательно вытер руку. На платке остались маслянистые пятна. Нечесаная голова отца Кабани коснулась стола и тотчас вздернулась.

— Кто сложил все в ящик — он знал, для чего это выдумано... Колючки от волков?! Это я, дурак, — от волков... Рудники, рудники оплеть эти колючками... Чтобы не бегали с рудников государственные преступники. А я не хочу!.. Я сам государственный преступник! А меня спросили? Спросили! Колючка, грят? Колючка. От волков, грят? От волков... Хорошо, грят, молодец! Оплетем рудники... Сам дон Рэба и оплел. И мясокрутку мою забрал. Молодец, грит! Голова, грит, у тебя!.. И теперь, значит, в Веселой Башне нежный фарш делает... Очень, говорят, способствует...

Знаю, думал Румата. Все знаю. И как кричал ты у дона Рэбы в кабинете, как в ногах у него ползал,

молил: «Отдай, не надо!» Поздно было. Завертелась твоя мясокрутка...

Отец Кабани схватил кружку и приник к ней волосатой пастью. Глотая ядовитую смесь, он рычал, как вепрь БІ, потом сунул кружку на стол и принялялся жевать кусок брюквы. По щекам его ползли слезы.

— Горючая вода! — провозгласил он, наконец, перехваченным голосом. — Для растопки костров и произведения веселых фокусов. Какая же она горючая, если ее можно пить? Ее в пиво подмешивать — цены пиву не будет! Не дам! Сам выпью... И пью. День пью. Ночь. Опух весь. Падаю все время. Давеча, дон Румата, не поверишь, к зеркалу подошел — испугался... Смотри — помоги господи! — где же отец Кабани?! Морской зверь спрут — весь цветными пятнами иду. То красный. То синий. Выдумал, называется, воду для фокусов...

Отец Кабани сплюнул на стол и пошаркал ногой под лавкой, растирая. Затем вдруг спросил:

- Какой нынче день?
- Канун Каты Праведного, — сказал Румата.
- А почему нет солнца?
- Потому что ночь.

— Опять ночь... — с тоской сказал отец Кабани и упал лицом в объедки.

Некоторое время Румата, посвистывая сквозь зубы, смотрел на него. Потом выбрался из-за стола и прошел в кладовку. В кладовке между кучей брюквы и кучей опилок поблескивал стеклянными трубками громоздкий спиртогонный агрегат отца Кабани — удивительное творение прирожденного хиженера, инстинктивного химика и мастера-стеклодува. Румата дважды обошел «адскую машину» кругом, затем наступил в темноте лом и несколько раз наотмашь ударили, никуда специально не целясь. В кладовке залязгало, задребезжало, забулькало. Гнусный запах перекисшей барды ударили в нос.

Хрустя каблуками по битому стеклу, Румата пробрался в дальний угол и включил электрический фонарик. Там под грудой хлама стоял в прочном сили-

кетовом сейфе малогабаритный полевой синтезатор «Мидас». Румата разбросал хлам, набрал на диске комбинацию цифр и поднял крышку сейфа. Даже в белом электрическом свете синтезатор выглядел странно среди развороченного мусора. Румата бросил в приемную воронку несколько лопат опилок, и синтезатор тихонько запел, автоматически включив индикаторную панель. Румата носком ботфорта придинул к выходному желобу ржавое ведро. И сейчас же — дзинь, дзинь, дзинь! — посыпались на мятое жестяное дно золотые кружочки с аристократическим профилем Пицца Шестого, короля Арканарского.

Румата перенес отца Кабани на скрипучие нары, снянул с него башмаки, повернулся на правый бок и накрыл облысевшей шкурой какого-то давно вымершего животного. При этом отец Кабани на минуту проснулся. Двигаться он не мог, соображать тоже. Он ограничился тем, что пропел несколько стихов из запрещенного к расщеплению светского романса «Я как цветочек аленъяк в твоей ладошке маленькой», после чего гулко захрапел.

Румата убрал со стола, подмел пол и протер стекло единственного окна, почерневшее от грязи и химических экспериментов, которые отец Кабани производил на подоконнике. За облупленной печкой он нашел бочку со спиртом и опорожнил ее в крысиную дыру. Затем он напоил хамахарского жеребца, засыпал ему овса из седельной сумки, умылся и сел ждать, глядя на коптящий огонек масляной лампы. Шестой год он жил этой странной, двойной жизнью и, казалось бы, совсем привык к ней, но время от времени, как, например, сейчас, ему вдруг приходило в голову, что нет на самом деле никакого организованного зверства и напирающей серости, а разыгрывается причудливое театральное представление с ним, Руматой, в главной роли. Что вот-вот после особенно удачной его реплики грянут аплодисменты и ценители из Института экспериментальной истории восхищенно закричат из лож: «Адекватно, Антон! Адекватно! Мозакричат из лож: «Адекватно, Антон! Адекватно! Моз-

лодец, Тощка!» Он даже огляделся, но не было переполненного зала, были только почерневшие, замшелые стены из голых бревен, залапанные наслежениями копоти.

Во дворе тихонько ржал и переступил копытами хамахарский жеребец. Послышалось низкое ровное гудение, до слез знакомое и совершенно здесь невероятное. Румата вслушивался, приоткрыв рот. Гудение оборвалось, язычок пламени над светильником заколебался и вспыхнул ярче, Румата стал подниматься, и в ту же минуту из ночной темноты в комнату шагнул дон Кондор, Генеральный судья и Хранитель больших государственных печатей торговой республики Соан, вице-президент Конференции двенадцати негоциантов и кавалер имперского Ордена Десницы Милосердной.

Румата вскочил, едва не опрокинув скамью. Он готов был броситься, обнять, расцеловать его в обе щеки, но ноги, следуя этикету, сами собой согнулись в коленях, шпоры торжественно звякнули, правая рука описала широкий полукруг от сердца и в сторону, а голова нагнулась так, что подбородок утонул в пено-кружевных брыжках. Дон Кондор сорвал бархатный берет с простым дорожным пером, торопливо, как бы отгоняя комаров, махнул им в сторону Руматы, а затем, швырнув берет на стол, обеими руками расстегнул у шеи застежки плаща. Плащ еще медленно падал у него за спиной, а он уже сидел на скамье, раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а отставленной правой держась за эфес золоченого меча, вонзенного в гнилые доски пола. Был он маленький, худой, с большими выпуклыми глазами на узком бледном лице. Его черные волосы были схвачены таким же, как у Руматы, массивным золотым обручем с большим зеленым камнем над переносицей.

— Вы один, дон Румата? — спросил он отрывисто.

— Да, благородный дон, — грустно ответил Румата.

Отец Кабани вдруг громко и трезво сказал: «Благородный дон Рэба!.. Гиена вы, вот и все».

Дон Кондор не обернулся.

— Я прилетел, — сказал он.

— Будем надеяться, — сказал Румата, — что вас не видели.

— Легендой больше, легендой меньше, — раздраженно сказал дон Кондор. — У меня нет времени на путешествия верхом. Что случилось с Будахом? Куда он делся? Да сядьте же, дон Румата, прошу вас! У меня болит шея.

Румата послушно опустился на скамью.

— Будах исчез, — сказал он. — Я ждал его в Урочище Тяжелых Мечей. Но явился только одноглазый оборванец, назвал пароль и передал мне мешок с книгами. Я ждал еще два дня, затем связался с доном Гугом, и дон Гуг сообщил, что проводил Будаха до самой границы и что Будаха сопровождает некий благородный дон, которому можно доверять, потому что он вдребезги проигрался в карты и продался дону Гугу телом и душой. Следовательно, Будах исчез где-то здесь, в Арканаре. Вот и все, что мне известно.

— Не много же вы знаете, — сказал дон Кондор.

— Не в Будахе дело, — возразил Румата. — Если он жив, я его найду и вытащу. Это я умею. Не об этом я хотел с вами говорить. Я хочу еще и еще раз обратить ваше внимание на то, что положение в Арканаре выходит за пределы базисной теории... — На лице дона Кондора появилось кислое выражение. — Нет уж, вы меня выслушайте, — твердо сказал Румата. — Я чувствую, что по радио я с вами никогда не объяснюсь. А в Арканаре все переменилось! Возник какой-то новый, систематически действующий фактор. И выглядит это так, будто дон Рэба сознательно натравливает на ученых всю серость в королевстве. Все, что хоть немного поднимается над средним серым уровнем, оказывается под угрозой. Вы слушайте, дон Кондор, это не эмоции, это факты! Если ты умен, образован, сомневаешься, говоришь не-привычное — просто не пьешь вина, наконец! — ты под угрозой. Любой лавочник вправе затравить тебя

хоть насмерть. Сотни и тысячи людей объявлены вне закона. Их ловят штурмовики и развешивают вдоль дорог. Голых, вверх ногами... Вчера на моей улице забили сапогами старика, узнали, что он грамотный. Топтали, говорят, два часа, туные, с потными звериными мордами... — Румата сдержался и закончил спокойно: — Одним словом, в Арканаре скоро не останется ни одного грамотного. Как в Области Святого Ордена после Барканской резни.

Дон Кондор пристально смотрел на него, поджав губы.

— Ты мне не нравишься, Антон, — сказал он по-русски.

— Мне тоже многое не нравится, Александр Васильевич, — сказал Румата. — Мне не нравится, что мы связали себя по рукам и ногам самой постановкой проблемы. Мне не нравится, что она называется Проблемой Бескровного Воздействия. Потому что в моих условиях это научно обоснованное бездействие... Я знаю все ваши возражения! И я знаю теорию. Но здесь нет никаких теорий, здесь типично фашистская практика, здесь звери ежеминутно убивают людей! Здесь все бесполезно. Знаний не хватает, а золото теряет цену, потому что опаздывает.

— Антон, — сказал дон Кондор. — Не горячись. Я верю, что положение в Арканаре совершенно исключительное, но я убежден, что у тебя нет ни одного конструктивного предложения.

— Да, — согласился Румата, — конструктивных предложений у меня нет. Но мне очень трудно держать себя в руках.

— Антон, — сказал дон Кондор. — Нас здесь двести пятьдесят на всей планете. Все держат себя в руках, и всем это очень трудно. Самые опытные живут здесь уже двадцать два года. Они прилетели сюда всего-навсего как наблюдатели. Им было запрещено вообще что бы то ни было предпринимать. Представить себе это на минуту: запрещено вообще. Они бы не имели права даже спасти Будаха. Даже если бы Будаха топтали ногами у них на глазах.

— Не надо говорить со мной, как с ребенком, — сказал Румата.

— Вы нетерпеливы, как ребенок, — объявил дон Кондор. — А надо быть очень терпеливым.

Румата горестно усмехнулся.

— А пока мы будем выжидать, — сказал он. — примериваться да нацеливаться, звери ежедневно, ежеминутно будут уничтожать людей.

— Антон, — сказал дон Кондор. — Во вселенной тысячи планет, куда мы еще не пришли и где история идет своим чередом.

— Но сюда-то мы уже пришли!

— Да, пришли. Но для того, чтобы помочь этому человечеству, а не для того, чтобы утолять свой спра-ведливый гнев. Если ты slab, уходи. Возвращайся домой. В конце концов ты действительно не ребенок и знал, что здесь увидишь.

Румата молчал. Дон Кондор, какой-то обмякший и сразу постаревший, волоча меч за эфес, как палку, прошелся вдоль стола, печально кивая носом.

— Все понимаю, — сказал он. — Я же все это пережил. Было время — это чувство бессилия и собственной подлости казалось мне самым страшным. Некоторые, послабее, сходили от этого с ума, их отправляли на Землю и теперь лечат. Пятнадцать лет понадобилось мне, голубчик, чтобы понять, что же самое страшное. Человеческий облик потерять страшно, Антон. Запачкать душу, ожесточиться. Мы здесь бо-ги, Антон, и должны быть умнее богов из легенд, кото-рых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию. А ведь ходим по краешку трясины. Осту-пился — и в грязь, всю жизнь не отмоешься. Горан Ируканский в «Истории Пришествия» писал: «Когда бог, спустившись с неба, вышел к народу из Питан-ских болот, ноги его были в грязи».

— За что Горана и сожгли, — мрачно сказал Румата.

— Да, сожгли. А сказано это про нас. Я здесь пятнадцать лет. Я, голубчик, уж и сны про Землю видеть перестал. Как-то, роясь в бумагах, нашел фотографию одной женщины и долго не мог сообразить,

кто же она такая. Иногда я вдруг со страхом осознаю, что я уже давно не сотрудник Института, я экспонат музея этого Института, генеральный судья тор-говой феодальной республики, и есть в музее зал, куд-да меня следует поместить. Вот что самое страш-ное — войти в роль. В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром. И все вокруг помо-гают подонку, а коммунар один-одинешенек — до Земли тысяча лет и тысяча парсеков. — Дон Кондор помолчал, гладя колени. — Вот так-то, Антон, — сказал он твердеющим голосом. — Останемся комму-нарами.

Он не понимает. Да и как ему понять? Ему повез-ло, он не знает, что такое серый террор, что такое дон Рэба. Все, чему он был свидетелем за пятнадцать лет работы на этой планете, так или иначе укладывается в рамки базисной теории. И когда я говорю ему о фа-шизме, о серых штурмовиках, об активизации мещан-ства, он воспринимает это как эмоциональные выра-жения. «Не шутите с терминологией, Антон! Термино-логическая путаница влечет за собой опасные послед-ствия». Он никак не может понять, что нормальный уровень средневекового зверства — это счастливый вчерашний день Арканара. Дон Рэба для него — это что-то вроде герцога Ришелье, умный и дальновид-ный политик, защищающий абсолютизм от феодаль-ной вольницы. Один я на всей планете вижу страш-ную тень, наползающую на страну, но как раз я и не могу понять, чья это тень и зачем... И где уж мне убедить его, когда он вот-вот, по глазам видно, по-шилет меня на Землю лечиться.

— Как поживает почтенный Синда? — спросил он.

Дон Кондор перестал сверлить его взглядом и буркнул: «Хорошо, благодарю вас». Потом он сказал:

— Нужно, наконец, твердо понять, что ни ты, ни я, никто из нас реально ощущимых плодов своей ра-боты не увидим. Мы не физики, мы историки. У нас единица времени не секунда, а век, и дела наши — это даже не посев, мы только готовим почву для по-сева. А то прибывают порой с Земли... энтузиасты,

черт бы их побрал... Спринтеры с коротким дыханием...

Румата криво усмехнулся и без особой надобности принялся подтягивать ботфорты. Спринтеры. Да, спринтеры были.

Десять лет назад Стефан Орловский, он же дон Капада, командир роты арбалетчиков его императорского величества, во время публичной пытки восемнадцати эсторских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам, зарубил имперского судью и двух судебных приставов и был поднят на копья дворцовой охраной. Корчась в предсмертной муке, он кричал: «Вы же люди! Бейте их, бейте!» — но мало кто слышал его за ревом толпы: «Огня! Еще огня!..»

Примерно в то же время в другом полуширине Карл Розенблюм, один из крупнейших знатоков крестьянских войн в Германии и Франции, он же торговец шерстью Пани-Па, поднял восстание мурисских крестьян, штурмом взял два города и был убит стрелой в затылок, пытаясь прекратить грабежи. Он был еще жив, когда за ним прилетели на вертолете, но говорить не мог и только смотрел виновато и недоуменно большими голубыми глазами, из которых неизменно текли слезы...

А незадолго до прибытия Руматы великолепно законспирированный друг-конфидент кайсанского тирана (Джереми Таффат, специалист по истории земельных реформ) вдруг ни с того ни с сего произвел дворцовый переворот, узурпировал власть, в течение двух месяцев пытался внедрить Золотой Век, упорно не отвечая на яростные запросы соседей и Земли, заслужил славу сумасшедшего, счастливо избежал восьми покушений, был, наконец, похищен аварийной командой сотрудников Института и на подводной лодке переправлен на островную базу у Южного полюса...

— Подумать только! — пробормотал Румата. — До сих пор вся Земля воображает, что самыми сложными проблемами занимается нуль-физика...

Дон Кондор поднял голову.

— О, наконец-то! — сказал он негромко.

Защекали копыта, злобно и визгливо заржал хамахарский жеребец, послышалось энергичное проклятье с сильным ируканским акцентом. В дверях появился дон Гуг, старший постельничий его светlosti герцога Ируканского, толстый, румяный, с лихом вздернутыми усами, с улыбкой до ушей, с маленьчишескими веселыми глазками под буяльями каштанового парижа. И снова Румата сделал движение броситься и обнять, потому что это же был Пашка, но дон Гуг вдруг подобрался, на толстощекой физиономии появилась сладкая приторность, он слегка согнулся в поясе, прижал шляпу к груди и вытянул губы дудкой. Румата вскользь поглядел на Александра Васильевича. Александр Васильевич исчез. На скамье сидел Генеральный судья и Хранитель больших печатей — раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а правой держась за эфес золоченого меча.

— Вы сильно опоздали, дон Гуг, — сказал он неприятным голосом.

— Тысячи извинений! — вскричал дон Гуг, плавно приближаясь к столу. — Клянусь рабом моего герцога, совершенно непредвиденные обстоятельства! Меня четырежды останавливал патруль его величества короля Арканарского, и я дважды дрался с какими-то хамами. — Он изящно поднял левую руку, обмотанную окровавленной тряпкой. — Кстати, благородные доны, чей это вертолет позади избы?

— Это мой вертолет, — сварливо сказал дон Кондор. — У меня нет времени для драк на дорогах.

Дон Гуг приятно улыбнулся и, усевшись верхом на скамью, сказал:

— Итак, благородные доны, мы вынуждены констатировать, что высокоучченый доктор Будах таинственным образом исчез где-то между ируканской границей и Урошищем Тяжелых Мечей...

Отец Кабани вдруг заворочался на своем ложе.

— Дон Рэба, — густо сказал он, не просыпаясь.

— Оставьте Будаха мне, — с отчаянием сказал Румата, — и попытайтесь все-таки меня понять...

ГЛАВА 2

Румата вздрогнул и открыл глаза. Был уже день. Под окнами на улице скандалили. Кто-то, видимо военный, орал: «М-мэр-рзавец! Ты сlijешь эту грязь языком! («С добрым утром!» — подумал Румата.) Ма-алчать!.. Клянусь спиной святого Мики, ты выведешь меня из себя!» Другой голос, грубый и хрипкий, бубнил, что на этой улице надобно глядеть под ноги. «Под утро дождичек прошел, а мостили ее сами знаете когда...» — «Он мне еще указывает, куда смотреть!..» — «Вы меня лучше отпустите, благородный дон, не держите за рубаху». — «Он мне еще указывает!..» Послышался звонкий треск. Видимо, это была уже вторая пощечина — первая разбудила Румата. «Вы меня лучше не бейте, благородный дон!..» — бубнили внизу.

Знакомый голос, кто бы это мог быть? Кажется, дон Тамэо. Надо будет сегодня проиграть ему хамахарскую клячу обратно. Интересно, научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях? Правда, мы, Руматы Эсторские, спокон веков не разбираемся в лошадях. Мы знатоки боевых верблюдов. Хорошо, что в Арканаре почти нет верблюдов. Румата с хрустом потянулся, нашупал в изголовье витой шелковый шнур и несколько раз дернул. В недрах дома зазвякали колокольчики. Мальчишка, конечно, глаеет на скандал, подумал Румата. Можно было бы встать и одеться самому, но это — лишние слухи. Он прислушался к браин под окнами. До чего же могучий язык! Энтропия невероятная. Не зарубил бы его дон Тамэо... В последнее время в гвардии появились любители, которые объявили, что для благородного боя у них только один меч, а другой они употребляют специально для уличной погани — ее-де заботами дона Рэбы что-то слишком много развелось в славном Арканаре. Впрочем, дон Тамэо не из таких. Трусоват наш дон Тамэо, да и политик известный...

Мерзко, когда день начинается с дона Тамэо... Румата сел, обхватив колени под роскошным рваным одеялом. Появляется ощущение свинцовой бес-

просветности, хочется пригорюниться и размышлять о том, как мы слабы и ничтожны перед обстоятельствами... На Земле это нам и в голову не приходит. Там мы здоровые, уверенные ребята, прошедшие психологическое кондиционирование и готовые ко всему. У нас отличные нервы: мы умеем не отворачиваться, когда избивают и казнят. У нас неслыханная выдержанка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов. Мы забыли брезгливость, нас устраивает посуда, которую по обычай дают вылизывать собакам и затем для красоты протирают грязным подолом. Мы великие имперсонаторы, даже во сне мы не говорим на языках Земли. У нас безотказное оружие — базисная теория феодализма, разработанная в тиши кабинетов и лабораторий, на пыльных раскопах, в солидных дискуссиях...

Жаль только, что дон Рэба понятия не имеет об этой теории. Жаль только, что психологическая подготовка слезает с нас, как загар, мы бросаемся в крайности, мы вынуждены заниматься непрерывной подзарядкой: «Стисни зубы и помни, что ты замаскированный бог, что они не ведают, что творят, и почти никто из них не виноват, и потому ты должен быть терпеливым и терпимым...» Оказывается, что колодцы гуманизма в наших душах, казавшиеся на Земле бездонными, иссякают с пугающей быстротой. Святой Мика, мы же были настоящими гуманистами там, на Земле, гуманизм был скелетом нашей натуры, в преклонении перед Человеком, в нашей любви к Человеку мы докатывались до антропоцентризма, а здесь вдруг с ужасом ловим себя на мысли, что любили не Человека, а только коммунара, землянина, равного нам... Мы все чаще ловим себя на мысли: «Да полно, люди ли это? Неужели они способны стать людьми, хотя бы со временем?» И тогда мы вспоминаем о таких, как Кира, Будах, Арате Горбатый, о великолепном бароне Пампа, и нам становится стыдно, а это тоже непривычно и неприятно и, что самое главное, не помогает...

Не надо об этом, подумал Румата. Только не утром. Провалился бы этот дон Тамэо!.. Накопилось в

душе кислятины, и некуда ее выплеснуть в таком одиночестве. Вот именно, в одиночестве! Мы-то, здоровые, уверенные, думали ли мы, что окажемся здесь в одиночестве? Да ведь никто не поверит! Антон, дружище, что это ты? На запад от тебя, три часа лету, Александр Васильевич, добрая, умница, на востоке — Пашка, семь лет за одной партой, верный веселый друг. Ты просто раскис, Тошка. Жаль, конечно, мы думали, ты крепче, но с кем не бывает? Работа адвока, понимаем. Возвращайся-ка ты на Землю, отдохни, подзаймись теорией, а там видно будет...

А Александр Васильевич, между прочим, чистой воды догматик. Раз базисная теория не предусматривает серых («Я, голубчик, за пятнадцать лет работы таких отклонений от теории что-то не замечал...»), значит, серые мне мерещатся. Раз мерещатся, значит, у меня сдали нервы и меня надо отправить на отдых. «Ну хорошо, я обещаю, я посмотрю сам и сообщу свое мнение. Но пока, дон Румата, прошу вас, никаких эксцессов...» А Павел, друг детства, эрудит, видите ли, знаток, кладезь информации... пустился напропалую по историям двух планет и легко доказал, что серое движение есть всего-навсего заурядное выступление горожан против баронов. «Впрочем, на днях заеду к тебе, посмотрю. Честно говоря, мне как-то неловко за Будаха...» И на том спасибо! И хватит! Займусь Будахом, раз больше ни на что не способен.

Высокоучченый доктор Будах. Коренной ируканец, великий медик, которому герцог Ируканский чуть было не пожаловал дворянство, но раздумал и решил посадить в башню. Крупнейший в Империи специалист по ядолечению. Автор широкоизвестного трактата «О травах и иных злаках, таинственно могущих служить причиной скорби, радости и успокоения, а равно о слюне и соках гадов, пауков и голого вепря Ы, таковыми же и многими другими свойствами обладающих». Человек, несомненно, замечательный и настоящий интеллигент, убежденный гуманист и бессребренник: все имущество — мешок с книгами. Так кому же ты мог понадобиться, доктор Будах,

в сумеречной невежественной стране, погрязшей в кровавой трясине заговоров и корыстолюбия?

Будем полагать, что ты жив и находишься в Арканаре. Не исключено, конечно, что тебя захватили налетчики-варвары, спустившиеся с отрогов Красного Северного хребта. На этот случай дон Кондор намерен связаться с нашим другом Шуштутидоводусом, специалистом по истории первобытных культур, который работает сейчас шаманом-эпилептиком у вождя сорокапятисложным именем. Если ты все-таки в Арканаре, то прежде всего тебя могли захватить ночные работнички Ваги Колеса. И даже не захватить, а прихватить, потому что для них главной добычей был бы твой сопровождающий, благородный проигравшийся дон. Но так или иначе, они тебя не убьют: Вага Колесо слишком скончен для этого.

Тебя мог захватить и какой-нибудь дурак барон. Безо всякого злого умысла, просто от скуки и гипертрофированного гостеприимства. Захотелось попирать с благородным собеседником, выставил на дорогу дружинников и затащил к себе в замок твоего сопровождающего. И будешь ты сидеть в вонючей людской, пока доны не упнутся до обалдения и не расстанутся. В этом случае тебе тоже ничто не грозит.

Но есть еще засевшие где-то в Гниловражье остатки разбитой недавно крестьянской армии дона Ксии Пэрты Позвоночника, которых тайком подкармливает сейчас сам орел наш дон Рэба на случай весьма возможных осложнений с баронами. Вот эти пощады не знают, и о них лучше не думать. Есть еще дон Сатарина, родовитейший имперский аристократ, ста двух лет от рода, совершенно выживший из ума. Он пребывает в родовой вражде с герцогами Ируканскими и время от времени, возбудившись к активности, принимается хватать все, что пересекает ирукансскую границу. Он очень опасен, ибо под действием приступов холецистита способен издавать такие приказы, что божедомы не успевают вывозить трупы из его темниц.

И наконец, главное. Не потому главное, что самое опасное, а потому, что наиболее вероятное. Серые

патрули дона Рэбы. Штурмовики на больших дорогах. Ты мог попасть в их руки случайно, и тогда следует рассчитывать на рассудительность и хладнокровие сопровождающего. Но что, если дон Рэба заинтересован в тебе? У дона Рэбы такие неожиданные интересы... Его шпионы могли донести, что ты будешь проезжать через Арканар, тебе навстречу выслали наряд под командой старательного серого офицера, дворянского ублюдка из мелкопоместных, и ты сидишь сейчас в каменном мешке под Веселой Башней...

Румата снова нетерпеливо подергал шнур. Дверь спальни отворилась с отвратительным визгом, вошел мальчик-слуга, тощенький и угрюмый. Имя его было Уно, и его судьба могла бы послужить темой для баллады. Он поклонился у порога, шаркая разбитыми башмаками, подошел к кровати и поставил на столик поднос с письмами, кофе и комком ароматической жевательной коры для укрепления зубов и чистки оных. Румата сердито посмотрел на него.

— Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь смажешь дверь?

Мальчик промолчал, глядя в пол. Румата отбросил одеяло, спустил голые ноги с постели и потянулся к подносу.

— Мылся сегодня? — спросил он.

Мальчик переступил с ноги на ногу и, ничего не ответив, пошел по комнате, собирая разбросанную одежду.

— Я, кажется, спросил тебя, мылся ты сегодня или нет? — сказал Румата, распечатывая первое письмо.

— Водой грехов не смоешь, — проворчал мальчик. — Что я, благородный, что ли, мыться?

— Я тебе про микробов что рассказывал? — сказал Румата.

Мальчик положил зеленые штаны на спинку кресла и омахнулся большим пальцем, отгоняя нечистоту.

— Три раза за ночь молился, — сказал он. — Чего же еще?

— Дурачина ты, — сказал Румата и стал читать письмо.

Писала дона Окана, фрейлина, новая фаворитка дона Рэбы. Предлагала нынче же вечером навестить ее, «томящуюся нежно». В постскриптуме простыми словами было написано, что она, собственно, ждет от этой встречи. Румата не выдержал — покраснел. Воровато оглянувшись на мальчишку, пробормотал: «Ну, в самом деле...» Об этом следовало подумать. Идти было противно, не идти было глупо — дона Окана много знала. Он залпом выпил кофе и положил в рот жевательную кору.

Следующий конверт был из плотной бумаги, сургучная печать смазана; видно было, что письмо вскрывали. Писал дон Рипат, решительный карьерист, лейтенант серой роты галантейщиков. Справлялся о здоровье, выражал уверенность в победе серого дела и просил отсрочить должок, ссылаясь на вздорные обстоятельства. «Ладно, ладно...» — пробормотал Румата, отложил письмо, снова взял конверт и с интересом его оглядел. Да, тоньше стали работать. Заметно тоньше.

В третьем письме предлагали рубиться на мечах из-за донны Пифы, но соглашались снять предложение, если дону Румате благоугодно будет привести доказательства того, что он, благородный дон Румата, к доне Пифе касательства не имел и не имеет. Письмо было стандартным: основной текст писал каллиграф, а в оставленных промежутках были коряво, с грамматическими ошибками вписаны имена и сроки.

Румата отшвырнул письмо и почесал искусанную комарами левую руку.

— Ну, давай умываться! — приказал он.

Мальчик скрылся за дверью и скоро, пятясь задом, вернулся, волоча по полу деревянную лохань с водой. Потом сбежал еще раз за дверь и притащил пустую лохань и ковшик.

Румата спрыгнул на пол, содрал через голову ветхую, с искусствнейшей ручной вышивкой почную рубаху и с лязгом выхватил из ножен висевшие у из-

головья мечи. Мальчик из осторожности встал за кресло. Поупражнявшись минут десять в выпадах и отражениях, Румата бросил мечи в стену, нагнулся над пустой лоханью и приказал: «Лей!» Без мыла было плохо, но Румата уже привык. Мальчик лил ковш за ковшом на спину, на шею, на голову и ворчал: «У всех как у людей, только у нас с выдумками. Где это видано — в двух сосудах мыться. В отхожем месте горшок какой-то придумали... Полотенце им каждый день чистое... А сами, не помолившись, голый с мечами скачут...»

Растираясь полотенцем, Румата сказал наставительно:

— Я при дворе, не какой-нибудь барон вшивый. Придворный должен быть чист и благоухать.

— Только у его величества и забот, что вас нюхать, — возразил мальчик. — Все знают, его величество день и ночь молятся за нас, грешных. А вот дон Рэба и вовсе никогда не моются. Сам слышал, их лакей рассказывал.

— Ладно, не ворчи, — сказал Румата, натягивая нейлоновую майку.

Мальчик смотрел на эту майку с неодобрением. О ней давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. Но тут Румата ничего не мог поделать из естественной человеческой брезгливости. Когда он надевал трусы, мальчик отвернулся голову и сделал губами движение, будто оплевывал нечистого.

Хорошо бы все-таки ввести в моду нижнее белье, подумал Румата. Однако естественным образом это можно было сделать только через женщин, а Румата и в этом отличался непозволительной для разведчика разборчивостью. Кавалеру и вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви, следовало иметь по крайней мере двадцать возлюбленных. Румата прилагал героические усилия, чтобы поддержать свое реноме. Половина его агентуры, вместо того чтобы заниматься делом, распространяла о нем отвратительные слухи, возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвар-

дейской молодежи. Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи (третья стража, братский поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода, знакомого офицера), наперебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии. Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб, но проблема нижнего белья оставалась открытой. Насколько было проще с носовыми платками! На первом же балу Румата извлек из-за обшлага изящный кружевной платочек и промакнул им губы. На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица большими и малыми кусками материи разных цветов, с вышивками и монограммами. А через месяц появились франты, носившие на согнутой руке целые простыни, концы которых элегантно волочились по полу.

Румата натянул зеленые штаны и белую батистовую рубашку с застрианным воротом.

— Кто-нибудь дожидается? — спросил он.

— Брадобрей ждет, — ответил мальчик. — Да еще два дона в гостиной сидят, дон Тамэо с доном Сэра. Вино приказали подать и режутся в кости. Ждут вас завтракать.

— Поди зови брадобрея. Благородным донам скажи, что скоро буду. Да не груби, разговаривай вежливо...

Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Было подано жареное мясо, сильно сдобренное специями, и собачьи уши, отжатые в уксусе. Пили шипучее ирукансское, густое коричневое эсторское, белое соансское. Ловко разделявая двумя кинжалами баранью ногу, дон Тамэо жаловался на наглость низших сословий. «Я намерен подать докладную на высочайшее имя, — объявил он. — Дворянство требует, чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улицах. Пусть ходят через дворы и по задам.

В тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно, например при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома, пусть имеет специальное разрешение министерства охраны короны». — «Светлая голова! — восхищенно сказал дон Сэра, брызгая слюнами и мясным соком. — А вот вчера при дворе...» И он рассказал последнюю новость. Пассия дона Рэбы, фрейлина Окана, неосторожно наступила королю на большую ногу. Его величество пришел в ярость и, обратившись к дону Рэбе, приказал примерно наказать преступницу. На что дон Рэба, не моргнув глазом, ответил: «Будет исполнено, ваше величество. Нынче же ночью!» «Я так хототал, — сказал дон Сэра, крутя головой, — что у меня на камзоле отскочили два крючка...»

Протоплазма, думал Румата. Просто жрущая и размножающаяся протоплазма.

— Да, благородные доны, — сказал он. — Дон Рэба — умнейший человек...

— Ого-го! — сказал дон Сэра. — Еще какой! Светлая голова!..

— Выдающийся деятель, — сказал дон Тамэо значительно и с чувством.

— Сейчас даже странно вспомнить, — продолжал Румата, приветливо улыбаясь, — что говорилось о нем всего год назад. Помните, дон Тамэо, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги?

Дон Тамэо поперхнулся и залипом осушил стакан ируканского.

— Не припоминаю, — пробормотал он. — Да и какой из меня осмеятель...

— Было, было, — сказал дон Сэра, укоризненно качая головой.

— Действительно! — воскликнул Румата. — Вы же присутствовали при этой беседе, дон Сэра! Помню, вы еще так хототали над остроумными пассажами дона Тамэо, что у вас что-то там отлетело в туалете.

Дон Сэра побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться, причем все время врал. Помрачневший дон Тамэо приналег на крепкое эсторское, а так

как он, по его собственным словам, «как начал с по-звучавшего утра, так по сю пору не может остановиться», его, когда они выбрались из дома, пришлось поддерживать с двух сторон.

День был солнечный, яркий. Простой народ толкался между домами, ища, на что бы поглязеть, визжали и свистели мальчишки, кидаясь грязью, из окон выглядывали хорошенъкие горожанки в чепчиках, вертлявые служаночки застенчиво стреляли влажными глазками, и настроение стало понемногу подниматься. Дон Сэра очень ловко сшиб с ног какого-то мужика и чуть не помер со смеха, глядя, как мужик барахтается в луже. Дон Тамэо вдруг обнаружил, что надел перевязи с мечами задом наперед, закричал: «Стойте!» — и стал крутиться на месте, пытаясь перевернуться внутри перевязей. У дона Сэра опять что-то отлетело на камзоле. Румата поймал за розовое ушко пробегавшую служаночку и попросил ее помочь дону Тамэо привести себя в порядок. Вокруг благородных донов немедленно собралась толпа зевак, подававших служаночке советы, от которых та стала совсем пунцовой, а с камзола дона Сэра градом сыпались застежки, пуговки и пряжки. Когда они, наконец, двинулись дальше, дон Тамэо принял во всеуслышание сочинять дополнение к своей до-кладной, в котором он указывал на необходимость «непричисления хорошенъких особ женского пола к мужикам и простолюдинам». Тут дорогу им преградил воз с горшками. Дон Сэра обнажил оба меча и заявил, что благородным донам не пристало обходить всякие там горшки и он проложит себе дорогу сквозь этот воз. Но пока он примеривался, пытаясь различить, где кончается стена дома и начинаются горшки, Румата взялся за колеса и развернул воз, освободив проход. Зеваки, восхищенно наблюдавшие за происходившим, прокричали Румате тройное «ура». Благородные доны двинулись было дальше, но из окна на третьем этаже высунулся толстый сивый лавочник и стал распространяться о бесчинствах придворных, на которых «орел наш дон Рэба скоро найдет управу». Пришлось задержаться и переправить в это окно весь

груз горшков. В последний горшок Румата бросил две золотые монеты с профилем Пицца Шестого и вручил осталбеневшему владельцу воза.

— Сколько вы ему дали? — спросил дон Тамэо, когда они пошли дальше.

— Пустяк, — небрежно ответил Румата. — Два золотых.

— Спина святого Мики! — воскликнул дон Тамэо. — Вы богаты! Хотите, я продам вам своего хамахарского жеребца?

— Я лучше выиграю его у вас в кости, — сказал Румата.

— Верно! — сказал дон Сэра и остановился. — Почему бы нам не сыграть в кости!

— Прямо здесь? — спросил Румата.

— А почему бы нет? — спросил дон Сэра. — Не вижу, почему бы трем благородным донам не сыграть в кости там, где им хочется!

Тут дон Тамэо вдруг упал. Дон Сэра зацепился за его ноги и тоже упал.

— Я совсем забыл, — сказал он. — Нам ведь пора в караул.

Румата поднял их и повел, держа за локти. У огромного мрачного дома дона Сатарине он остановился.

— А не зайти ли нам к старому дону? — спросил он.

— Совершенно не вижу, почему бы трем благородным донам не зайти к старому дону Сатарине, — сказал дон Сэра.

Дон Тамэо открыл глаза.

— Находясь на службе короля, — провозгласил он, — мы должны всемерно смотреть в будущее. Д-дон Сатарина — это пройденный этап. Вперед, благородные доны! Мне нужно на пост...

— Вперед, — согласился Румата.

Дон Тамэо снова уронил голову на грудь и больше уже не просыпался. Дон Сэра, загибая пальцы, рассказывал о своих любовных победах. Так они добрались до дворца. В караульном помещении Румата с облегчением положил дона Тамэо на скамью, а дон

Сэра уселся за стол, небрежно отодвинул начку ордеров, подписанных королем, и заявил, что пришла, наконец, пора выпить холодного ируканского. Пусть хозяин катит бочку, приказал он, а эти девочки (он указал на караульных гвардейцев, игравших в карты за другим столом) пусть идут сюда. Пришел начальник караула, лейтенант гвардейской роты. Он долго присматривался к дону Тамэо и приглядывался к дону Сэру; и когда дон Сэра осведомился у него, «зачем увили все цветы в саду таинственном любви», решил, что посыпать их сейчас на пост, пожалуй, не стоит. Пусть пока так полежат.

Румата проиграл лейтенанту золотой и поговорил с ним о новых форменных перевязях и о способах заточки мечей. Он заметил между прочим, что собирается зайти к дону Сатарине, у которого есть оружие старинной заточки, и был очень огорчен, узнав, что почтенный вельможа окончательно спятил: еще месяц назад выпустил своих пленников, распустил дружину, а богатейший пыточный арсенал безвозмездно передал в казну. Стодвухлетний старец заявил, что остаток жизни намеревается посвятить добрым делам, и теперь, наверное, долго не протянет.

Попрощавшись с лейтенантом, Румата вышел из дворца и направился в порт. Он шел, огибая лужи и перепрыгивая через рытвины, полные зацветшей воды, бесцеремонно расталкивая зазевавшихся простолюдинов, подмигивая девушкам, на которых внешность его производила, по-видимому, неотразимое впечатление, раскланивался с дамами, которых несли в портшезах, дружески здоровался со знакомыми дворянами и нарочито не замечал серых штурмовиков.

Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти в Патриотическую школу. Школа эта была учреждена иждивением дона Рэбы два года назад для подготовки из мелкопоместных и купеческих недорослей военных и административных кадров. Дом был каменный, современной постройки, без колонн и барельефов, с толстыми стенами, с узкими бойницеобразными ок-

нами, с полукруглыми башнями по сторонам главного входа. В случае надобности в доме можно было продержаться.

По узким ступеням Румата поднялся на второй этаж и, звеня шпорами по камню, направился мимо классов к кабинету прокуратора школы. Из классов неслось жужжание голосов, хоровые выкрики. «Кто есть король? Светлое величество. Кто есть министры? Верные, не знающие сомнений...», «...И бог, наш создатель, сказал: «Прокляну». И проклял...», «...А ежели рожок дважды пропротрубит, рассыпаться по двое как бы цепью, опустив притом пики...», «...Когда же пытуемый впадает в беспамятство, испытание, не увлекаясь, прекратить...»

Школа, думал Румата. Гнездо мудрости. Опора культуры...

Он, не стучась, толкнул низкую сводчатую дверь и вошел в кабинет, темный и ледяной, как погреб. Навстречу из-за огромного стола, заваленного бумагой и тростями для наказаний, выскоцил длинный угловатый человек, лысый, с провалившимися глазами, затянутый в узкий серый мундир с нашивками министерства охраны короны. Это и был прокуратор Патриотической школы высокоучченый отец Кин — садист-убийца, постригшийся в монахи, автор «Трактата о доносе», обратившего на себя внимание дона Рэбы.

Небрежно кивнув в ответ на витиеватое приветствие, Румата сел в кресло и положил ногу на ногу. Отец Кин остался стоять, согнувшись в позе почтительного внимания.

— Ну, как дела? — спросил Румата благосклонно. — Одних грамотеев режем, других учим?

Отец Кин осклабился.

— Грамотей не есть враг короля, — сказал он. — Враг короля есть грамотей-мечтатель, грамотей усомнившийся, грамотей неверящий! Мы же здесь...

— Ладно, ладно, — сказал Румата. — Верю. Что пописываешь? Читал я твой трактат — полезная книга, но глупая. Как же это ты? Нехорошо. Прокуратор!..

— Не умом поразить тщился, — с достоинством ответил отец Кин. — Единственно, чего добивался, успеть в государственной пользе. Умные нам ненадобны. Надобны верные. И мы...

— Ладно, ладно, — сказал Румата. — Верю. Так пишешь что новое или нет?

— Собираюсь подать на рассмотрение министру рассуждение о новом государстве, образцом коего полагаю Область Святого Ордена.

— Это что же ты? — удивился Румата. — Всех нас в монахи хочешь?..

Отец Кин стиснул руки и подался вперед.

— Разрешите пояснить, благородный дон, — горячо сказал он, облизнув губы. — Суть совсем в ином! Суть в основных установлениях нового государства. Установления просты, и их всего три: слепая вера в непогрешимость законов, беспрекословное оным повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за всеми!

— Гм, — сказал Румата. — А зачем?

— Что «зачем»?

— Глуп ты все-таки, — сказал Румата. — Ну ладно, верю. Так о чём это я?.. Да! Завтра ты примешь двух новых наставников. Их зовут: отец Тарра, очень почтенный старец, занимается этой... космографией, и брат Нанин, тоже верный человек, силен в истории. Это мои люди, и прими их почтительно. Вот залог. — Он бросил на стол звякнувший мешочек. — Твоя доля здесь — пять золотых... Все понял?

— Да, благородный дон, — сказал отец Кин.

Румата зевнул и огляделся.

— Вот и хорошо, что понял, — сказал он. — Мой отец почему-то очень любил этих людей и завещал мне устроить их жизнь. Вот объясни мне, ученый человек, откуда в благороднейшем доне может быть такая привязанность к грамотею?

— Возможно, какие-нибудь особые заслуги? — предположил отец Кин.

— Это ты о чём? — подозрительно спросил Румата. — Хотя почему же? Да... Дочка там хорошенькая или сестра... Вина, конечно, у тебя здесь нет?

Отец Кин виновато развел руки. Румата взял со стола один из листков и некоторое время подержал перед глазами.

— «Слопешествование»... — прочел он. — Мудрецы! — Он уронил листок на пол и встал. — Смотри, чтобы твоя ученая свора их здесь не обижала. Я их как-нибудь навещу, и если узнаю... — Он поднес под нос отцу Кину кулак. — Ну ладно, ладно, не бойся, не буду...

Отец Кин почтительно хихикнул. Румата кивнул ему и направился к двери, царапая пол шпорами.

На улице Премногблагодарения он заглянул в оружейную лавку, купил новые кольца для ножен, попробовал пару кинжалов (покидал в стену, примерил к ладони — не понравилось), затем, присев на прилавок, поговорил с хозяином, отцом Гауком. У отца Гаука были печальные добрые глаза и маленькие бледные руки в неотмытых чернильных пятнах. Румата немного поспорил с ним о достоинствах стихов. Цурэна, выслушав интересный комментарий к строчке «Как лист увядший падает на душу...», попросил прочесть что-нибудь новенькое и, повздыхав вместе с автором над невыразимо грустными строками, prodекламировал перед уходом «Быть или не быть?» в своем переводе на ируканский.

— Святой Мика! — вскричал воспламененный отец Гаук. — Чьи это стихи?

— Мои, — сказал Румата и вышел.

Он зашел в «Серую Радость», выпил стакан арканской кислятины, потрепал хозяйку по щеке, певернулся, ловко двинув мечом, столик штатного осведомителя, пялившего на него пустые глаза, затем прошел в дальний угол и отыскал там обтрепанного бородатого человечка с чернильницей на шее.

— Здравствуй, брат Нанин, — сказал он. — Сколько прошений написал сегодня?

Брат Нанин застенчиво улыбнулся, показав мелкие испорченные зубы.

— Сейчас пишут мало прошений, благородный дон, — сказал он. — Одни считают, что просить бес-

полезно, а другие рассчитывают в ближайшее время взять без спроса.

Румата наклонился к его уху и рассказал, что дело с Патриотической школой уложено.

— Вот тебе два золотых, — сказал он в заключение. — Оденься, приведи себя в порядок. И будь осторожнее... хотя бы в первые дни. Отец Кин — опасный человек.

— Я прочитаю ему свой «Трактат о слухах», — весело сказал брат Нанин. — Спасибо, благородный дон.

— Чего не сделаешь в память о своем отце! — сказал Румата. — А теперь скажи, где мне найти отца Тарра?

Брат Нанин перестал улыбаться и растерянно замигал.

— Вчера здесь случилась драка, — сказал он. — А отец Тарра немного перепил. И потом он же рыжий... Ему сломали ребро.

Румата крякнул от досады.

— Вот несчастье! — сказал он. — И почему вы так много пьете?

— Иногда бывает трудно удержаться, — грустно сказал брат Нанин.

— Это верно, — сказал Румата. — Ну что ж, вот еще два золотых, береги его.

Брат Нанин наклонился, ловя его руку. Румата отступил.

— Ну-ну, — сказал он. — Это не самая лучшая из твоих шуток, брат Нанин. Прощай.

В порту пахло, как нигде в Арканаре. Пахло соленой водой, тухлой тиной, пряностями, смолой, дымом, лежалой солониной, из таверн несло чадом, жареной рыбой, прокисшей брагой. В душном воздухе висела густая разновязычная ругань. На пирсах, в тесных проходах между складами, вокруг таверн толпились тысячи людей диковинного вида: расхлюстанные матросы, надутые купцы, угрюмые рыбаки, торговцы рабами, торговцы женщинами, раскрашенные

девки, пьяные солдаты, какие-то неясные личности, увешанные оружием, фантастические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах. Все были возбуждены и обозлены. По приказу дона Рэбы вот уже третий день ни один корабль, ни один членок не мог покинуть порта. У причалов поигрывали ржавыми мясницкими топорами серые штурмовики — сплевывали, нагло и злорадно поглядывая на толпу. На арестованных кораблях группами по пять-шесть человек сидели на корточках ширококостные, меднокожие люди в шкурах шерстью наружу и медных колпаках — наемники-варвары, никудышные в рукопашном бою, но страшные вот так, на расстоянии, своими длинноющими духовыми трубками, стреляющими отравленной колючкой. А за лесом мачт, на открытом рейде чернели в мертвом штиле длинные боевые галеры королевского флота. Время от времени они испускали красные отненно-дымные струи, воспламеняющие море, — жгли нефть для устрашения.

Румата миновал таможенную канцелярию, где перед запертymi дверями струились угрюмые морские волки, тщетно ожидающие разрешения на выход, протолкался через криклившую толпу, торгующую чем попало (от рабынь и черного жемчуга до наркотиков и дрессированных пауков), вышел к пирсам, покосился на выложенные в ряд для всеобщего обозрения на самом солнцепеке раздутые трупы в матросских куртках и, описав дугу по захламленному пустырю, проник в вонючие улочки портовой окраины. Здесь было тише. В дверях убогих притончиков дремали полуугольные девки, на перекрестке валялся разбитой мордой вниз упившийся солдат с вывернутыми карманами, вдоль стен крались подозрительные фигуры с бледными ночных физиономиями.

Днем Румата был здесь впервые и сначала удивился, что не привлекает внимания: встречные заплыши глазами глядели либо мимо, либо как бы сквозь него, хотя и сторонились, давая дорогу. Но, сворачивая за угол, он случайно обернулся и успел заметить, как десятка полтора разнокалиберных голов, мужских и женских, лохматых и лысых, мгно-

венно втянулись в двери, в окна, в подворотни. Тогда он ощутил странную атмосферу этого гнусного места, атмосферу не то чтобы вражды или опасности, а какого-то нехорошего, корыстного интереса.

Толкнув плечом дверь, он вошел в один из притонов, где в полутемной зальце дремал за стойкой длинноносый старишка с лицом мумии. За столами было пусто. Румата неслышно подошел к стойке и примерился уже щелкнуть старика в длинный нос, как вдруг заметил, что спящий старишка вовсе не спит, а сквозь голые прижмуренные веки внимательно его разглядывает. Румата бросил на стойку серебряную монетку, и глаза старишки сейчас же широко раскрылись.

— Что будет угодно благородному дону? — деловито осведомился он. — Травку? Понюшку? Девочку?

— Не притворяйся, — сказал Румата. — Ты знаешь, зачем я сюда прихожу.

— Э-э, да никак это дон Румата! — с необычайным удивлением вскричал старики. — Я и то смотрю, что-то знакомое...

Сказавши это, он снова опустил веки. Все было ясно. Румата обошел стойку и пролез сквозь узкую дверь в соседнюю комнатушку. Здесь было тесно, темно и воняло душной кислятиной. Посредине за высокой конторкой стоял, согнувшись над бумагами, сморщеный пожилой человек в плоской черной шапочке. На конторке мигала коптилка, и в сумраке виднелись только лица людей, неподвижно сидевших у стен. Румата, придерживая мечи, тоже нашарил табурет у стены и сел. Здесь были свои законы и свой этикет. Внимания на вошедшего никто не обратил: раз пришел человек, значит, так надо, а если не надо, то мигнут — и не станет человека. Ищи его хоть по всему свету... Сморщеный старик прилежно скрипел пером, люди у стен были неподвижны. Время от времени то один из них, то другой протяжно вздыхал. По стенам, легонько топча, бегали невидимые ящерицы-мухоловки.

Неподвижные люди у стен были главарями банд — некоторых Румата давно знал в лицо. Сами

но себе эти тупые животные стоили немного. Их психология была не сложнее психологии среднего лавочника. Они были невежественны, беспощадны и хорошо владели ножами и короткими дубинками. А вот человек у конторки...

Его звали Вага Колесо, и он был всемогущим, не знающим конкурентов главою всех преступных сил Запроливья — от Питанских болот на западе Ирукана до морских границ торговой республики Соан. Он был проклят всеми тремя официальными церквами Империи за неумеренную гордыню, ибо называл себя младшим братом царствующих особ. Он располагал ночной армией общей численностью до десяти тысяч человек, богатством в несколько сотен тысяч золотых, а агентура его проникла в святая святых государственного аппарата. За последние двадцать лет его четырежды казнили, каждый раз при большом стечении народа; по официальной версии, он в настоящий момент томился сразу в трех самых мрачных застенках Империи, а дон Рэба неоднократно издавал указы «касательно возмутительного распространения государственными преступниками и иными злоумышленниками легенд о так называемом Ваге Колесе, на самом деле не существующем и, следовательно, легендарном». Тот же дон Рэба вызывал к себе, по слухам, некоторых баронов, располагающих сильными дружинами, и предлагал им вознаграждение: пятьсот золотых за Вагу мертвого и семь тысяч золотых за живого. Самому Румате пришлось в свое время потратить немало сил и золота, чтобы войти в контакт с этим человеком. Вага вызывал в нем сильнейшее отвращение, но иногда был чрезвычайно полезен, буквально незаменим. Кроме того, Вага сильно занимал Румату как ученого. Это был любопытнейший экспонат в его коллекции средневековых монстров, личность, не имеющая, по-видимому, совершенно никакого прошлого...

Вага, наконец, положил перо, расправился и сказал скрипуче:

— Вот так, дети мои. Две с половиной тысячи золотых за три дня. А расходов всего одна тысяча де-

вятьсот девяносто шесть. Пятьсот четыре маленьких кругленьких золотых за три дня. Ненплохо, дети мои, неплохо...

Никто не пошевелился. Вага отошел от конторки, сел в углу и сильно потер сухие ладони.

— Есть чем порадовать вас, дети мои, — сказал он. — Времена настают хорошие, изобильные... Но придется потрудиться. Ох, как придется! Мой старший брат, король Арканарский, решил извести всех ученых людей в нашем с ним королевстве. Ну что ж, ему виднее. Да и кто мы такие, чтобы обсуждать его высокие решения? Однако выгоду из этого его решения извлечь можно и должно. И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы егоочные подданные, мы и свою малую толику не упустим. Он этого не заметит и не будет гневаться на нас. Что?

Никто не пошевелился.

— Мне показалось, что Пига вздохнул. Это правда, Пига, сынок?

В темноте заерзали и прокашлялись.

— Не вздыхал я, Вага, — сказал грубый голос. — Как можно...

— Нельзя, Пига, нельзя! Правильно! Все вы сейчас должны слушать меня затаив дыхание. Все вы разъедетесь отсюда и возьметесь за тяжкий труд, и некому будет тогда посоветовать вам. Мой старший брат, его величество, устами министра своего дона Рэбы обещал за головы некоторых бежавших и скрывающихся ученых людей немалые деньги. Мы должны доставить ему эти головы и порадовать его, старика. А с другой стороны, некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Во имя милосердия и чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств, мы поможем этим людям. Впрочем, впоследствии, если его величеству понадобятся и эти головы, он их получит. Дешево, совсем дешево...

Вага замолчал и опустил голову. По щекам его вдруг потекли старческие медленные слезы.

— А ведь я старею, дети мои, — сказал он, всхлипнув. — Руки мои дрожат, ноги подгибаются подо мною, и память начинает мне изменять. Забыл ведь, совсем забыл, что среди нас в этой душной, тесной клетушке томится благородный дон, которому совершенно нет дела до наших грошовых расчетов. Уйду я. Уйду на покой. А пока, дети мои, давайте извинимся перед благородным доном...

Он встал и, кряхтя, согнулся в поклоне. Остальные тоже встали и тоже поклонились, но с явной нерешительностью и даже с испугом. Румата буквально слышал, как трещат их тупые, примитивные мозги в щепетном стремлении угнаться за смыслом слов и поступков этого согбенного старичка.

Дело было, конечно, ясное: разбойничек пользовался лишним шансом довести до сведения дона Рэбы, что ночная армия в происходящем погроме намерена действовать вместе с серыми. Теперь же, когда настало время давать конкретные указания, называть имена и сроки операций, присутствие благородного дона становилось, мягко выражаясь, обременительным, и ему, благородному дону, предлагалось быстренько изложить свое дело и выметаться вон. Темненький старичок. Страшненький. И почему он в городе? Вага терпеть не может города.

— Ты прав, почтенный Вага, — сказал Румата. — Мне недосуг. Однако извиниться должен я, потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. — Он продолжал сидеть, и все слушали его стоя. — Случилось так, что мне нужна твоя консультация... Ты можешь сесть.

Вага еще раз поклонился и сел.

— Дело вот в чем, — продолжал Румата. — Три дня назад я должен был встретиться в Урочище Тяжелых Мечей со своим другом, благородным доном из Ирукана. Но мы не встретились. Он исчез. Я знаю точно, что ируканскую границу он пересек благополучно. Может быть, тебе известна его дальнейшая судьба?

Вага долго не отвечал. Бандиты сопели и вздыхали. Потом Вага откашлялся.

— Нет, благородный дон, — сказал он. — Нам ничего не известно о таком деле.

Румата сейчас же встал.

— Благодарю тебя, почтенный, — сказал он. Он шагнул на середину комнаты и положил на конторку мешочек с десятком золотых. — Оставляю тебя с просьбой: если тебе станет что-нибудь известно, дай мне знать. — Он прикоснулся к шляпе. — Прощай.

Возле самой двери он остановился и небрежно сказал через плечо:

— Ты тут говорил что-то об ученых людях. Мне пришла сейчас в голову мысль. Я чувствую, трудами короля в Арканаре через месяц не отыщешь ни одного порядочного книгоочея. А я должен основать в метрополии университет, потому что дал обет за излечение меня от черного мора. Будь добр, когда поднавишь книгоочеев, извести сначала меня, а потом уже дона Рэбу. Может статься, я отберу себе парочку для университета.

— Не дешево обойдется, — сладким голосом предупредил Вага. — Товар редкостный, не залеживается.

— Честь дороже, — высокомерно сказал Румата и вышел.

ГЛАВА 3

Этого Вагу, думал Румата, было бы очень интересно изловить и вывезти на Землю. Технически это не сложно. Можно было бы сделать это прямо сейчас. Что бы он стал делать на Земле? Румата попытался представить себе, что Вага стал бы делать на Земле. В светлую комнату с зеркальными стенами и кондиционированным воздухом, пахнувшим хвоей или морем, бросили огромного мохнатого паука. Паук прижался к сверкающему полу, судорожно повел злобными глазками и — что делать? — боком, боком кинулся в самый темный угол, вжался, угрожающе выставив ядовитые челюсти. Конечно, прежде всего Вага стал бы искать обиженных. И конечно, самый

глупый обиженный показался бы ему слишком чистым и непригодным к использованию. А ведь захирел бы старичок. Пожалуй, даже и умер бы. А впрочем, кто его знает! В том-то все и дело, что психология этих монстров — совершенно темный лес. Святой Мика! Разобраться в ней гораздо сложнее, чем в психологии негуманоидных цивилизаций. Все их действия можно объяснить, но чертовски трудно эти действия предсказать. Да, может быть, и помер бы с тоски. А может быть, огляделся бы, приспособился, прикинул бы, что к чему, и поступил бы лесничим в какой-нибудь заповедник. Ведь не может же быть, чтобы не было у него мелкой, безобидной страстишки, которая здесь ему только мешает, а там могла бы стать сутью его жизни. Кажется, он кошек любит. В берлоге у него, говорят, целое стадо, и специальный человек к ним приставлен. И он этому человеку даже платит, хотя скуч и мог бы просто пригрозить. Но что бы он стал делать на Земле со своим чудовищным властолюбием — непонятно!

Румата остановился перед таверной и хотел было зайти, но обнаружил, что у него пропал кошелек. Он стоял перед входом в полной растерянности (он никак не мог привыкнуть к таким вещам, хотя это случалось с ним не впервые) и долго шарил по всем карманам. Всего было три мешочки, по десятку золотых в каждом. Один получил прокуратор, отец Кин, другой получил Вага. Третий исчез. В карманах было пусто, с левой штаны были аккуратно срезаны все золотые бляшки, а с пояса исчез кинжал.

Тут он заметил, что неподалеку остановились двое штурмовиков, глазеют на него и скалят зубы. Сотруднику Института было на это наплевать, но благородный дон Румата Эсторский осатанел. На секунду он потерял контроль над собой. Он шагнул к штурмовикам, рука его непроизвольно поднялась, сжимаясь в кулак. Видимо, лицо его изменилось страшно, потому что насмешники шарахнулись и с застывшими, как у паралитиков, улыбками торопливо юркнули в таверну.

Тогда он испугался. Ему стало так страшно, как

было только один раз в жизни, когда он — в то время еще сменный пилот рейсового звездолета — ощутил первый приступ малярии. Неизвестно, откуда взялась эта болезнь, и уже через два часа его с удивленными шутками и прибаутками вылечили, но он всегда запомнил потрясение, испытанное им, совершенно здоровым, никогда не болевшим человеком, при мысли о том, что в нем что-то разладилось, что он стал ущербным и словно бы потерял единоличную власть над своим телом.

Я же не хотел, подумал он. У меня и в мыслях этого не было. Они же ничего особенного не делали — ну, стояли, ну, скалили зубы... Очень глупо скалили, но у меня, наверное, был ужасно нелепый вид, когда я шарил по карманам. Ведь я их чуть не зарубил, вдруг понял он. Если бы они не убрались, я бы их зарубил. Он вспомнил, как совсем недавно на пари разрубил одним ударом сверху донизу чучело, одетое в двойной соанский панцирь, и по спине у него побежали мурашки... Сейчас бы они валялись вот здесь, как свиные туши, а я бы стоял с мечом в руке и не знал, что делать... Вот так бог! Озверел...

Он почувствовал вдруг, что у него болят все мышцы, как после тяжелой работы. Ну-ну, тихо сказал он про себя. Ничего страшного. Все прошло. Просто вспышка. Мгновенная вспышка, и все уже прошло. Я же все-таки человек, и все животное мне не чуждо... Это просто нервы. Нервы и напряжение последних дней... А главное — это ощущение наползающей тени. Непонятно чья, непонятно откуда, но она наползает и наползает совершенно неотвратимо...

Эта неотвратимость чувствовалась во всем. И в том, что штурмовики, которые еще совсем недавно трусливо жались к казармам, теперь с топорами наголо свободно разгуливают прямо посередине улиц, где раньше разрешалось ходить только благородным донам. И в том, что исчезли из города уличные певцы, рассказчики, плясуньи, акробаты. И в том, что горожане перестали распевать куплеты политического содержания, стали очень серьезными и совершенно точно знали, что необходимо для блага государства.

И в том, что внезапно и необъяснимо был закрыт порт. И в том, что были разгромлены и сожжены «возмущенным народом» все лавочки, торгующие раритетами, — единственные места в королевстве, где можно было купить или взять на время книги и рукописи на всех языках Империи и на древних, ныне мертвых, языках аборигенов Запроливья. И в том, что украшение города, сверкающая башня астрологической обсерватории, торчала теперь в синем небе черным гнилым зубом, спаленная «случайным пожаром». И в том, что потребление спиртного за два последних года выросло в четыре раза — в Арканаре-то, издревле славившемся безудержным пьянством! И в том, что привычно забитые, замордованные крестьяне окончательно зарылись под землю в своих Благородствованиях, Райских Кущах и Воздушных Лобзаниях, не решаясь выходить из землянок даже для необходимых полевых работ. И наконец, в том, что старый стервятник Вага Колесо переселился в город, чуя большую наживу... Где-то в недрах дворца, в роскошных апартаментах, где подагрический король, двадцать лет не видевший солнца из страха перед всем на свете, сын собственного прадеда, слабоумно хихикая, подписывает один за другим жуткие приказы, обрекающие на мучительную смерть самых честных и бескорыстных людей, где-то там вызревал чудовищный гнойник, и прорыва этого гнояника надо было ждать не сегодня-завтра...

Румата поскользнулся на разбитой дыне и поднял голову. Он был на улице Премногблагодарения, в царстве солидных купцов, менял и мастеров-ювелиров. По сторонам стояли добротные старинные дома с лавками и лабазами, тротуары здесь были широки, а мостовая выложена гранитными брусьями. Обычно здесь можно было встретить благородных да тех, кто побогаче, но сейчас навстречу Румате валила густая толпа возбужденных простолюдинов. Румату осторожно обходили, подобострастно поглядывая, многие на всякий случай кланялись. В окнах верхних этажей маячили толстые лица, на них оставало возбужденное любопытство. Где-то впереди начальствен-

но покрикивали: «А ну проходи!.. Разойдись!.. А ну, быстро!..» В толпе переговаривались:

— В них-то самое зло и есть, их-то и опасайся больше всего. На вид-то они тихие, благонравные, почтенные, поглядишь — купец купцом, а внутри яд горький!..

— Как они его, черта... Я уж на что привычный, да, веришь, замутило смотреть...

— А им хоть что... Во ребята! Прямо сердце радуется. Такие не выдадут.

— А может, не надо бы так? Все-таки человек, живое дыхание... Ну, грешен — так накажите, поучите, а зачем вот так-то?..

— Ты, это, брось!.. Ты, это, потише: во-первых, люди кругом...

— Хозяин, а хозяин! Сукно есть хорошее, отдадут, не подорожатся, если нажать.... Только быстрее надо, а то опять Пакиновы приказчики перехватят...

— Ты, сынок, главное, не сомневайся. Поверь, главное. Раз власти поступают — значит, знают, что делают...

Опять кого-то забили, подумал Румата. Ему захотелось свернуть и обойти стороной то место, откуда текла толпа и где кричали проходить и разойтись. Но он не свернул. Он только провел рукой по волосам, чтобы упавшая прядь не закрыла камень на золотом обручке. Камень был не камень, а объектив телепередатчика, и обруч был не обруч, а рапица. Историки на Земле видели и слышали все, что видели и слышали двести пятьдесят разведчиков на девяти материках планеты. И потому разведчики были обязаны смотреть и слушать.

Задрав подбородок и растопырив в стороны мечи, чтобы задевать побольше народу, он пошел прямо на людей посередине мостовой, и встречные поспешно шарахались, освобождая дорогу. Четверо коренастых носильщиков с раскрашенными мордами пронесли через улицу серебристый портшез. Из-за занавесок выглянуло красивое холодное лицо с подведенными ресницами. Румата сорвал шляпу и поклонился. Это была дона Окана, нынешняя фаворитка орла

нашего, дона Рэбы. Увидя великолепного кавалера, она томно и значительно улынулась ему. Можно было, не задумываясь, назвать два десятка благородных донов, которые, удостоившись такой улыбки, кинулись бы к женам и любовницам с радостным известием: «Теперь все прочие пусть поберегутся, всех теперь куплю и продам, все им припомню!..» Такие улыбки — штука редкая и подчас неоценимо дорогая. Румата остановился, провожая взглядом портшез. Надо решаться, подумал он. Надо, паконец, решаться... Он поежился при мысли о том, чего это будет стоить. Но ведь надо! Надо... Решено, подумал он, все равно другого пути нет. Сегодня вечером. Он поравнялся с оружейной лавкой, куда заглядывал давеча прилечиниться к кинжалам и послушать стихи, и снова остановился. Вот оно что... Значит, это была твоя очередь, добрый отец Гаук...

Толпа уже рассосалась. Дверь лавки была сорвана с петель, окна выбиты. В дверном проеме стоял, упервшись ногой в косяк, огромный штурмовик в сирой рубахе. Другой штурмовик, пожиже, сидел на корточках у стены. Ветер катал по мостовой мятые исписанные листы.

Огромный штурмовик сунул палец в рот, пососал, потом вынул изо рта и оглядел внимательно. Палец был в крови. Штурмовик поймал взгляд Румата и благодушно просипел:

— Кусается, стерва, что твой хорек...

Второй штурмовик торопливо хихикнул. Этакий жиленъкий, бледный парнишка, неуверенный, с прыщавой мордой, сразу видно: новичок, гаденыш, щенок...

— Что здесь произошло? — спросил Румата.

— За скрытого книжечея подержались, — нервно сказал щенок.

Верзила опять принялся сосать палец, не меняя позы.

— Смир-рина! — негромко скомандовал Румата.

Щенок торопливо вскочил и подобрал топор. Верзила подумал, но все-таки опустил ногу и встал довольно прямо.

— Так что за книжечей? — осведомился Румата.
— Не могу знать, — сказал щенок. — По приказу отца Цупика...
— Ну и что же? Взяли?
— Так точно! Взяли!
— Это хорошо, — сказал Румата.

Это действительно было совсем не плохо. Время еще оставалось. Нет ничего дороже времени, подумал он. Час стоит жизни, день бесценен.

— И куда же вы его? В Башню?
— А? — растерянно спросил щенок.
— Я спрашиваю, он в Башне сейчас?

На прыщавой мордочке расплылась неуверенная улыбка. Верзила заржал. Румата стремительно обернулся. Там, на другой стороне улицы, мешком тряпья висел на перекладине ворот труп отца Гаука. Несколько оборванных мальчишек, раскрыв рты, глазели на него со двора.

— Нынче в Башню не всякого отправляют, — благодушно просипел за спиной верзила. — Нынче у нас быстро. Узел за ухо — и пошел прогуляться...

Щенок снова захихикал. Румата слепо оглянулся на него и медленно перешел улицу. Лицо печального поэта было черным и незнакомым. Румата опустил глаза. Только руки были знакомы, длинные слабые пальцы, запачканные чернилами...

Теперь не уходят из жизни,
Теперь из жизни уводят,
И если кто-нибудь даже
Захочет, чтоб было иначе,
Бессильный и неумелый,
Опустит слабые руки,
Не зная, где сердце спрута
И есть ли у спрута сердце...

Румата повернулся и пошел прочь. Добрый слабый Гаук... У спрута есть сердце. И мы знаем, где оно. И это всего страшнее, мой тихий, беспомощный друг. Мы знаем, где оно, но мы не можем разрубить его, не проливая крови тысяч запуганных, одурманенных, слепых, не знающих сомнения людей. А их так много, безнадежно много, темных, разъединенных,

озлобленных вечным неблагодарным трудом, униженных, не способных еще подняться над мыслишкой о лишнем медяке... И их еще нельзя научить, объединить, направить, спасти от самих себя. Рано, слишком рано, на столетия раньше, чем можно, поднялась в Арканаре серая топь, она не встретит отпора, и остается одно: спасать тех немногих, кого можно успеть спасти. Будаха, Тарпу, Нанина, ну еще десяток, ну еще два десятка...

Но одна только мысль о том, что тысячи других, пусть менее талантливых, но тоже честных, по-настоящему благородных людей фатально обречены, вызывала в груди ледяной холод и ощущение собственной подлости. Временами это ощущение становилось таким острым, что сознание помрачалось, и Румата словно наяву видел спины серой сволочи, озаряемые лиловыми вспышками выстрелов, и перекошенную животным ужасом всегда такую незаметную, бледненькую физиономию дона Рэбы и медленно обрушающуюся внутрь себя Веселую Башню... Да, это было бы сладостно. Это было бы настоящее дело. Настоящее макроскопическое воздействие. Но потом... Да, они в Институте правы. Потом неизбежное. Кровавый хаос в стране. Ночная армия Ваги, выходящая на поверхность, десять тысяч головорезов, отлученных всеми церквами, насильников, убийц, растлителей; орды меднокожих варваров, спускающиеся с гор и истребляющие все живое, от младенцев до старииков; громадные толпы слепых от ужаса крестьян и горожан, бегущих в леса, в горы, в пустыни; и твои сторонники — веселые люди, смелые люди! — вспарывающие друг другу животы в жесточайшей борьбе за власть и за право владеть пулеметом после твоей неизбежно насильтвенной смерти... И эта нелепая смерть — из чаши вина, поданной лучшим другом, или от арбалетной стрелы, свистнувшей в спину из-за портъеты. И окаменевшее лицо того, кто будет послан с Земли тебе на смену и найдет страну, обезлюделвшую, залитую кровью, догорающую пожарищами, в которой все, все, все придется начинать сначала...

Когда Румата пнул дверь своего дома и вошел в великолепную обветшавшую прихожую, он был мрачен, как туча. Муга, седой сгорбленный слуга с сорокалетним лакейским стажем, при виде его съежился и только смотрел, втянув голову в плечи, как свирепый молодой хозяин срывает с себя шляпу, плащ и перчатки, швыряет на лавку перевязи с мечами и поднимается в свои покой. В гостиной Румату ждал мальчик Уло.

— Вели подать обедать, — прорычал Румата. — В кабинет.

Мальчик не двинулся с места.

— Вас там дожидаются, — угрюмо сообщил он.

— Кто еще?

— Девка какая-то. А может, дона. По обращению вроде девка — ласковая, а одета по-благородному... Красивая.

Кира, подумал Румата с нежностью и облегчением. Ох, как славно! Как чувствовала, маленькая моя... Он постоял, закрыв глаза, собираясь с мыслями.

— Прогнать, что ли? — деловито спросил мальчик.

— Балда ты, — сказал Румата. — Я тебе прогоню.. Где она?

— Да в кабинете, — сказал мальчик, неумело улыбаясь.

Румата скорым шагом направился в кабинет.

— Вели обед на двоих, — приказал он на ходу. — И смотри: никого не пускать! Хоть король, хоть черт, хоть сам дон Рэба...

Она была в кабинете, сидела с ногами в кресле, подпервшись кулачком, и рассеянно перелистывала «Трактат о слухах». Когда он вошел, она вскинулась, но он не дал ей подняться, подбежал, обнял и сунул нос в пышные душистые ее волосы, бормоча: «Как кстати, Кира!.. Как кстати!..»

Ничего в ней особенного не было. Девчонка как девчонка, восемнадцать лет, курносенькая, отец — помощник писца в суде, брат — сержант у штурмовиков. И замуж ее меддили брать, потому что была рыжая, а рыжих в Арканаре не жаловали. По той же

причине была она на удивление тиха и застенчива, и ничего в ней не было от горластых, пышных мещанок, которые очень ценились во всех сословиях. Не была она похожа и на томных придворных красавиц, слишком рано и на всю жизнь познающих, в чем смысл женской доли. Но любить она умела, как любят сейчас на Земле, — спокойно и без оглядки...

- Почему ты плакала?
- Почему ты такой сердитый?
- Нет, ты скажи, почему ты плакала?
- Я тебе потом расскажу. У тебя глаза совсем-совсем усталые... Что случилось?
- Потом. Кто тебя обидел?
- Никто меня не обидел. Увези меня отсюда.
- Обязательно.
- Когда мы уедем?
- Я не знаю, маленькая. Но мы обязательно уедем.
- Далеко?
- Очень далеко.
- В метрополию?
- Да... в метрополию. Ко мне.
- Там хорошо?
- Там дивно хорошо. Там никто никогда не плачет.
- Так не бывает.
- Да, конечно. Так не бывает. Но ты там никогда не будешь плакать.
- А какие там люди?
- Как я.
- Все такие?
- Не все. Есть гораздо лучшие.
- Вот это уж не бывает.
- Вот это уж как раз бывает!
- Почему тебе так легко верить? Отец никому не верит. Брат говорит, что все свиньи, только одни грязные, а другие нет. Но им я не верю, а тебе всегда верю...
- Я люблю тебя...
- Подожди... Румата... Сними обруч... Ты говорил — это грешно...

Румата счастливо засмеялся, стянул с головы обруч, положил его на стол и прикрыл книгой.

— Это глаз бога, — сказал он. — Пусть закроется... — Он поднял ее на руки. — Это очень грешно, но когда я с тобой, мне не нужен бог. Правда?

— Правда, — сказала она тихонько.

Когда они сели за стол, жаркое простыло, а вино, принесенное с ледника, стенилось. Пришел мальчик Уно и, неслышно ступая, как учил его старый Муга, пошел вдоль стен, зажигая светильники, хотя было еще светло.

— Это твой раб? — спросила Кира.

— Нет, это свободный мальчик. Очень славный мальчик, только очень скромной.

— Денежки счет любят, — заметил Уно, не оборачиваясь.

— Так и не купил новые простыни? — спросил Румата.

— Чего там, — сказал мальчик. — И старые сойдут...

— Слушай, Уно, — сказал Румата. — Я не могу месяц подряд спать на одних и тех же простынях.

— Хэ, — сказал мальчик. — Его величество по полгода спят и не жалуются...

— А маслице, — сказал Румата, подмигивая Кири, — маслице в светильниках. Оно что — бесплатное?

Уно остановился.

— Так ведь гости у вас, — сказал он, наконец, решительно.

— Видишь, какой он! — сказал Румата.

— Он хороший, — серьезно сказала Кира. — Он тебя любит. Давай возьмем его с собой.

— Посмотрим, — сказал Румата.

Мальчик подозрительно спросил:

— Это куда еще? Никуда я не поеду.

— Мы поедем туда, — сказала Кира, — где все люди как дон Румата.

Мальчик подумал и презрительно сказал: «В рай, что ли, для благородных?..» Затем он насмешливо фыркнул и побрел из кабинета, шаркая разбитыми башмаками. Кира посмотрела ему вслед.

— Славный мальчик, — сказала она. — Угрюмый, как медвежонок. Хороший у тебя друг.

— У меня все друзья хорошие.

— А барон Пампа?

— Откуда ты его знаешь? — удивился Румата.

— А ты больше ни про кого и не рассказываешь. Я от тебя только и слышу — барон Пампа да барон Пампа.

— Барон Пампа — отличный товарищ.

— Как это так: барон — товарищ?

— Я хочу сказать, хороший человек. Очень добрый и веселый. И очень любит свою жену.

— Я хочу с ним познакомиться... Или ты стесняешься меня?

— Не-ет, я не стесняюсь. Только он хоть и хороший человек, а все-таки барон.

— А... — сказала она.

Румата отодвинул тарелку.

— Ты все-таки скажи мне, почему плакала. И прибежала одна. Разве сейчас можно одной по улицам бегать?

— Я не могла дома. Я больше не вернусь домой. Можно, я у тебя служанкой буду? Даром.

Румата просмеялся сквозь комок в горле.

— Отец каждый день доносы переписывает, — продолжала она с тихим отчаянием. — А бумаги, с которых переписывает, все в крови. Ему их в Веселой Башне дают. И зачем ты только меня читать научил? Каждый вечер, каждый вечер... Перепишет пыточную запись — и пьет... Так страшно, так страшно!.. «Вот, — говорит, — Кира, наш сосед-каллиграф учил людей писать. Кто, ты думаешь, он есть? Под пыткой показал, что колдун и ируканский шпион. Кому же, — говорит, — теперь верить? Я, — говорит, — сам у него письму учился». А брат придет из патруля — пьяней пива, руки все в засохшей крови... «Всех, — говорит, — вырежем до двенадцатого потомка...» Отца

допрашивает, почему, мол, грамотный... Сегодня с приятелями затащил в дом какого-то человека... Били его, все кровью забрызгали. Он уж и кричать перестал. Не могу я так, не вернусь, лучше убей меня!..

Румата встал возле нее, глядя по волосам. Она смотрела в одну точку блестящими сухими глазами. Что он мог ей сказать? Поднял на руки, отнес на диван, сел рядом и стал рассказывать про хрустальные храмы, про веселые сады на много миль без гнилья, комаров и нечисти, про скатерть-самобранку, про ковры-самолеты, про волшебный город Ленинград, про своих друзей — людей гордых, веселых и добрых, про диковинную страну за морями, за горами, которая называется по-странному — Земля... Она слушала тихо и внимательно и только крепче прижалась к нему, когда под окнами на улице — грррум, грррум, грррум — протопывали подкованные сапоги.

Было в ней чудесное свойство: она свято и бескорыстно верила в хорошее. Расскажи такую сказку крепостному мужичку — хмыкнет с сомнением, утрут рукавом сопли да и пойдет, ни слова не говоря, только оглядываясь на доброго, трезвого, да только — эх, беда-то какая! — тронутого умом благородного дона. Начни такое рассказывать дону Тамэо с доном Сэра — не дослушают: один заснет, а другой, рыгнув, скажет: «Это, — скажет, — очень все бла-ародно, а вот как там насчет баб?..» А дон Рэба выслушал бы до конца внимательно, а выслушав, мигнул бы штурмовичкам, чтобы заломили благородному дону локти к лопаткам да выяснили бы точно, от кого благородный дон сих опасных сказок наслушался да кому уже успел их рассказать...

Когда она заснула, успокоившись, он поцеловал ее в спокойное спящее лицо, накрыл зимним плащом с меховой опушкой и на цыпочках вышел, притворив за собой противно скрипнувшую дверь. Пройдя по темному дому, спустился в людскую и сказал, глядя поверх склонившихся в поклоне голов:

— Я взял домоправительницу. Имя ей Кира. Жить будет наверху, при мне. Комнату, что за кабинетом, завтра же прибрать тщательно. Домоправительницу

слушаться, — как меня. — Он обвел слуг глазами: не скалится ли кто. Никто не скалился, слушали с должной почтительностью. — А если кто болтать за воротами станет, язык вырву!

Окончив речь, он еще некоторое время постоял для внушительности, потом повернулся и снова поднялся к себе. В гостиной, увешанной ржавым оружием, заставленной причудливой, источенной жучками мебелью, он встал у окна и, глядя на улицу, прислонился лбом к холодному темному стеклу. Пробили первую стражу. В окнах напротив зажигали светильники и закрывали ставни, чтобы не привлекать злых людей и злых духов. Было тихо, только один раз где-то внизу ужасным голосом заорал пьяный — то ли его раздавали, то ли ломился в чужие двери.

Самым страшным были эти вечера, тощные, одиночные, беспросветные. Мы думали, что это будет вечный бой, яростный и победоносный. Мы считали, что всегда будем сохранять ясные представления о добре и зле, о враге и друге. И мы думали в общем правильно, только многое не учли. Например, этих вечеров не представляли себе, хотя точно знали, что они будут...

Внизу загремело железо — задвигали засовы, готовясь к ночи. Кухарка молилась святому Мике, чтобы послал какого ни на есть мужа, только был бы человек самостоятельный и с понятием. Старый Муга зевал, обмахиваясь большим пальцем. Слуги на кухне допивали вечернее пиво и сплетничали, а Уно, поблескивая недобройми глазами, говорил им по-взрослому: «Будет языки чесать, кобели вы...»

Румата отступил от окна и прошелся по гостиной. Это безнадежно, подумал он. Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно дать им все. Можно поселить их в самых современных спектрографических домах и научить их ионным процедурам, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лущит жена. И не будет для них лучшего времяпрепровождения. В этом смысле дон Кондор прав: Рэба — чушь, мелочь в сравнении

с громадой традиций, правил стадности, освященных веками, незыблемых, проверенных, доступных любому тунице из тушиц, освобождающих от необходимости думать и интересоваться. А дон Рэба не попадет, наверное, даже в школьную программу. «Мелкий авантюрист в эпоху укрепления абсолютизма».

Дон Рэба, дон Рэба! Не высокий, но и не низенький, не толстый и не очень тощий, не слишком густоволос, но и далеко не лыс. В движениях не резок, но и не медлителен, с лицом, которое не запоминается, которое похоже сразу на тысячи лиц. Вежливый, галантный с дамами, внимательный собеседник, не блещущий, впрочем, никакими особенными мыслями...

Три года назад он вынырнул из каких-то заплесневевых подвалов дворцовой канцелярии, мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнен, погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников, и словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто. Он ниоткуда. Это не могучий ум при слабом государе, каких знала история, не великий и страшный человек, отдающий всю жизнь идею борьбы за объединение страны во имя авторитарии. Это не златолюбец-временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Шепотом поговаривают даже, что он и не дон Рэба вовсе, что дон Рэба — совсем другой человек, а этот бог знает кто, оборотень, двойник, подменыш...

Что он ни задумывал, все проваливалось. Он натравил друг на друга два влиятельных рода в королевстве, чтобы ослабить их и начать широкое наступление на баронство. Но роды помирились, под звон кубков провозгласили вечный союз и отхватили у короля изрядный кусок земли, искони принадлежавший Тоцам Арканарским. Он объявил войну Ирукану, сам повел армию к границе, потопил ее в болотах и растерял в лесах, бросил все на произвол судьбы и сбежал обратно

в Арканар. Благодаря стараниям дона Гуга, о котором он, конечно, и не подозревал, ему удалось добиться у герцога Ируканского мира — ценой двух пограничных городов, а затем королю пришлось выскресть до дна опустевшую казну, чтобы бороться с крестьянскими восстаниями, охватившими всю страну. За такие промахи любой министр был бы повешен за ноги на верхушке Веселой Башни, но дон Рэба каким-то образом остался в силе. Он упразднил министерства, ведающие образованием и благосостоянием, учредил министерство охраны короны, снял с правительенных постов родовую аристократию и немногих ученых, окончательно развалил экономику, написал трактат «О скотской сущности земледельца» и, наконец, год назад организовал «охранную гвардию» — «Серые роты». За Гитлером стояли монополии. За доном Рэбом не стоял никто, и было очевидно, что штурмовики в конце концов сожрут его, как муху. Но он продолжал крутить и вертеть, нагромождать нелепость на нелепость, выкручивался, словно старался обмануть самого себя, словно не знал ничего, кроме параноической задачи — истребить культуру. Подобно Ваге Колесу, он не имел никакого прошлого. Два года назад любой аристократический ублудок с презрением говорил о «ничтожном хаме, обманувшем государя», зато теперь, какого аристократа ни спроси, всякий называет себя родственником министра охраны короны по материнской линии.

Теперь вот ему понадобился Будах. Снова нелепость. Снова какой-то дикий фингт. Будах — книгочей. Книгочея — на кол. С шумом, с помпой, чтобы все знали. Но шума и помпы нет. Значит, нужен живой Будах. Зачем? Не настолько же Рэба глуп, чтобы надеяться заставить Будаха работать на себя? А может быть, глуп? А может быть, дон Рэба просто глупый и удачливый интриган, сам толком не знающий, чего он хочет, и с хитрым видом валяющий дурака у всех на виду? Смешно, я три года слежу за ним и так до сих пор и не понял, что он такое. Впрочем, если бы он следил за мной, он бы тоже не понял. Ведь все может быть, вот что забавно! Базисная теория конкретизирует лишь основные виды психологической целенаправлен-

ности, а на самом деле этих видов столько же, сколько людей, у власти может оказаться кто угодно! Например, человечек, всю жизнь занимавшийся уязвлением соседей. Плевал в чужие кастрюли с супом, подбрасывал толченое стекло в чужое сено. Его, конечно, сметут, но он успеет вдосталь наплеваться, напаковать, натешиться... И ему нет дела, что в истории о нем не останется следа или что отдаленные потомки будут ломать голову, подгоняя его поведение под развитую теорию исторических последовательностей.

Мне теперь уже не до теории, подумал Румата. Я знаю только одно: человек есть объективный носитель разума, все, что мешает человеку развивать разум, — зло, и зло это надлежит устранять в кратчайшие сроки и любым путем. Любым? Любым ли?.. Нет, наверное, не любым. Или любым? Слюнтай! — подумал он про себя. — Надо решаться. Рано или поздно все равно придется решаться.

Он вдруг вспомнил про дону Окану. Вот и решаясь, подумал он. Начни именно с этого. Если бог берется чистить нужник, пусть не думает, что у него будут чистые пальцы... Он ощутил дурноту при мысли о том, что ему предстоит. Но это лучше, чем убивать. Лучше грязь, чем кровь. Он на цыпочках, чтобы не разбудить Киру, прошел в кабинет и переоделся. Повертел в руках обруч с передатчиком, решительно сунул в ящик стола. Затем воткнул в волосы за правым ухом белое перо — символ любви страстной, прицепил мечи и накинул лучший плащ. Уже внизу, отодвигая засовы, подумал: а ведь если узнает дон Рэба — конец доне Окане. Но было уже поздно возвращаться.

ГЛАВА 4

Гости уже собрались, но дона Окана еще не выходила. У золоченого столика с закусками картино выпивали, выгибая спины и отставляя поджарые зады, королевские гвардейцы, прославленные дуэлями и секуэтальными похождениями. Возле камина хихикали худосочные дамочки на возрасте, ничем не примечательные и потому взятые доной Оканой в кон-

фидентки. Они сидели рядышком на низких кушетках, а перед ними хлопотали трое старичков на тонких, непрерывно двигающихся ногах — знаменные щеголи времен прошлого регентства, последние знатоки давно забытых анекдотов. Все знали, что без этих старичков салон не салон. Посередине зала стоял, расставив ноги в ботфортах, дон Рипат, верный и неглупый агент Румата, лейтенант серой роты галантейщиков, с великолепными усами и без каких бы то ни было принципов. Засунув большие красные руки за кожаный пояс, он слушал дона Тамэо, путано излагавшего новый проект ущемления мужиков в пользу торгового сословия, и время от времени поводил усом в сторону дона Сэра, который бродил от стены к стене, видимо, в поисках двери. В углу, бросая по сторонам предупредительные взгляды, доедали тушенного с чесноком крокодила двое знаменитых художников-портретистов, а рядом с ними сидела в оконной нише пожилая женщина в черном — нянька, приставленная доном Рэбой к доне Окане. Она строго смотрела перед собой неподвижным взглядом, иногда неожиданно ныряя всем телом вперед. В стороне от остальных развлекались картами особа королевской крови и секретарь соянского посольства. Особа передергивала, секретарь терпеливо улыбался. В гостиной это был единственный человек, занятый делом: он собирал материал для очередного посольского донесения.

Гвардейцы у столика приветствовали Румата добрыми возгласами. Румата дружески подмигнул им и произвел обход гостей. Он раскланялся со старичками щеголями, отпустил несколько комплиментов конфиденткам, которые немедленно уставились на белое перо у него за ухом, потрепал особу королевской крови по жирной спине и направился к дону Рипату и дону Тамэо. Когда он проходил мимо оконной ниши, нянька снова сделала падающее движение, и от нее пахнуло густым винным перегаром.

При виде Румата дон Рипат выпростал руки из-под ремня и щелкнул каблуками, а дон Тамэо вскричал вполголоса:

— Вы ли это, мой друг? Как хорошо, что вы при-

шли, я уже потерял надежду... «Как лебедь с подбитым крылом взывает тоскливо к звезде...» Я так скучал... Если бы не милейший дон Рипат, я бы умер с тоски!

Чувствовалось, что дон Тамэо протрезвился было к обеду, но остановиться так и не смог.

— Вот как? — удивился Румата. — Мы цитируем мятежника Цурэна?

Дон Рипат сразу подобрался и хищно посмотрел на дона Тамэо.

— Э-э... — произнес дон Тамэо, потерявшийся. — Цурэна? Почему, собственно?.. Ну да, я в ироническом смысле, уверяю вас, благородные доны! Ведь что есть Цурэн? Низкий, неблагодарный демагог. И я хотел лишь подчеркнуть...

— Что доны Оканы здесь нет, — подхватил Румата, — и вы заскучали без нее.

— Именно это я и хотел подчеркнуть.

— Кстати, где она?

— Ждем с минуты на минуту, — сказал дон Рипат и, поклонившись, отошел.

Конфидентки, одинаково раскрыв рты, не отрываясь смотрели на белое перо. Старички щеголи жеманно хихикали. Дон Тамэо, наконец, тоже заметил перо и затрепетал.

— Мой друг! — зашептал он. — Зачем это вам? Не ровен час, войдет дон Рэба... Правда, его не ждут сегодня, но все равно...

— Не будем об этом, — сказал Румата, нетерпеливо озираясь. Ему хотелось, чтобы все скорее кончились.

Гвардейцы уже приближались с чашами.

— Вы так бледны... — шептал дон Тамэо. — Я понимаю, любовь, страсть... Но святой Мика! Государство превыше... И это опасно, наконец... Оскорбление чувств...

В лице его что-то изменилось, и он стал пятиться, отступать, отходить, непрерывно кланяясь. Румату обступили гвардейцы. Кто-то протянул ему полную чашу.

— За честь и короля! — заявил один гвардеец.

— И за любовь, — добавил другой.

— Покажите ей, что такое гвардия, благородный Румата, — сказал третий.

Румата взял чашу и вдруг увидел дону Окану. Она стояла в дверях, обмахиваясь веером и томно покачивая плечами. Да, она была хороша! На расстоянии она была даже прекрасна. Она была совсем не во вкусе Руматы, но она была несомненно хороша, эта глупая, похотливая курица. Огромные синие глаза без тени мысли и теплоты, нежный многоопытный рот, роскошное, умело и старательно обнаженное тело... Гвардеец за спиной Руматы, видимо не удержавшись, довольно громко чмокнул. Румата, не глядя, сунул ему кубок и длинными шагами направился к доне Окане. Все в гостиной отвели от них глаза и деятельно заговорили о пустяках.

— Вы ослепительны, — пробормотал Румата, глубоко кланяясь и лязгая мечами. — Позвольте мне быть у ваших ног... Подобно псу борзому лечь у ног красавицы нагой и равнодушной...

Дона Окана прикрылась веером и лукаво прищурилась.

— Вы очень смелы, благородный дон, — проговорила она. — Мы, бедные провинциалки, неспособны устоять против такого натиска... — У нее был низкий, с хрипотцой голос. — Увы, мне остается только открыть ворота крепости и впустить победителя...

Румата, скрипнув зубами от стыда и злости, поклонился еще глубже. Дона Окана опустила веер и крикнула:

— Благородные доны, развлекайтесь! Мы с доном Руматой сейчас вернемся! Я обещала ему показать мои новые ируканские ковры...

— Не покидайте нас надолго, очаровательница! — проблеял один из старичков.

— Прелестница! — сладко произнес другой старичок. — Фея!

Гвардейцы дружно громыхнули мечами. «Право, у него губа не дура...» — взяточно сказала королевская особа. Дона Окана взяла Румату за рукав и потянула за собой. Уже в коридоре Румата услыхал, как дон Сэра с обидой в голосе провозгласил: «Не вижу, поч-

му бы благородному дону не посмотреть на ируканские ковры...»

В конце коридора дона Окана внезапно остановилась, обхватила Румату за шею и с хриплым стоном, долженствующим означать прорвавшуюся страсть, впилась ему в губы. Румата перестал дышать. От феи остро несло смешанным ароматом немытого тела и эсторских духов. Губы у нее были горячие, мокрые и липкие от сладостей. Сделав над собой усилие, он попытался ответить на поцелуй, и это, по-видимому, ему удалось, так как дона Окана снова застонала и повисла у него на руках с закрытыми глазами. Это длилось целую вечность. Ну, я тебя, потаскуха, подумал Румата и сжал ее в объятиях. Что-то хрустнуло, не то корсаж, не то ребра, красавица жалобно пискнула, изумленно раскрыла глаза и забилась, стараясь освободиться. Румата спешно разжал руки.

— Противный... — тяжело дыша, сказала она с восхищением. — Ты чуть не сломал меня...

— Я сгораю от любви, — виновато пробормотал он.

— Я тоже. Я так ждала тебя! Пойдем скорей...

Она потащила его за собой через какие-то холодные темные комнаты. Румата достал платок и укралкой вытер рот. Теперь эта затея казалась ему совершенно безнадежной. Надо, думал он. Мало ли что надо!.. Тут разговорами не отделаешься. Святой Мика, почему они здесь во дворце никогда не моются? Ну и темперамент. Хоть бы дон Рэба пришел... Она тащила его молча, напористо, как муравей дохлую гусеницу. Чувствуя себя последним идиотом, Румата понес какую-то куртуазную чепуху о быстрых ножках и алых губках — дона Окана только похочатывала. Она втолкнула его в жарко натощенный будуар, действительно весь завешанный коврами, бросилась на огромную кровать и, разметавшись на подушках, стала глядеть на него влажными гиперестеничными глазами. Румата стоял как столб. В будуаре отчетливо пахло клопами.

— Ты прекрасен, — прошептала она. — Иди же ко мне. Я так долго ждала!..

Румата завел глаза, его подташнивало. По лицу, гадко щекоча, покатились капли пота. Не могу, поду-

мал он. К чертовой матери всю эту информацию... Лисица... Мартышка... Это же противоестественно, грязно... Грязь лучше крови, но это гораздо хуже грязи!

— Что же вы медлите, благородный дон? — визгливым, срывающимся голосом закричала дона Окана. — Идите же сюда, я жду!

— К чёрту... — хрющло сказал Румата.

Она вскочила и подбежала к нему.

— Что с тобой? Ты пьян?

— Не знаю, — выдавил он из себя. — Душно.

— Может быть, приказать тазик?

— Какой тазик?

— Ну ничего, ничего... Пройдет... — Трясущимися от нетерпения пальцами она принялась расстегивать его камзол. — Ты прекрасен... — задыхаясь, бормотала она. — Но ты робок, как новичок. Никогда бы не подумала... Это же прелестно: клянусь святой Барой!..

Ему пришлось схватить ее за руки. Он смотрел на нее сверху вниз и видел блестящие от лака неопрятные волосы, круглые голые плечи в шариках свалившейся пудры, маленькие малиновые уши. Скверно, подумал он. Ничего не выйдет. А жаль, она должна кое-что знать... Дон Рэба болтает во сне... Он водит ее на допросы, она очень любит допросы... Не могу...

— Ну? — сказала она раздраженно.

— Ваши ковры прекрасны, — громко сказал он. — Но мне пора.

Сначала она не поняла, затем лицо ее исказилось.

— Как ты смеешь? — прошептала она, но он уже нащупал лопатками дверь, выскоцил в коридор и быстро пошел прочь. С завтрашнего дня перестаю мыться, подумал он. Здесь нужно быть боровом, а не богом!

— Мерин! — крикнула она ему вслед. — Баба! На кол тебя!..

Румата распахнул какое-то окно и спрыгнул в сад. Некоторое время он стоял под деревом, жадно глотая холодный воздух. Потом вспомнил о дурацком белом пере, выдернул его, яростно смял и отбросил. У Пашки бы тоже ничего не вышло, подумал он. Ни у кого бы не вышло. «Ты уверен?» — «Да, уверен». — «Тогда гром вам всем цена!» — «Но меня тошнит от это-

го!» — «Эксперименту нет дела до твоих переживаний. Не можешь — не берись». — «Я не животное!» — «Если Эксперимент требует, надо стать животным». — «Эксперимент не может этого требовать». — «Как видишь, может». — «А тогда!..» — «Что «тогда»?» Он не знал, что тогда. «Тогда... Тогда... Хорошо, будем считать, что я плохой историк. — Он пожал плечами. — Постараемся стать лучшие. Научимся превращаться в свиней...»

Было около полуночи, когда он вернулся домой. Не раздеваясь, только распустив пряжки перевязи, повалился в гостиной на диван и заснул как убитый.

Его разбудили негодящие крики Уно и благодушный басистый рев:

— Пошел, пошел, волчонок, отдавлю ухо!..

— Да спят они, говорят вам!..

— Брысь, не путайся под ногами!..

— Не велено, говорят вам!

Дверь распахнулась, и в гостиную ввалился огромный, как зверь Пэх, барон Пампа дон Бау, краснощекий, белозубый, с торчащими вперед усами, в бархатном берете набекрень и в роскошном малиновом плаще, под которым тускло блестел медный панцирь. Следом волочился Уно, вцепившийся барону в правую штану.

— Барон! — воскликнул Румата, спуская с дивана ноги. — Как вы очутились в городе, дружище? Уно, оставь барона в покое!

— На редкость въедливый мальчишка, — рокотал барон, приближаясь с распростертыми объятиями. — Из него выйдет толк. Сколько вы за него хотите? Впрочем, об этом потом... Дайте мне обнять вас!

Они обнялись. От барона вкусно пахло пыльной дорогой, конским потом и смешанным букетом разных вин.

— Я вижу, вы тоже совершенно трезвы, мой друг, — с огорчением сказал он. — Впрочем, вы всегда трезвы. Счастливец!

— Садитесь, мой друг, — сказал Румата. — Уно! Подай нам эсторского, да побольше!

Барон поднял огромную ладонь.

— Ни капли!

— Ни капли эсторского? Уно, не надо эсторского, принеси ируканского!

— Не надо вообще вин! — с горечью сказал барон. — Я не пью.

Румата сел.

— Что случилось? — встревоженно спросил он. — Вы нездоровы?

— Я здоров как бык. Но эти проклятые семейные сцены... Короче говоря, я поссорился с баронессой — и вот я здесь.

— Поссорились с баронессой?! Вы?! Полнота, барон, что за странные шутки!

— Представьте себе. Я сам как в тумане. Сто двадцать миль проскакал как в тумане!

— Мой друг, — сказал Румата. — Мы сейчас же садимся на коней и скажем в Бау.

— Но моя лошадь еще не отдохнула! — возразил барон. — И потом, я хочу наказать ее!

— Кого?

— Баронессу, черт подери! Мужчина я или нет в конце концов?! Она, видите ли, недовольна Пампой пьяным, так пусть посмотрит, каков он трезвый! Я лучше сгнию здесь от воды, чем вернусь в замок...

Уно угрюмо сказал:

— Скажите ему, чтобы ухи не крутил...

— Па-шел, волчонок! — добродушно пророкотал барон. — Да принеси пива! Я вспотел, и мне нужно восместить потерю жидкости.

Барон возмешкал потерю жидкости в течение получаса и слегка осоловел. В промежутках между глотками он поведал Румате свои неприятности. Он несколько раз проклял «этых пропойц соседей, которые повадились в замок. Приезжают с утра якобы на охоту, а потом охнуть не успеешь — уже все пьяны и руяят мебель. Они разбредаются по всему замку, везде пачкают, обижают прислугу, калечат собак и подают отвратительный пример юному баронету. Потом они разъезжаются по домам, а ты, пьяный до неподвижности, остаешься один на один с баронессой...»

В конце своего повествования барон совершенно расстроился и даже потребовал было эсторского, но спохватился и сказал:

— Румата, друг мой, пойдемте отсюда. У вас слишком богатые погреба!.. Уедемте!

— Но куда?

— Не все ли равно — куда! Ну, хотя бы в «Серую Радость»...

— Гм... — сказал Румата. — А что мы будем делать в «Серой Радости»?

Некоторое время барон молчал, ожесточенно дергая себя за ус.

— Ну как что? — сказал он наконец. — Странно даже... Просто посидим, поговорим...

— В «Серой Радости»? — спросил Румата с сомнением.

— Да. Я понимаю вас, — сказал барон. — Это ужасно... Но все-таки уйдем. Здесь мне все время хочется потребовать эсторского!..

— Коня мне, — сказал Румата и пошел в кабинет взять передатчик.

Через несколько минут они бок о бок ехали верхом по узкой улице, погруженной в кромешную тьму. Барон, несколько оживившийся, в полный голос рассказывал о том, какого позавчера затравили вепря, об удивительных качествах юного баронета, о чуде в монастыре святого Тукки, где отец настоятель родил из бедра шестипалого мальчика... При этом он не забывал развлекаться: время от времени испускал волчий вой, улюлюкал и колотил плеткой в запертые ставни.

Когда они подъехали к «Серой Радости», барон остановил коня и глубоко задумался. Румата ждал. Ярко светились грязноватые окна распивочной, топтались лошади у коновязи, лениво переругивались нахмуренные девицы, сидевшие рядом на скамейке под окнами, двое слуг с натугой вкатили в распахнутые двери огромную бочку, покрытую пятнами селитры.

Барон грустно сказал:

— Один... Страшно подумать, целая ночь впереди и — один!.. И она там одна...

— Не огорчайтесь так, мой друг, — сказал Румата. — Ведь с нею баронет, а с вами я.

— Это совсем другое, — сказал барон. — Вы ничего не понимаете, мой друг. Вы слишком молоды и легкомысленны... Вам, наверное, даже доставляет удовольствие смотреть на этих шлюх...

— А почему бы и нет? — возразил Румата, с любопытством глядя на барона. — По-моему, очень приятные девочки.

Барон покачал головой и саркастически усмехнулся.

— Вон у той, что стоит, — сказал он громко, — отвистый зад. А у той, что сейчас причесывается, и во-все нет зада... Это коровы, мой друг, в лучшем случае это коровы. Вспомните баронессу! Какие руки, какая грация!.. Какая осанка, мой друг!..

— Да, — согласился Румата. — Баронесса прекрасна. Поедемте отсюда.

— Куда? — с тоской сказал барон. — И зачем? — На лице его вдруг обозначилась решимость. — Нет, мой друг, я никуда не поеду отсюда. А вы как хотите. — Он стал слезать с лошади. — Хотя мне было бы очень обидно, если бы вы оставили меня здесь одного.

— Разумеется, я останусь с вами, — сказал Румата. — Но...

— Никаких «но», — сказал барон.

Они бросили поводья подбежавшему слуге, гордо прошли мимо девиц и вступили в зал. Здесь было не прдохнуть. Огни светильников с трудом пробивались сквозь туман испарений, как в большой и очень грязной парной бане. На скамьях за длинными столами пили, ели, божились, смеялись, плакали, целовались, орали похабные песни потные солдаты в расстегнутых мундирах, морские бродяги в цветных кафтанах на голое тело, женщины с едва прикрытой грудью, серые штурмовики с топорами между колен, ремесленники в прожженных лохмотьях. Слева в тумане уггадывалась стойка, где хозяин, сидя на особом возвышении среди гигантских бочек, управляем роем проворных жуликоватых слуг, а справа ярким прямоугольником светился вход в чистую половину — для благородных донов, почтенных купцов и серого офицерства.

— В конце концов почему бы нам не выпить? — раздраженно спросил барон Пампа, схватил Румату за рукав и устремился к стойке в узкий проход между столами, царапая спины сидящих шипами поясной оторочки панциря. У стойки он выхватил из рук хозяина объемистый черпак, которым тот разливал вино по кружкам, молча осушил его до дна и объявил, что теперь все прошло и остается одно — как следует повеселиться. Затем он повернулся к хозяину и громогласно осведомился, есть ли в этом заведении место, где благородные люди могут прилично и скромно провести время, не стесняясь соседством всякой швали, рвани и ворья. Хозяин заверил его, что именно в этом заведении такое место существует.

— Отлично! — величественно сказал барон и бросил хозяину несколько золотых. — Подайте для меня и вот этого дона все самое лучшее, и пусть нам служит не какая-нибудь смазливая вертихвостка, а почтенная пожилая женщина!

Хозяин сам проводил благородных донов в чистую половину. Народу здесь было немного. В углу мрачно веселилась компания серых офицеров — четверо лейтенантов в тесных мундирчиках и двое капитанов в коротких плащах с нашивками министерства охраны короны. У окна за большим узкогорлым кувшином скучала пара молодых аристократов с кислыми от общей разочарованности физиономиями. Неподалеку от них расположилась кучка безденежных донов в потертых котлетах и штопанных плащах. Они маленькими глотками пили пиво и ежеминутно обводили помещение жаждущими взорами.

Барон рухнул за свободный стол, покосился на серых офицеров и проворчал: «Однако и здесь не без швали...» Но тут дородная тетка в переднике подала первую перемену. Барон крякнул, вытащил из-за пояса кинжал и принялся веселиться. Он молча пожирал увесистые ломти жареной оленины, груды маринованных моллюсков, горы морских раков, кадки салатов и майонезов, заливая все это водопадами вина, пива, браги и вина, смешанного с пивом и брагой. Безденежные доны по одному и по двое начали перебираться за его

стол, и барон встречал их молодецким взмахом руки и угробным ворчанием.

Вдруг он перестал есть, уставился на Румату выпученными глазами и проревел лесным голосом:

— Я давно не был в Анкаре, мой благородный друг! И скажу вам по чести, мне что-то здесь не нравится.

— Что именно, барон? — с интересом спросил Румата, обсасывая крыльышко цыпленка.

На лицах безденежных донов изобразилось почтительное внимание.

— Скажите мне, мой друг! — произнес барон, вытирая замасленные руки о край плаща. — Скажите, благородные доны! С каких пор в столице его величества короля нашего повелось так, что потомки древнейших родов Империи шагу не могут ступить, чтобы не натолкнуться на всяких там лавочников и мясников?!

Безденежные доны переглянулись и стали отодвигаться. Румата покосился в угол, где сидели серые. Там перестали пить и глядели на барона.

— Я вам скажу, в чем дело, благородные доны, — продолжал барон Пампа. — Это все потому, что вы здесь перетрусили. Вы их терпите потому, что боитесь. Вот ты боишься! — заорал он, уставясь на ближайшего безденежного дона. Тот сделал постное лицо и отошел с бледной улыбкой. — Трусы! — рявкнул барон. Усы его встали дыбом.

Но от безденежных донов толку было мало. Им явно не хотелось драться, им хотелось выпить и закусить.

Тогда барон перекинул ногу через лавку, забрал в кулак правый ус и, вперив взгляд в угол, где сидели серые офицеры, заявил:

— А вот я ни черта не боюсь! Я бью серую сволочь, как только она мне попадается!

— Что там сипит эта пивная бочка? — громко осведомился серый капитан с длинным лицом.

Барон удовлетворенно улыбнулся. Он с грохотом выбрался из-за стола и взгромоздился на скамью. Румата, подняв брови, принялся за второе крыльышко.

— Эй вы, серые подонки! — заорал барон, надсаживаясь, словно офицеры были за версту от него. —

Знайте, что третьего дня я, барон Пампа дон Бау, задал вашим ха-ар-рошую трепку! Вы понимаете, мой друг, — обратился он к Румате из-под потолка, — если это мы с отцом Кабани вечером у меня в замке. Вдруг прибегает мой конюх и сообщает, что шайка серых разносит корчму «Золотая Подкова». Мою корчму, на моей родовой земле! Я командую: «На коней!..» — и туда. Клянусь шпорой, их была там целая шайка, человек двадцать! Они захватили каких-то троих, перепились как свиньи... Пить эти лавочки не умеют... и стали всех лунить и все ломать. Я схватил одного за ноги — и пошла потеха! Я гнал их до самых Тяжелых Мечей... Крови было — вы не поверите, мой друг, — по колено, а топоров осталось столько...

На этом рассказ барона был прерван. Капитан с длинным лицом взмахнул рукой, и тяжелый метательный нож лязгнул о нагрудную пластину баронского панциря.

— Давно бы так! — сказал барон и выволок из ножен огромный двуручный меч.

Он с неожиданной ловкостью соскочил на пол, меч сверкающей полосой прорезал воздух и перерубил потолочную балку. Барон выругался. Потолок просел, на головы посыпался мусор.

Теперь все были на ногах. Безденежные доны отшатнулись к стенам. Молодые аристократы взобрались на стол, чтобы лучше видеть. Серые, выставив перед собой клинки, построились полукругом и мелкими шажками двинулись на барона. Только Румата остался сидеть, прикидывая, с какой стороны от барона можно встать, чтобы не попасть под меч.

Широкое лезвие зловеще шелестело, описывая сверкающие круги над головой барона. Барон поражал воображение. Было в нем что-то от грузового вертолета с винтом на холостом ходу.

Окружив его с трех сторон, серые были вынуждены остановиться. Один из них неудачно стал спиной к Румате, и Румата, перегнувшись через стол, схватил его за шиворот, опрокинул на спину в блюда с объедками и стукнул ребром ладони ниже уха. Серый закрыл глаза и замер. Барон вскричал:

— Прирежьте его, благородный Румата, а я прикончу остальных!

Он их всех поубивает, с неудовольствием подумал Румата.

— Слушайте, — сказал он серым. — Не будем портить друг другу веселую ночь. Вам не выстоять против нас. Бросайте оружие и уходите отсюда.

— Ну вот еще, — сердито возразил барон. — Я желаю драться! Пусть они дерутся! Деритесь же, черт вас подери!

С этими словами он двинулся на серых, все убыстряя вращение меча. Серые отступали, бледнея на глазах. Они явно никогда в жизни не видели грузового вертолета. Румата перепрыгнул через стол.

— Погодите, мой друг, — сказал он. — Нам совершенно незачем ссориться с этими людьми. Вам не нравится их присутствие здесь? Они уйдут.

— Без оружия мы не уйдем, — угрюмо сообщил один из лейтенантов. — Нам попадет. Я в патруле.

— Черт с вами, уходите с оружием, — разрешил Румата. — Клинки в ножны, руки за головы, проходить по одному! И никаких подлостей! Кости переломаю!

— Как же мы уйдем? — раздраженно осведомился длиннолицый капитан. — Этот дон загораживает нам дорогу!

— И буду загораживать! — упрямко сказал барон. Молодые аристократы обидно захохотали.

— Ну хорошо, — сказал Румата. — Я буду держать барона, а вы пробегайте, да побыстрее, — долго я его не удержу! Эй, там, в дверях, освободите проход!.. Барон, — сказал он, обнимая Пампу за обширную талию. — Мне кажется, мой друг, что вы забыли одно важное обстоятельство. Ведь этот славный меч употреблялся вашими предками только для благородного боя, ибо сказано: «Не обнажай в тавернах».

На лице барона, продолжавшего вертеть мечом, появилась задумчивость.

— Но у меня же нет другого меча, — нерешительно сказал он.

— Тем более!.. — значительно сказал Румата.

— Вы так думаете? — Барон все еще колебался.

— Вы же знаете это лучше меня!..

— Да, — сказал барон. — Вы правы. — Он посмотрел вверх, на свою беспечно работающую кисть. — Вы не поверите, дорогой Румата, но я могу вот так три четыре часа подряд — и николько не устану... Ах, почему она не видит меня сейчас?!

— Я расскажу ей, — пообещал Румата.

Барон вздохнул и опустил меч. Серые, согнувшись, кинулись мимо него. Барон проводил их взглядом.

— Не знаю, не знаю... — нерешительно сказал он. — Как вы думаете, я правильно сделал, что не проводил их пинками в зад?

— Совершенно правильно, — заверил его Румата.

— Ну что ж, — сказал барон, втихомодействуя меч в ножны. — Раз нам не удалось подрасти, то уж теперь-то мы имеем право слегка выпить и закусить.

Он стащил со стола за ноги серого лейтенанта, все еще лежавшего без сознания, и зычным голосом гаркнул:

— Эй, хозяйшка! Вина и еды!

Подошли молодые аристократы и учтиво поздравили с победой.

— Пустяки, пустяки, — благодушно сказал барон. — Шесть плюгавых молодчиков, трусливых, как все лавочники. В «Золотой Подкове» я раскидал их два десятка... Как удачно, — обратился он к Румате, — что тогда при мне не было моего боевого меча! Я мог бы в забывчивости обнажить его. И хотя «Золотая Подкова» не таверна, а всего лишь корчма...

— Некоторые так и говорят, — сказал Румата. — «Не обнажай в корчме».

Хозяйка принесла новые блюда с мясом и новые кувшины вина. Барон засучил рукава и принялся за работу.

— Кстати, — сказал Румата. — Кто были те три пленника, которых вы освободили в «Золотой Подкове»?

— Освободил? — Барон перестал жевать и уставился на Румату. — Но, мой благородный друг, я, вероятно, недостаточно точно выразился! Я никого не освобождал. Ведь они были арестованы, это государственное

дело... С какой стати я бы стал их освобождать? Какой-то дон, вероятно, большой трус, старик книжечей и слуга... — Он пожал плечами.

— Да, конечно, — грустно сказал Румата.

Барон вдруг налился кровью и страшно выкатил глаза.

— Что?! Опять?! — заревел он.

Румата оглянулся. В дверях стоял дон Рипат. Барон заворочался, опрокидывая скамьи и роняя блюда. Дон Рипат значительно посмотрел в глаза Руматы и вышел.

— Прошу прощенья, барон, — сказал Румата, вставая. — Королевская служба...

— А... — разочарованно произнес барон. — Сочувствую... Ни за что не пошел бы на службу!

Дон Рипат ждал сразу за дверью.

— Что нового? — спросил Румата.

— Два часа назад, — деловито сообщил дон Рипат, — по приказу министра охраны дона Рэбы я арестовал и препроводил в Веселую Башню дону Окану.

— Так, — сказал Румата.

— Час назад дона Окана умерла, не выдержав испытания огнем.

— Так, — сказал Румата.

— Официально ее обвинили в шпионаже. Но... — дон Рипат замялся и опустил глаза. — Я думаю... Мне кажется...

— Я понимаю, — сказал Румата.

Дон Рипат поднял на него виноватые глаза.

— Я был бессилен... — начал он.

— Это не ваше дело, — хрюкло сказал Румата.

Глаза дона Рипата снова стали оловянными. Румата кивнул ему и вернулся к столу. Барон доканчивал блюдо с фаршированными каракатицами.

— Эсторского! — сказал Румата. — И пусть принесут еще! — Он откашлялся. — Будем веселиться. Будем, черт побери, веселиться...

...Когда Румата пришел в себя, он обнаружил, что стоит посреди обширного пустыря. Занимался серый рассвет, вдали сиплыми голосами орали петухи-часоме-

ры. Каркали вороны, густо кружившиеся над какой-то неприятной кучей неподалеку, пахло сыростью и тленом. Туман в голове быстро рассеивался, наступало знакомое состояние пронзительной ясности и четкости восприятий, на языке приятно таяла мятная горечь. Сильно саднили пальцы правой руки. Румата поднес к глазам сжатый кулак. Кожа на косточках была ободрана, а в кулаке была зажата пустая ампула из-под каспарамида, могучего средства против алкогольного отравления, которым Земля предусмотрительно снабжала своих разведчиков на отсталых планетах. Видимо, уже здесь, на пустыре, перед тем как впасть в окончательно свинское состояние, он бессознательно, почти инстинктивно высypал в рот все содержимое ампулы.

Места были знакомые — прямо впереди чернела башня сожженной обсерватории, а левее проступали в сумраке тонкие, как минареты, сторожевые вышки королевского дворца. Румата глубоко вдохнул сырой холодный воздух и направился домой.

Барон Пампа повеселился в эту ночь на славу. В сопровождении кучи безденежных донов, быстро тяряющих человеческий облик, он совершил гигантское турне по арканарским кабакам, пропив все, вплоть до роскошного пояса, истребив неимоверное количество спиртного и закусок, учившись по дороге не менее восьми драк. Во всяком случае, Румата мог отчетливо вспомнить восемь драк, в которые он вмешивался, стараясь развести и не допустить смертоубийства. Дальнейшие его воспоминания тонули в тумане. Из этого тумана всплывали то хищные морды с ножами в зубах, то бесмысленно-горькое лицо последнего безденежного дона, которого барон Пампа пытался продать в рабство в порту, то разъяренный носатый ируканец, злобно требовавший, чтобы благородные доны отдали его лошадей...

Первое время он еще оставался разведчиком. Пил он наравне с бароном: ирукансое, эсторское, соапское, арканарское, но перед каждой переменой вин украдкой клал под язык таблетку каспарамида. Он еще сохранял рассудительность и привычно отмечал скопления серых

патрулей на перекрестках и у мостов, заставу конных варваров на соянской дороге, где барона наверняка бы пристрелили, если бы Румата не знал наречия варваров. Он отчетливо помнил, как поразила его мысль о том, что неподвижные ряды чудных солдат в длинных черных плащах с капюшонами, выстроенные перед Патриотической школой, — это монастырская дружина. При чем здесь церковь? — подумал он тогда. С каких это пор церковь в Арканаре вмешивается в светские дела?

Он пьянял медленно, но все-таки опьянял, как-то сразу, скачком; и когда в минуту просветления увидел перед собой разрубленный дубовый стол в совершенно незнакомой комнате, обнаженный меч в своей руке и рукоплещущих безденежных донов вокруг, то подумал было, что пора идти домой. Но было поздно. Волна беспенства и отвратительной, непристойной радости освобождения от всего человеческого уже захватила его. Он еще оставался землянином, разведчиком, наследником людей огня и железа, не щадивших себя и не дававших пощады во имя великой цели. Он не мог стать Руматой Эсторским, плотью от плоти двадцати поколений воинственных предков, прославленных грабежами и пьянством. Но он больше не был и коммунаром. У него больше не было обязанностей перед Экспериментом. Его заботили только обязанности перед самим собой. У него больше не было сомнений. Ему было ясно все, абсолютно все. Он точно знал, кто во всем виноват, и он точно знал, чего хочет: рубить на отмашь, предавать огню, сбрасывать с дворцовых ступеней на копья и вилы ревущей толпы...

Румата встрепенулся и вытащил из ножен мечи. Клинки были зазубрены, но чисты. Он помнил, что рубился с кем-то, но с кем? И чем все кончилось?..

...Коней они пропили. Безденежные доны куда-то исчезли. Румата — это он тоже помнил — приволок барона к себе домой. Пампа дол Бау был бодр, совершенно трезв и полон готовности продолжать веселье — просто он больше не мог стоять на ногах. Кроме того, он почему-то считал, что только что распрошался с милой баронессой и находится теперь в боевом походе про-

тив своего исконного врага барона Каску, обнаглевшего до последней степени. («Посудите сами, друг мой, этот негодяй родил из бедра шестипалого мальчишку и назвал его Пампой...») «Солнце заходит, — объявил он, глядя на гобелен, изображающий восход солнца. — Мы могли бы провеселиться всю эту ночь, благородные доны, но ратные подвиги требуют сна. Ни капли вина в походе. К тому же баронесса была бы недовольна».

Что? Постель? Какие постели в чистом поле? Наша постель — попона боевого коня! С этими словами он содрал со стены несчастный гобелен, завернулся в него с головой и с грохотом рухнул в угол под светильником. Румата велел мальчику Уно поставить рядом с бароном ведро рассола и кадку с маринадами. У мальчишки было сердитое, заспанное лицо. «Во набрались-то, — ворчал он. — Глаза в разные стороны смотрят...» — «Молчи, дурак», — сказал тогда Румата и... Что-то случилось потом. Что-то очень скверное, что погнало его через весь город на пустырь. Что-то очень, очень скверное, непростительное, стыдное...

Он вспомнил, когда уже подходил к дому, и, вспомнив, остановился.

...Отшвырнув Уно, он полез вверх по лестнице, распахнул дверь и ввалился к ней, как хозяин, и при свете ночника увидел белое лицо, огромные глаза, полные ужаса и отвращения, и в этих глазах — самого себя, шатающегося, с отвисшей слюнявой губой, с ободранными кулаками, в одежде, заляпанной дрянью, наглого и подлого хама голубых кровей, и этот взгляд швырнулся его назад, на лестницу, вниз, в прихожую, за дверь, на темную улицу и дальше, дальше, дальше, как можно дальше...

Стиснув зубы и чувствуя, что все внутри оледенело и смерзлось, он тихонько отворил дверь и на цыпочках вошел в прихожую. В углу, подобно гигантскому морскому млекопитающему, сопел в мирном сне барон. «Кто здесь?» — воскликнул Уно, дремавший на скамье с арбалетом на коленях. «Тихо, — шепотом сказал Румата. — Пошли на кухню. Бочку воды, уксусу, новое платье, живо!»

Он долго, яростно, с острым наслаждением обливался водой и обтирался уксусом, сдирая с себя ночную грязь. Уно, против обыкновения молчаливый, хлопотал вокруг него. И только потом, помогая дону застегивать идиотские сиреневые штаны с петлями на заду, сообщил угрюмо:

— Ночью, как вы укатили, Кира спускалась и спрашивала, был дон или нет, решила, видно, что приснилось. Сказал ей, что как с вечера ушли в караул, так и не возвращались...

Румата глубоко вздохнул отвернувшись. Легче не стало. Хуже.

— ...А я всю ночь с арбалетом над бароном сидел: боялся, что спяну наверх полезут.

— Спасибо, малыш, — с трудом сказал Румата.

Он натянул башмаки, вышел в прихожую, постоял немного перед темным металлическим зеркалом. Кастильон работал безотказно. В зеркале виднелся изящный, благородный дон с лицом, несколько осунувшимся после утомительного ночного дежурства, но в высшей степени благопристойным. Влажные волосы, прихваченные золотым обручем, мягко и красиво спадали по сторонам лица. Румата машинально поправил объектив над переносицей. Хорошенькие сцены наблюдали сегодня на Земле, мрачно подумал он.

Тем временем рассвело. В пыльные окна заглянуло солнце. Захлопали ставни. На улице перекликались запанные голоса. «Как спали, брат Кирил?» — «Благодарение господу, спокойно, брат Тика. Ночь прошла, и слава богу». — «А у нас кто-то в окна ломился. Благородный дон Румата, говорят, ночью гуляли». — «Сказывают, гость у них». — «Да нынче разве гуляют? При молодом короле, помню, гуляли — не заметили, как полгорода сожгли». — «Что я вам скажу, брат Тика. Благодарение богу, что у нас в соседях такой дон. Раз в год загуляет, и то много...»

Румата поднялся наверх, постучавшись, вошел в кабинет. Кира сидела в кресле, как и вчера. Она подняла глаза и со страхом и тревогой взглянула ему в лицо.

— Доброе утро, маленькая, — сказал он, подошел, поцеловал ее руки и сел в кресло напротив.

Она все испытующе смотрела на него, потом спросила:

— Устал?

— Да, немножко. И надо опять идти.

— Приготовить тебе что-нибудь?

— Не надо, спасибо. Уно приготовит. Вот разве воротник подушпи...

Румата чувствовал, как между ними вырастает стена лжи. Сначала тоненькая, затем все толще и прочнее. На всю жизнь! — горько подумал он. Он сидел, прикрыв глаза, пока она осторожно смачивала различными духами его пышный воротник, щеки, лоб, волосы. Потом она сказала:

— Ты даже не спросишь, как мне спалось.

— Как, маленькая?

— Сон. Понимаешь, страшный-страшный сон.

Стена стала толстой, как крепостная.

— На новом месте всегда так, — сказал Румата фальшиво. — Да и барон, наверное, внизу шумел очень.

— Приказать завтрак? — спросила она.

— Прикажи.

— А вино какое ты любишь утром?

Румата открыл глаза.

— Прикажи воды, — сказал он. — По утрам я не пью.

Она вышла, и он услышал, как она спокойным звонким голосом разговаривает с Уно. Потом она вернулась, села на ручку его кресла и начала рассказывать свой сон, а он слушал, заламывая бровь и чувствуя, как с каждой минутой стена становится все толще и непоколебимей и как она навсегда отделяет его от единственного по-настоящему родного человека в этом безобразном мире. И тогда он с размаху ударил в стену всем телом.

— Кира, — сказал он. — Это был не сон.

И ничего особенного не случилось.

— Бедный мой, — сказала Кира. — Погоди, я сейчас рассолу принесу...

ГЛАВА 5

Еще совсем недавно двор Арканарских королей был одним из самых просвещенных в Империи. При дворе содержались ученые, в большинстве, конечно, шарлатаны, но и такие, как Багир Киссенский, открывший сферичность планеты; лейб-знахарь Тата, высказавший гениальную догадку о возникновении эпидемий от мелких, незаметных глазу червей, разносимых ветром и водой; алхимик Синда, искавший, как все алхимики, способ превращать глину в золото, а нашедший закон сохранения вещества. Были при Арканарском дворе и поэты, в большинстве блудолизы и льстецы, но и такие, как Пэпин Славный, автор исторической трагедии «Поход на север»; Цурэн Правдивый, написавший более пятисот баллад и сонетов, положенных в народе на музыку; а также Гур Сочинитель, создавший первый в истории Империи светский роман — печальную историю принца, полюбившего прекрасную варварку. Были при дворе и великолепные артисты, танцоры, певцы. Замечательные художники покрывали стены петускающими фресками, славные скульпторы украшали своими творениями дворцовые парки. Нельзя сказать, чтобы Арканарские короли были ревнителями просвещения или знатоками искусств. Просто это считалось приличным, как церемония утреннего одевания или пышные гвардейцы у главного входа. Аристократическая терпимость доходила порой до того, что некоторые ученые и поэты становились заметными винтиками государственного аппарата. Так всего полстолетия назад высокоученый алхимик Ботса занимал ныне упраздненный за ненадобностью пост министра недр, заложил несколько рудников и прославил Арканар удивительными сплавами, секрет которых был утерян после его смерти. А Пэпин Славный вплоть до недавнего времени руководил государственным просвещением, пока министерство истории и словесности, возглавляемое им, не было признано вредным и растлевющим умы.

Бывало, конечно, и раньше, что художника или ученого, неугодного королевской фаворитке, тупой и сладо-

страстной особе, продавали за границу или травили мышьяком, но только дон Рэба взялся за дело по-настоящему. За годы своего пребывания на посту всесильного министра охраны короны он произвел в мире арканарской культуры такие опустошения, что вызвал неудовольствие даже у некоторых благородных вельмож, заявлявших, что двор стал скучен и во время баллов ничего не слышишь, кроме глупых сплетен.

Багир Киссенский, обвиненный в помешательстве, граничащем с государственным преступлением, был брошен в застенок и лишь с большим трудом вызван Руматой и переведен в метрополию. Обсерватория его сгорела, а уцелевшие ученики разбежались кто куда. Лейб-знахарь Тата вместе с пятью другими лейб-знахарями оказался вдруг отравителем, злоумышлявшим по наущению герцога Ируканского против особы короля, под пыткой признался во всем и был повешен на Королевской площади. Пытаясь спасти его, Румата роздал тридцать килограммов золота, потерял четырех агентов (благородных донов, не ведавших, что творят), едва не попался сам, раненный во время попытки отбить осужденных, но сделать ничего не смог. Это было его первое поражение, после которого он понял, наконец, что дон Рэба фигура не случайная. Узнав через неделю, что алхимика Синду намереваются обвинить в сокрытии от казны тайны философского камня, Румата, разъяненный поражением, устроил у дома алхимика засаду, сам, обернув лицо черной тряпкой, обезоружил штурмовиков, явившихся за алхимиком, побросал их, связанных, в подвал и в ту же ночь выпроводил так ничего и не понявшего Синду в пределы Соана, где тот, пожав плечами, и остался продолжать поиски философского камня под наблюдением дона Кондора. Поэт Пэпин Славный вдруг постригся в монахи и удалился в единственную монастырь. Цурэн Правдивый, изобличенный в преступной двусмысленности и потакании вкусам низших сословий, был лишен чести и имущества, пытался спорить, читал в кабаках теперь уже откровенно разрушительные баллады, дважды был смертельнобит патриотическими личностями и только тогда поддался уговорам своего большого друга и ценителя дона Руматы и

уехал в метрополию. Румата навсегда запомнил его, иссиня-бледного от пьянства, как он стоит, вцепившись тонкими руками в ванты, на палубе уходящего корабля и звонким, молодым голосом выкрикивает свой прощальный сонет «Как лист увядший надает на душу». Что же касается Гура Сочинителя, то после беседы в кабинете дона Рэбы он понял, что Арканарский принц не мог полюбить вражеское отродье, сам бросал на Королевской площади свои книги в огонь и теперь, сгорленный, с мертвым лицом, стоял во время королевских выходов в толпе придворных и по чуть заметному жесту дона Рэбы выступал вперед со стихами ультрапатриотического содержания, вызывающими тоску и зевоту. Артисты ставили теперь одну и ту же пьесу — «Гибель варваров, или маршал Тоц, король Пиц Первый Арканарский». А певцы предпочитали в основном концерты для голоса с оркестром. Оставшиеся в живых художники малевали вывески. Впрочем, двое или трое ухитрились остаться при дворе и рисовали портреты короля с доном Рэбой, почтительно поддерживающим его под локоть (разнообразие не поощрялось: король изображался двадцатилетним красавцем в латах, а дон Рэба — зрелым мужчиной со значительным лицом).

Да, Арканарский двор стал скучен. Тем не менее вельможи, благородные доны без занятий, гвардейские офицеры и легкомысленные красавицы доны — одни из тицеславия, другие по привычке, третьи из страха — по-прежнему каждое утро наполняли дворцовые приемные. Говоря по чести, многие вообще не заметили никаких перемен. В концертах и состязаниях поэтов прошлых времен они более всего ценили антракты, во время которых благородные доны обсуждали достоинства легавых, рассказывали анекдоты. Они еще были способны на не слишком продолжительный диспут о свойствах существ потустороннего мира, но уж вопросы о форме планеты и о причинах эпидемий полагали попросту неприличными. Некоторое уныние вызвало у гвардейских офицеров исчезновение художников, среди которых были мастера изображать обнаженную природу...

Румата явился во дворец, слегка запоздав. Утренний прием уже начался. В залах толпился народ, слышался раздраженный голос короля и раздавались мелодичные команды министра церемоний, распоряжающегося одеванием его величества. Придворные в основном обсуждали ночное происшествие. Некий преступник с лицом ируканца проник ночью во дворец, вооруженный стилетом, убил часового и ворвался в опочивальню его величества, где якобы и был обезоружен лично доном Рэбой, схвачен и по дороге в Веселую Башню разорван в клочья обезумевшей от преданности толпой патриотов. Это было уже шестое покушение за последний месяц, и потому сам факт покушения интереса почти не вызвал. Обсуждались только детали. Румата узнал, что при виде убийцы его величество принял на ложе, заслонив собою прекрасную дону Мидару, и произнес исторические слова: «Пшел вон, мерзавец!» Большинство охотно верило в исторические слова, полагая, что король принял убийцу за лакея. И все сходились во мнении, что дон Рэба, как всегда, начеку и несравненно в рукопашной схватке. Румата в приятных выражениях согласился с этим мнением и в ответ рассказал только что выдуманную историю о том, как на дона Рэбу напали двенадцать разбойников, троих он уложил на месте, а остальных обратил в бегство. История была выслушана с большим интересом и одобрением, после чего Румата как бы случайно заметил, что историю эту рассказал ему дон Сэра. Выражение интереса немедленно исчезло с лиц присутствующих, ибо каждому было известно, что дон Сэра — знаменитый дурак и враль. О доне Окане никто не говорил ни слова. Об этом либо еще не знали, либо делали вид, что не знают.

Рассыпая любезности и пожимая ручки дамам, Румата мало-момалу продвигался в первые ряды разряженной, надущенной, обильно потеющей толпы. Благородное дворянство вполголоса беседовало. «Вот-вот, та самая кобыла. Она засеклась, но будь я проклят, если не проиграл ее тем же вечером дону Кэу...», «Что же касается бедер, благородный дон, то они необыкновенной формы. Как это сказано у Цурэна... М-м-м... Го-

ры пены прохладной... м-м-м... нет, холмы прохладной пены... В общем мощные бедра», «Тогда я тихонько открываю окно, беру кинжал в зубы и, представьте себе, мой друг, чувствую, что решетка подо мной прогибается...», «Я съездил ему по зубам эфесом меча, так что эта серая собака дважды перевернулась через голову. Вы можете полюбоваться на него, вон он стоит с таким видом, будто имеет на это право...», «...А дон Тамэо наблюдал на пол, поскользнулся и упал головой в камин...», «Вот монах ей и говорит: «Расскажи-ка мне, красавица, твой сон... га-га-га!..»

Ужасно обидно, думал Румата. Если меня сейчас убьют, эта колония простейших будет последним, что я вижу в своей жизни. Только внезапность. Меня спасет внезапность. Меня и Будаха. Улучить момент и внезапно напасть. Захватить врасплох, не дать ему раскрыть рта, не дать убить меня, мне совершенно незачем умирать.

Он пробрался к дверям опочивальни и, придерживая обеими руками мечи, слегка согнув по этикету ноги в коленях, приблизился к королевской постели. Королю натягивали чулки. Министр церемоний затаив дыхание внимательно следил за ловкими руками двух камердинеров. Справа от развороченного ложа стоял дон Рэба, неслышно беседуя с длинным костлявым человеком в военной форме серого бархата. Это был отец Цупик, один из вождей арканарских штурмовиков, полковник дворцовой охраны. Дон Рэба был опытным придворным. Судя по его лицу, речь шла не более чем о статьях кобылы или о добродетельном поведении королевской племянницы. Отец же Цупик, как человек военный и бывший бакалейщик, лицом владеть не умел. Он мрачнел, кусал губы, пальцы его на рукояти меча сжимались и разжимались; и в конце концов он вдруг дернул щекой, резко повернулся и, нарушая все правила, пошел вон из опочивальни прямо на толпу оцепневших от такой невоспитанности придворных. Дон Рэба, извинительно улыбаясь, поглядел ему вслед, а Румата, проводив глазами нескладную серую фигуру, подумал: «Вот и еще один покойник». Ему было известно о трениях между доном Рэбой и серым руководст-

вом. История коричневого капитана Эриста Рема готова была повториться.

Чулки были натянуты. Камердинеры, повинуясь мелодичному приказу министра церемоний, благовестно, кончиками пальцев, взялись за королевские туфли. Тут король, отпихнув камердинеров ногами, так резко повернулся к дону Рэбе, что живот его, похожий на тело набитый мешок, перекатился на одно колено.

— Мне надоели ваши покушения! — истерически завизжал он. — Покушения! Покушения! Покушения!.. Ночью я хочу спать, а не сражаться с убийцами! Почему нельзя сделать, чтобы они покушались днем? Вы дрянной министр, Рэба! Еще одна такая ночь, и я прикажу вас удавить! (Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу.) После покушений у меня болит голова!

Он внезапно замолчал и тупо уставился на свой живот. Момент был подходящий. Камердинеры замешкались. Прежде всего следовало обратить на себя внимание. Румата вырвал у камердинера правую туфлю, опустился перед королем на колено и стал почтительно насаживать туфлю на жирную, обтянутую шелком ногу. Такова была древнейшая привилегия рода Руматы — собственноручно обувать правую ногу коронованных особ Империи. Король мутно смотрел на него. В глазах его вспыхнул огонек интереса.

— А, Румата! — сказал он. — Вы еще живы? А Рэба обещал мне удавить вас! — Он захихикал. — Он дрянной министр, этот Рэба. Он только и делает, что обещает. Обещал искоренить крамолу, а крамола растет. Каких-то серых мужланов понапихал во дворец... Я болен, а он всех лейб-захарей поперевешал.

Румата кончил надевать туфлю и, поклонившись, отступил на два шага. Он поймал на себе внимательный взгляд дона Рэбы и поспешил придать лицу высокомерно-тупое выражение.

— Я совсем больной, — продолжал король, — у меня же все болит. Я хочу на покой. Я бы уже давно ушел на покой, так вы же все пропадете без меня, бараны...

Ему надели вторую туфлю. Он встал и сейчас же охнул, скривившись, и схватился за колено.

— Где Знахари? — завопил он горестно. — Где мой добрый Тата? Вы повесили его, дурак! А мне от одного его голоса становилось легче! Молчите, я сам знаю, что он отравитель! И плевать я на это хотел! Что тут такого, что он отравитель? Он был Зна-а-а-ахар! Понимаете, убийца? Знахарь! Одного отравит, другого вылечит! А вы только травите! Лучше бы вы сами повесились! (Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу, и остался в таком положении.) Ведь всех же повесили! Остались одни ваши шарлатаны! И попы, которые поят меня святой водой вместо лекарства... Кто составит микстуру? Кто разотрет мне ногу мазью?

— Государь! — во весь голос сказал Румата, и ему показалось, что во дворце все замерло. — Вам стоит приказать, и лучший лекарь Империи будет во дворце через полчаса!

Король оторопело уставился на него. Риск был страшный. Дону Рэбе стоило только мигнуть... Румата физически ощущил, сколько пристальных глаз смотрят сейчас на него поверх оперения стрел, — он-то знал, зачем идут под потолком спальни ряды круглых черных отдушин. Дон Рэба тоже смотрел на него с выражением вежливого и благожелательного любопытства.

— Что это значит? — брюзгливо осведомился король. — Ну, приказываю, ну, где ваш лекарь?

Румата весь напрягся. Ему казалось, что наконечники стрел уже колют его лопатки.

— Государь, — быстро сказал он, — прикажите дону Рэбе представить вам знаменитого доктора Будаха!

Видимо, дон Рэба все-таки растерялся. Главное было сказано, а Румата был жив. Король перекатил мутные глаза на министра охраны короны.

— Государь, — продолжал Румата, теперь уже не торопясь и надлежащим слогом. — Зная о ваших поистине невыносимых страданиях и памятуя о долге моего рода перед государями, я выписал из Ирукана знаменитого высокоученого лекаря доктора Будаха. К сожалению, однако, путь доктора Будаха был прерван. Серые солдаты уважаемого дона Рэбы захватили его на прошлой неделе, и дальнейшая его судьба известна од-

ному только дону Рэбе. Я полагаю, что лекарь где-то поблизости, скорее всего в Веселой Башне, и я надеюсь, что странная неприязнь дона Рэбы к лекарям еще не отразилась роковым образом на судьбе доктора Будаха.

Румата замолчал, сдерживая дыхание. Кажется, все обошлось превосходно. Держись, дон Рэба! Он взлянул на министра — и похолодел. Министр охраны короны несколько не растерялся. Он кивал Румате с ласковой отеческой укоризной. Этого Румата никак не ожидал. Да он в восторге, ошеломленно подумал Румата. Зато король вел себя, как ожидалось.

— Мошенник! — заорал он. — Удавлю! Где доктор? Где доктор, я вас спрашиваю! Молчать! Я вас спрашиваю, где доктор?

Дон Рэба выступил вперед, приятно улыбаясь.

— Ваше величество, — сказал он, — вы поистине счастливый государь, ибо у вас так много верных подданных, что они порой мешают друг другу в стремлении услужить вам. (Король тупо смотрел на него.) Не скрою, как и все, происходящее в вашей стране, был мне известен и благородный замысел пылкого дона Руматы. Не скрою, что я высказал навстречу доктору Будаху наших серых солдат — исключительно для того, чтобы уберечь почтенного пожилого человека от случайностей дальней дороги. Не буду я скрывать и того, что не торопился представить Будаха Ируканского вашему величеству...

— Как же это вы осмелились? — укоризненно спросил король.

— Ваше величество, дон Румата молод и столь же неискушен в политике, сколь многоопытен в благородной схватке. Ему и невдомек, на какую низость способен герцог Ируканский в своей бешено злобе против вашего величества. Но мы-то с вами это знаем, государь, не правда ли? (Король покивал.) И поэтому я счел необходимым произвести предварительно небольшое расследование. Я бы не стал торопиться, но если вы, ваше величество (низкий поклон королю), и дон Румата (кивок в сторону Руматы) так настаиваете, то сегодня же после обеда доктор Будах, ваше величество, предстанет перед вами, чтобы начать курс лечения.

— А вы не дурак, дон Рэба, — сказал король, подумав. — Расследование — это хорошо. Это никогда не мешает. Проклятый ируканец... — Он взывал и снова схватился за колено. — Проклятая нога! Так, значит, после обеда? Будем ждать, будем ждать.

И король, опираясь на плечо министра церемоний, медленно прошел в тронный зал мимо ошеломленного Румата. Когда он погрузился в толпу расступающихся придворных, дон Рэба приветливо улыбнулся Румате и спросил:

— Сегодня ночью вы, кажется, дежурите при опочивальне принца? Я не ошибаюсь?

Румата молча поклонился.

Румата бесцельно брел по бесконечным коридорам и переходам дворца, темным, сырым, провонявшим аммиаком и гнилью, мимо роскошных, убранных коврами комнат, мимо запыленных кабинетов с узкими зарешеченными окнами, мимо кладовых, заваленных рухлядью с ободранной позолотой. Людей здесь почти не было. Редкий придворный рисковал посещать этот лабиринт в тыльной части дворца, где королевские апартаменты незаметно переходили в канцелярии министерства охраны короны. Здесь было легко заблудиться. Все помнили случай, когда гвардейский патруль, обходивший дворец по периметру, был напуган истощенными воплями человека, тянувшего к нему сквозь решетку амбразуры исцарапанные руки. «Спасите меня! — кричал человек. — Я камер-юнкер! Я не знаю, как выбраться! Я два дня ничего не ел! Возьмите меня отсюда!» (Десять дней между министром финансов и министром двора шла оживленная переписка, после чего решено было все-таки выломать решетку, и на протяжении этих десяти дней несчастного камер-юнкера кормили, подавая ему мясо и хлеб на кончике пинки.) Кроме того, здесь было небезопасно. В тесных коридорах сталкивались подвыпившие гвардейцы, охранявшие особу короля, и подвыпившие штурмовики, охранявшие министерство. Резались отчаянно, а удовлетворившись, расходились, унося раненых. Наконец здесь бродили и

убийственные. За два века их накопилось во дворце порядочно.

Из глубокой ниши в стене выступил штурмовик-часовой с топором наготове.

— Не велено, — мрачно объявили он.

— Что ты понимаешь, дурак! — небрежно сказал Румата, отводя его рукой.

Он слышал, как штурмовик нерешительно топчеться сзади, и вдруг поймал себя на мысли о том, что оскорбительные словечки и небрежные жесты получаются у него рефлекторно, что он уже не играет высокородного хама, а в значительной степени стал им. Он представил себя таким на Земле, и ему стало мерзко и стыдно. Почему? Что со мной произошло? Куда исчезло воспитанное и взлелеянное с детства уважение и доверие к себе подобным, к человеку, к замечательному существу, называемому «человек»? А ведь мне уже ничто не поможет, подумал он с ужасом. Ведь я же их по-настоящему ненавижу и презираю... Не жалею, нет — ненавижу и презираю. Я могу сколько угодно оправдывать тупость и зверство этого парня, мимо которого я сейчас проскочил, социальные условия, жуткое воспитание, все, что угодно, но я теперь отчетливо вижу, что это мой враг, враг всего, что я люблю, враг моих друзей, враг того, что я считаю самым святым. И ненавижу я его не теоретически, не как «типичного представителя», а его самого, его как личность. Ненавижу его слюнявую морду, вонь его немытого тела, его слепую веру, его злобу ко всему, что выходит за пределы половых отправлений и выпивки. Вот он топчется, этот недоросль, которого еще полгода назад толстопузый папаша порол, тщась приспособить к торговле лежалой мукою и засахарившимся вареньем, сопит, стоеросовая дубина, мучительно пытаясь вспомнить параграфы скверно вызубренного устава, и никак не может сообразить, нужно ли рубить благородного дона топором, орать ли «караул!» или просто махнуть рукой — все равно никто не узнает. И он махнет на все рукой, вернется в свою нишу, сунет в пасть ком жевательной коры и будет чавкать, пуская слюни и причмокивая. И ничего на свете он не хочет знать, и ни о чем

на свете он не хочет думать. Думать! А чем лучше орел наш дон Рэба? Да, конечно, его психология запутанней и рефлексы сложней, но мысли его подобны вот этим пропахшим аммиаком и преступлениями лабиринтам дворца, и он совершенно уже невыразимо гнусен — страшный преступник и бессовестный паук. Я пришел сюда любить людей, помочь им разогнуться, увидеть небо. Нет, я плохой разведчик, подумал он с раскаянием. Я никуда не годный историк. И когда это я успел провалиться в трясину, о которой говорил дон Кондор? Разве бог имеет право на какое-нибудь чувство, кроме жалости?

Позади раздалось торопливое бух-бух-бух сапогами по коридору. Румата повернулся и опустил руки крест-накрест на рукоятки мечей. К нему бежал дон Рипат, придерживая на боку клинок.

— Дон Румата!.. Дон Румата!.. — закричал он еще издали хриплым шепотом.

Румата оставил мечи. Подбежав к нему, дон Рипат огляделся и проговорил едва слышно на ухо:

— Я вас ишу уже целый час. Во дворце Вага Колесо! Разговаривает с доном Рэбой в лиловых покоях.

Румата даже зажмурился на секунду. Затем, осторожно отстранившись, сказал с вежливым удивлением:

— Вы имеете в виду знаменитого разбойника? Но ведь он не то казнен, не то вообще выдуман.

Лейтенант облизнул сухие губы.

— Он существует. Он во дворце... Я думал, вам будет интересно.

— Милейший дон Рипат, — внушительно сказал Румата, — меня интересуют слухи. Сплетни. Анекдоты... Жизнь так скучна... Вы меня, очевидно, неправильно понимаете... (Лейтенант смотрел на него безумными глазами.) Посудите сами — какое мне дело до пестостопных связей дона Рэбы, которого, впрочем, я слишком уважаю, чтобы как-то судить?.. И потом, простите, я спешу... Меня ждет дама.

Дон Рипат снова облизнул губы, неловко поклонился и боком пошел прочь. Румату вдруг осенила счастливая мысль.

— Кстати, мой друг, — приветливо окликнул он. — Как вам понравилась небольшая интрига, которую мы провели сегодня утром с доном Рэбой?

Дон Рипат с готовностью остановился.

— Мы очень удовлетворены, — сказал он.

— Не правда ли, это было очень мило?

— Это было великолепно! Серое офицерство очень радо, что вы, наконец, открыто приняли нашу сторону. Такой умный человек, как вы, дон Румата, и якшается с баронами, с благородными выродками...

— Мой дорогой Рипат! — высокомерно сказал Румата, поворачиваясь, чтобы идти. — Вы забываете, что с высоты моего происхождения не видно никакой разницы даже между королем и вами. До свиданья.

Он широко зашагал по коридорам, уверенно сворачивая в поперечные проходы и молча отстраняя часовых. Он плохо представлял себе, что собирается сделать, но он понимал, что это удивительная, редкостная удача. Он должен слышать разговор между двумя науками. Недаром дон Рэба обещал за живого Вагу в четырнадцать раз больше, чем за Вагу мертвого...

Из-за лиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками наголо.

— Здравствуйте, друзья, — сказал дон Румата, останавливаясь между ними. — Министр у себя?

— Министр занят, дон Румата, — сказал один из лейтенантов.

— Я подожду, — сказал Румата и прошел под портьеры.

Здесь было непроглядно темно. Румата ощупью пробирался среди кресел, столов и чугунных подставок для светильников. Несколько раз он явственно слышал чье-то сопение над ухом, и его обдавало густым чесночно-пивным духом. Потом он увидел слабую полоску света, расслышал знакомый гнусавый тенорок почтенного Ваги и остановился. В ту же секунду острие копья осторожно уперлось ему между лопатками. «Тише, болван, — сказал он раздраженно, но негромко. — Это я, дон Румата». Копье отодвинулось. Румата подтащил кресло к полоске света, сел, вытянув ноги, и зевнул так, чтобы было слышно. Затем он стал смотреть.

Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние тридцать лет безвыездно в своем загородном дворце.

— Выстребаны обстрихнутся, — говорил он, — и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марко было бы тукнуть по пестрякам. Да хохари облыго ружают. На том и покалим сростень. Это наш примар...

Дон Рэба пощупал бритый подбородок.

— Студно туково, — задумчиво сказал он.

Вага пожал плечами.

— Таков наш примар. С нами габузиться для вящего оглода не сростно. По габарям?

— По габарям, — решительно сказал министр охраны короны.

— И пей круг, — произнес Вага, поднимаясь.

Румата, оторопело слушавший эту галиматию, обнаружил на лице Ваги пушистые усы и острую седую бородку. Настоящий придворный временем прошлого рентгента.

— Приятно было побеседовать, — сказал Вага.

Дон Рэба тоже встал.

— Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие, — сказал он. — Я впервые вижу такого смелого человека, как вы, почтенный...

— Я тоже, — скучным голосом сказал Вага. — Я тоже поражаюсь и горжусь смелостью первого министра нашего королевства.

Он повернулся к дону Рэбе спиной и побрел к выходу, опираясь на жезл. Дон Рэба, не спуская с него задумчивого взгляда, рассеянно положил пальцы на рукоять ножа. Сейчас же за спиной Руматы кто-то страшно задышал, и длинный коричневый ствол духовой трубы просунулся мимо его уха к щели между портьерами. Секунду дон Рэба стоял, словно прислушиваясь,

затем сел, выдвинул ящик стола, извлек кипу бумаг и погрузился в чтение. За спиной Руматы сплюнули, трубка убралась. Все было ясно. Пауки договорились. Румата встал и, наступая на чьи-то ноги, начал пробираться обратно к выходу из лиловых покоев.

Король обедал в огромной двусветной зале. Тридцатиметровый стол накрывался на сто персон: сам король, дон Рэба, особы королевской крови (два десятка полнокровных личностей, обжор и выпивохи), министры двора и церемоний, группа родовитых аристократов, приглашаемых традиционно (в том числе и Румата), дюжина заезжих баронов с дубоподобными баронетами, и на самом дальнем конце стола — всякая аристократическая мелочь, правдами и неправдами добившаяся приглашения за королевский стол. Этих последних, вручая им приглашение и номерок на кресло, предупреждали: «Сидите неподвижно, король не любит, когда вертятся. Руки держите на столе, не любит, когда руки прячут под стол. Не оглядывайтесь, король не любит, когда оглядываются». За каждым таким обедом пожиралось огромное количество тонкой пищи, выпивались озера старинных вин, разбивалась и портилась масса посуды знаменитого эсторского фарфора. Министр финансов в одном из своих докладов королю похвастался, что один-единственный обед его величества стоит столько же, сколько полугодовое содержание Соанской Академии наук.

В ожидании, когда министр церемоний под звуки труб трижды провозгласит «к столу!», Румата стоял в группе придворных и в десятый раз слушал рассказ дона Тамэо о королевском обеде, на котором он, дон Тамэо, имел честь присутствовать полгода назад.

— ...Я нахожу свое кресло, мы стоим, входит король, садится, садимся и мы. Обед идет своим чередом. И вдруг, представьте себе, дорогие доны, я чувствую, что подо мной мокро... Мокро! Ни повернуться, ни поерзать, ни пощупать рукой я не решаюсь. Однако, улучив момент, я запускаю руку под себя — и

что же? Действительно мокро! Нюхаю пальцы — нет, ничем особым не пахнет. Что за притча! Между тем обед кончается, все встают, а мне, представьте себе, благородные доны, встать как-то страшно... Я вижу, что ко мне идет король — король! — но продолжаю сидеть на месте, словно барон-деревенщина, не знающий этикета. Его величество подходит ко мне, милостиво улыбается и кладет руку мне на плечо. «Мой дорогой дон Тамэо, — говорит он, — мы уже встали и идем смотреть балет, а вы все еще сидите. Что с вами, уж не объелись ли вы?» — «Ваше величество, — говорю я, — отрубите мне голову, но подо мной мокро». Его величество изволил рассмеяться и приказал мне встать. Я встал — и что же? Кругом хохот! Благородные доны, я весь обед просидел на ромовом торте! Его величество изволил очень смеяться. «Рэба, Рэба, — сказал, наконец, он, — это все ваши шутки! Извольте почистить благородного дона, вы испачкали ему седалище!» Дон Рэба, заливаясь смехом, вынимает кинжал и принимается счищать торт с моих штанов. Вы представляете мое состояние, благородные доны? Не скрою, я трясясь от страха при мысли о том, что дон Рэба, униженный при всех, отомстит мне. К счастью, все обошлось. Уверяю вас, благородные доны, это самое счастливое впечатление моей жизни! Как смеялся король! Как был доволен его величество!

Придворные хохотали. Впрочем, такие шутки были в обычай за королевским столом. Приглашенных сажали в паштеты, в кресла с подпиленными ножками, на гусиные яйца. Саживали и на отравленные иглы. Король любил, чтобы его забавляли. Румата вдруг подумал: любопытно, как бы я поступил на месте этого идиота? Боюсь, что королю пришлось бы искать себе другого министра охраны, а Институту пришлось бы прислать в Арканар другого человека. В общем надо быть начеку. Как наш орел дон Рэба...

Загремели трубы, мелодично взревел министр церемоний, вошел, прихрамывая, король, и все стали рассаживаться. По углам залы, опершись на двуручные мечи, неподвижно стояли дежурные гвардейцы. Румате

достались молчаливые соседи. Справа заполняла кресло трясущаяся туша угрюмого обжора дона Пифы, супруга известной красавицы, слева бессмысленно смотрел в пустую тарелку Гур Сочинитель. Гости замерли, глядя на короля. Король затолкал за ворот сероватую салфетку, окинул взглядом блюда и схватил куриную ножку. Едва он впился в нее зубами, как сотня ножей с лязгом опустилась на тарелки и сотня рук протянулась над блюдами. Зал наполнился чавканьем и сосущими звуками, забулькало вино. У неподвижных гвардейцев с двуручными мечами алчно зашевелились усы. Когда-то Румату тошило на этих обедах. Сейчас он привык.

Разделывая кинжалом баранью лопатку, он покосился направо и сейчас же отвернулся: дон Пифа висел над целиком зажаренным кабаном и работал, как землеройный автомат. Костей после него не оставалось. Румата задержал дыхание и залпом осушил стакан ируканского. Затем он покосился налево. Гур Сочинитель вяло ковырял ложкой в блюдечке с салатом.

— Что нового пишете, отец Гур? — спросил Румата вполголоса.

Гур вздрогнул.

— Пишу?.. Я?.. Не знаю... Много.

— Стихи?

— Да... стихи...

— У вас отвратительные стихи, отец Гур. (Гур странно посмотрел на него.) Да-да, вы не поэт.

— Не поэт... Иногда я думаю, кто же я? И чего я боюсь? Не знаю.

— Глядите в тарелку и продолжайте кушать. Я вам скажу, кто вы. Вы гениальный сочинитель, открыватель новой и самой плодотворной дороги в литературе. (На щеках Гура медленно выступил румянец.) Через сто лет, а может быть и раньше, по вашим следам пойдут десятки сочинителей.

— Спаси их господь! — вырвалось у Гура.

— Теперь я скажу вам, чего вы боитесь.

— Я боюсь тьмы.

— Темноты?

— Темноты тоже. В темноте мы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми.

— Отлично сказано, отец Гур. Между прочим, можно еще достать ваше сочинение?

— Не знаю... И не хочу знать.

— На всякий случай знайте: один экземпляр находится в метрополии, в библиотеке императора. Другой хранится в Музее раритетов в Соане. Третий — у меня.

Гур трясущейся рукой положил себе ложку желе.

— Я... не знаю... — Он с тоской посмотрел на Румата огромными запавшими глазами. — Я хотел бы почитать... перечитать...

— Я с удовольствием ссужу вам...

— И потом?..

— Потом вы вернете.

— И потом вам вернут! — резко сказал Гур.

Румата покачал головой.

— Дон Рэба очень напугал вас, отец Гур.

— Напугал... Вам приходилось когда-нибудь жечь собственных детей? Что вы знаете о страхе, благородный дон!..

— Я склоняю голову перед тем, что вам пришлось пережить, отец Гур. Но я от души осуждаю вас за то, что вы сдались.

Гур Сочинитель вдруг принял шептать так тихо, что Румата едва слышал его сквозь чавканье и гул голосов:

— А зачем все это?.. Что такое правда?.. Принц Хаар действительно любил прекрасную меднокожую Яиневнивору... У них были дети... Я знаю их внука... Её действительно отравили... Но мне объяснили, что это ложь... Мне объяснили, что правда — это то, что сейчас во благо королю... Все остальное ложь и преступление. Всю жизнь я писал ложь... И только сейчас я пишу правду...

Он вдруг встал и громко нараспив выкрикнул:

Велик и славен, словно вечность,
Король, чье имя — Благородство!
И отступила бесконечность,
И уступила первородство!

Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал:

— Бесконечность?.. Верно. Правильно, уступила... Хвалю. Можешь кушать.

Чавканье и разговоры возобновились. Гур сел.

— Легко и сладостно говорить правду в лицо королю, — сипло проговорил он.

Румата промолчал.

— Я передам вам экземпляр вашей книги, отец Гур, — сказал он. — Но с одним условием. Вы немедленно начнете писать следующую книгу.

— Нет, — сказал Гур. — Поздно. Пусть Киун пишет. Я отравлен. И вообще все это меня больше не интересует. Сейчас я хочу только одного — научиться пить. И не могу... Болит желудок...

Еще одно поражение, подумал Румата. Опоздал.

— Послушайте, Рэба, — сказал вдруг король. — А где же лекарь? Вы обещали мне лекаря после обеда.

— Он здесь, ваше величество, — сказал дон Рэба. — Велите позвать?

— Велю? Еще бы! Если бы у вас так болело колено, вы бы визжали как свинья!.. Давайте его сюда немедленно!

Румата откинулся на спинку кресла и приготовился смотреть. Дон Рэба поднял руку над головой и щелкнул пальцами. Дверь отворилась, и в залу, не прерывно кланяясь, вошел сгорбленный пожилой человек в долгополой мантии, украшенной изображениями серебряных пауков, звезд и змей. Под мышкой он держал плоскую продолговатую сумку. Румата был озадачен: он представлял себе Будаха совсем не таким. Не могло быть у мудреца и гуманиста, автора всеобщемлющего «Трактата о ядах», таких бегающих выцветших глазок, трясущихся от страха губ, жалкой, заискивающей улыбки. Но он вспомнил Гура Сочинителя. Вероятно, следствие над подозреваемым ируканским шпионом стоило литературной беседы в кабинете дона Рэбы. Взять Рэбу за ухо, подумал он сладостно. Притащить его в застенок. Сказать палачам: «Вот ирукан-

ский шнион, переодевшийся нашим славным министром, король велел выпытать у него, где настоящий министр, делайте свое дело, и горе вам, если он умрет раньше, чем через неделю...» Он даже прикрылся рукой, чтобы никто не видел его лица. Что за страшная штука непависть...

— Ну-ка, ну-ка, пойди сюда, лекарь, — сказал король. — Экий ты, братец, мозглик! А ну-ка приседай, приседай, говорят тебе!

Несчастный Будах начал приседать. Лицо его искалилось от ужаса.

— Еще, еще, — гнусавил король. — Еще разок! Еще! Коленки не болят, вылечил-таки свои коленки. А покажи зубы! Та-ак, ничего зубы. Мне бы такие... И руки ничего, крепкие. Здоровый, здоровый, хотя и мозглик... Ну давай, голубчик, лечи, чего стоишь...

— Ва-ваше величество... со-согласил показать ножку... Ножку... — услыхал Румата. Он поднял глаза.

Лекарь стоял на коленях перед королем и осторожно мял его ногу.

— Э... Э! — сказал король. — Ты что это? Ты не хватай! Взялся лечить, так лечи!

— Мне все по-понятно, ваше величество, — проговорил лекарь и принял торопливо копаться в своей сумке.

Гости перестали жевать. Аристократики на дальнем конце стола даже привстали и вытянули шеи, сгорая от любопытства.

Будах достал из сумки несколько каменных флаconов, откупорил их и, поочередно нюхая, расставил в ряд на столе. Затем он взял кубок короля и налил до половины вином. Произведя над кубком пассы обеими руками и проинспектировав заклинания, он быстро опорожнил вино все флаconы. По залу распространился яственный запах нашатырного спирта. Король поджал губы, заглянул в кубок и, скривив нос, посмотрел на дона Рэбу. Министр сочувственно улыбнулся. Придворные затаили дыхание.

Что он делает, удивленно подумал Румата, ведь у старика подагра! Что он там намешал? В трактате ясно сказано: растирать опухшие сочленения настоем

на трехдневном яде белой змеи Ку. Может быть, это для растирания?

— Это что, растирать? — спросил король, опасливо кивая на кубок.

— Отнюдь нет, ваше величество, — сказал Будах. Он уже немножко оправился. — Это внутрь.

— Вну-утрь? — Король надулся и откинулся в кресле. — Я не желаю внутрь. Растирай.

— Как угодно, ваше величество, — покорно сказал Будах. — Но осмелюсь предупредить, что от растирания пользы не будет никакой.

— Почему-то все растирают, — брюзгливо сказал король, — а тебе обязательно надо влиять в меня эту гадость.

— Ваше величество, — сказал Будах, гордо выпрямившись, — это лекарство известно одному мне! Я вылечил им дядю герцога Ируканского. Что же касается растирателей, то ведь они не вылечили вас, ваше величество...

Король посмотрел на дона Рэбу. Дон Рэба сочувственно улыбнулся.

— Мерзавец ты, — сказал король лекарю неприятным голосом. — Мужичонка. Мозглик паршивый. — Он взял кубок... — Вот как тресну тебя кубком по зубам... — Он заглянул в кубок. — А если меня вытолкнут?

— Придется повторить, ваше величество, — скорбно произнес Будах.

— Ну ладно, с нами бог! — сказал король и поднес было кубок ко рту, но вдруг так резко отстранил его, что плеснулся на скатерть. — А ну, выпей сначала сам! Знаю я вас, ируканцев, вы святого Мику варварам продали! Пей, говорят!

Будах с оскорблением видом взял кубок и отпил несколько глотков.

— Ну как? — спросил король.

— Горько, ваше величество, — сдавленным голосом произнес Будах. — Но пить надо.

— На-адо, на-адо... — забрюзжал король. — Сам знаю, что надо. Дай сюда. Ну вот, полкубка вылакал, дорвался...

Он залпом опрокинул кубок. Вдоль стола понеслись сочувственные вздохи — и вдруг все затихло. Король застыл с разинутым ртом. Из глаз его градом посыпались слезы. Он медленно побагровел, затем посинел. Он протянул над столом руку, судорожно щелкая пальцами. Дон Рэба поспешил сунул ему соленый огурец. Король молча швырнулся огурцом в дона Рэбу и опять протянул руку.

— Вина... — просипел он.

Кто-то кинулся, подал кувшин. Король, бешено вращая глазами, гулко глотал. Красные струи текли по его белому камзолу. Когда кувшин опустел, король бросил его в Будаха, но промахнулся.

— Стервец! — сказал он неожиданным басом. — Ты за что меня убил? Мало вас вешали! Чтоб ты лопнул!

Он замолчал и потрогал колено.

— Болит! — прогнусавил он прежним голосом. — Все равно болит!

— Ваше величество, — сказал Будах. — Для полного излечения надо пить микстуру ежедневно в течение по крайней мере недели...

В горле у короля что-то пискнуло.

— Вон! — взвизгнул он. — Все вон отсюда!

Придворные, опрокидывая кресла, гурьбой бросились к дверям.

— Во-о-он!.. — истошно вопил король, сметая со стола посуду.

Выскочив из зала, Румата нырнул за какую-то портьеру и стал хохотать. За соседней портьерой тоже хохотали — надрывно, задыхаясь, с повизгиванием.

ГЛАВА 6

На дежурство у опочивальни принца заступали в полночь, и Румата решил зайти домой, чтобы посмотреть, все ли в порядке, и переодеться. Вечерний город поразил его. Улицы были погружены в гробовую тишину, кабаки закрыты. На перекрестках стояли, повязывая железом, группы штурмовиков с факелами в руках. Они молчали и словно ждали чего-то. Несколь-

ко раз к Румате подходили, вглядывались и, узнав, так же молча давали дорогу. Когда до дому оставалось шагов пятьдесят, за ним увязалась кучка подозрительных личностей. Румата остановился, погремел ножнами о пожны, и личности отстали, но сейчас же в темноте заскрипел заряжаемый арбалет. Румата поспешил пошел дальше, прижимаясь к стенам, нашарил дверь, повернул ключ в замке, все время чувствуя свою незащищенную спину, и с облегченным вздохом вскочил в прихожую.

В прихожей собирались все слуги, вооруженные кто чем. Оказалось, что дверь уже несколько раз пробовали. Румата это не понравилось. «Может, неходить? — подумал он. — Черт с ним, с принцем».

— Где барон Пампа? — спросил он.

Уно, до крайности возбужденный, с арбалетом на плече, ответил, что «барон проснувшись еще в полдень, выпили в доме весь рассол и опять ушли веселиться». Затем, понизив голос, он сообщил, что Кира сильно беспокоится и уже не раз спрашивала о хозяине.

— Ладно, — сказал Румата и приказал слугам построиться.

Слуг было шестеро, не считая кухарки, — народ все третий, привычный к уличным потасовкам. С серыми они, конечно, связываться не станут, испугаются гнева всесильного министра, но против оборванцев ночной армии устоять смогут, тем более что разбойнички в эту ночь будут искать добычу легкую. Два арбалета, четыре секиры, тяжелые мясницкие ножи, железные шапки, двери добротные, окованы по обычаю железом... Или, может быть, все-таки неходить?

Румата поднялся наверх и прошел на цыпочках в комнату Кирьи. Кира спала одетая, свернувшись калачиком на нераскрытой постели. Румата постоял над нею со светильником. Идти или не идти? Ужасно не хочется идти. Он накрыл ее пледом, поцеловал в щеку и вернулся в кабинет. Надо идти. Что бы там ни происходило, разведчику надлежит быть в центре событий. И историкам польза. Он усмехнулся, снял с головы обруч, тщательно протер мягкой землей объек-

тив и вновь надел обруч. Потом позвал Уно и велел принести военный костюм и начищенную медную каску. Под камзол, прямо на майку, натянул, ежась от холода, металлическую рубашку, выполненную в виде кольчуги (здесь кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала, но арбалетная стрела пробивала их насквозь). Затягивая форменный пояс с металлическими бляхами, сказал Уно:

— Слушай меня, малыши. Тебе я доверяю больше всех. Что бы здесь ни случилось, Кира должна оставаться живой и невредимой. Пусть сгорит дом, пусть все деньги разграбят, но Киру ты мне сохрани. Уведи по крышам, по подвалам, как хочешь, но сохрани. Понял?

— Понял, — сказал Уно. — Не уходить бы вам сегодня...

— Ты слушай. Если я через три дня не вернусь, бери Киру и вези ее в сайву, в Икающий лес. Знаешь, где это? Так вот, в Икающем лесу найдешь Пьяную Берлогу, изба такая, стоит недалеко от дороги. Спросишь — покажут. Только смотри, у кого спрашивать. Там будет человек, зовут его отец Кабани. Расскажешь ему все. Понял?

— Понял. А только лучше вам не уходить...

— Рад бы. Не могу: служба... Ну, смотри.

Он легонько щелкнул мальчишку в нос и улыбнулся в ответ на его неумелую улыбку. Внизу он произнес короткую ободряющую речь перед слугами, вышел за дверь и снова очутился в темноте. За его спиной загремели засовы.

Покои принца во все времена охранялись плохо. Возможно, именно поэтому на Арканарских принцев никто никогда не покушался. И уж в особенности не интересовались нынешним принцем. Никому на свете не нужен был этот чахлый голубоглазый мальчик, похожий на кого угодно, только не на своего отца. Мальчишка нравился Румате. Воспитание его было поставлено из рук вон плохо, и потому он был сообразителен, не жесток, терпеть не мог — надо думать, инстинктивно — дона Рэбу, любил громко распевать разнообразные песенки на слова Цурэна и играть в кораблики. Румата выписывал для него из метрополии книжки

с картинками, рассказывал про звездное небо и однажды навсегда покорил мальчика сказкой о летающих кораблях. Для Руматы, редко ставившейся с детьми, десятилетний принц был антиподом всех сословий этой дикой страны. Именно из таких обыкновенных голубоглазых мальчишек, одинаковых во всех сословиях, вырастали потом и зверство, и невежество, и покорность, а ведь в них, в детях, не было никаких следов и задатков этой гадости. Иногда он думал, как здорово было бы, если бы с планеты исчезли все люди старше десяти лет.

Принц уже спал. Румата принял дежурство —остоял рядом со сменяющимся гвардейцем возле спящего мальчика, совершая сложные, требуемые этикетом движения обнаженными мечами, традиционно провелил, все ли окна заперты, все ли няньки на местах, во всех ли покоях горят светильники, вернулся в переднюю, сыграл со сменяющимся гвардейцем партию в кости и поинтересовался, как относится благородный дон к тому, что происходит в городе. Благородный дон, большого ума мужчина, глубоко задумался и высказал предположение, что простой народ готовится к празднованию дня святого Мики.

Оставшись один, Румата придинул кресло к окну, сел поудобнее и стал смотреть на город. Дом принца стоял на холме, и днем город просматривался отсюда до самого моря. Но сейчас все тонуло во мраке, только виднелись разбросанные кучки огней — где на перекрестках стояли и ждали сигнала штурмовики с факелами. Город спал или притворялся спящим. Интересно, чувствовали ли жители, что на них надвигается что-то ужасное? Или, как благородный дон большого ума, тоже считали, что кто-то готовится к празднованию дня святого Мики? Двести тысяч мужчин и женщин. Двести тысяч кузнецов, оружейников, мясников, галантрейщиков, ювелиров, домашних хозяек, проституток, монахов, менял, солдат, бродяг, уцелевших книгоочеев ворочались сейчас в душных, провонявших клопами постелях: спали, любились, пересчитывали в уме барышни, плакали, скрипели зубами от злости или от обиды... Двести тысяч человек! Было в них что-то общее

для пришельца с Земли. Наверное, то, что все они почти без исключений были еще не людьми в современном смысле слова, а заготовками, болванками, из которых только кровавые века истории выточат, когда-нибудь настоящего гордого и свободного человека. Они были пассивны, жадны и невероятно, фантастически эгоистичны. Психологически почти все они были рабами — рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. И если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом — рабом богатства, рабом противостоящих излишеств, рабом распутных друзей, рабом своих рабов. Огромное большинство из них ни в чем не было виновато. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. Рабство их зиждалось на пассивности и невежестве, а пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство. Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы и не на что было бы надеяться. Но все-таки они были людьми, носителями искры разума. И постоянно то тут, то там вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неизвестного и неизбежного будущего. Вспыхивали, несмотря ни на что. Несмотря на всю их кажущуюся никчемность. Несмотря на гнет. Несмотря на то, что их затаптывали сапогами. Несмотря на то, что они были не нужны никому на свете и все на свете были против них. Несмотря на то, что в самом лучшем случае они могли рассчитывать на презрительную недоуменную жалость...

Они не знали, что будущее за них, что будущее без них невозможно. Они не знали, что в этом мире страшных призраков прошлого они являются единственной реальностью будущего, что они — фермент, витамин в организме общества. Уничтожьте этот витамин, и общество загниет, начнется социальная цинга, ослают мышцы, глаза потеряют зоркость, вывалиются зубы. Никакое государство не может развиваться без науки — его уничтожат соседи. Без искусства и общей культуры государство теряет способность к самокритике, начинает еж-

секундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки становится жертвой более благородных соседей. Можно сколько угодно преследовать книгоcheев, запрещать науки, уничтожать искусства, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым турицам и невеждам. И как бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти, они ничего не могут сделать против исторической объективности, они могут только притормозить, но не остановить. Презирая и боясь знания, они все-таки неизбежно приходят к поощрению его для того, чтобы удержаться. Рано или поздно им приходится разрешать университеты, научные общества, создавать исследовательские центры, обсерватории, лаборатории, создавать кадры людей мысли и знания, людей, им уже неподконтрольных, людей с совершенно иной психологией, с совершенно иными потребностями, а эти люди не могут существовать и тем более функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия, кухонных интересов, тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей. Им нужна новая атмосфера — атмосфера всеобщего и всеобъемлющего познания, пронизанная творческим напряжением, им нужны писатели, художники, композиторы, и серые люди, стоящие у власти, вынуждены идти и на эту уступку. Тот, кто упрямится, будет сметен более хитрыми соперниками в борьбе за власть, но тот, кто делает эту уступку, неизбежно и парадоксально, против своей воли роет тем самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всем диапазоне — от естественнонаучных исследований до способности восхищаться большой музыкой... А затем приходит эпоха гигантских социальных потрясений, сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и связанным с этим широчайшим процессом интеллектуализации общества, эпоха, когда сесть дает последние бои, по жестокости возвращающие человечество к средневековью, в этих боях она терпит поражение и уже в обществе, свободном от

классового угнетения, исчезает как реальная сила на всегда.

Румата все смотрел на замерший во мраке город. Где-то там, в вонючей каморке, скorchившись на жалком ложе, горел в лихорадке изувеченный отец Тарра, а брат Нанин сидел возле него за колченогим столиком, пьяный, веселый и злой, и заканчивал свой «Трактат о слухах», с наслаждением маскируя казенными периодами яростную насмешку над серой жизнью. Где-то там слепо бродил в пустых роскошных апартаментах Гур Сочинитель, с ужасом ощущая, как, несмотря ни на что, из глубин его растерзанной, растоптанной души возникают под напором чего-то неведомого и прорываются в сознание яркие миры, полные замечательных людей и потрясающих чувств. И где-то там неведомо как коротал ночь надломленный, поставленный на колени доктор Будах, затравленный, но живой... Братья мои, подумал Румата. Я ваш, мы плоть от плоти вашей! С огромной силой он вдруг почувствовал, что никакой он не бог, ограждающий в ладонях светлячков разума, а брат, помогающий брату, сын, спасающий отца. «Я убью дона Рэбу». — «За что?» — «Он убивает моих братьев». — «Он не ведает, что творит». — «Он убивает будущее». — «Он не виноват, он сын своего века». — «То есть он не знает, что он виноват? Но мало ли чего он не знает? Я, я знаю, что он виноват». — «А что ты сделаешь с отцом Цупиком? Отец Цупик многое бы дал, чтобы кто-нибудь убил дона Рэбу. Молчишь? Многих придется убивать, не так ли?» — «Не знаю, может быть, и многих. Одного за другим. Всех, кто поднимет руку на будущее». — «Это уже было. Травили ядом, бросали самодельные бомбы. И ничего не менялось». — «Нет, менялось. Так создавалась стратегия революции». — «Тебе не нужно создавать стратегию революции. Тебе ведь хочется просто убить». — «Да, хочется». — «А ты умеешь?» — «Вчера я убил дону Окану. Я знал, что убиваю, еще когда шел к ней с пером за ухом. И я жалею только, что убил без пользы. Так что меня уже почти научили». — «А ведь это плохо. Это опасно. Помнишь Сергея Кожина? А Джорджа Лэнни? А Сабину Крюгер?» Ру-

мата провел ладонью по влажному лбу. Вот так думаешь, думаешь, думаешь — и в конце концов выдумываешь порох...

Он вскочил и распахнул окно. Кучки огней в темном городе пришли в движение, распались и потянулись цепочками, появляясь и исчезая между невидимыми домами. Какой-то звук возник над городом — отдаленный многоголосый вой. Вспыхнули два пожара и озарили соседние крыши. Что-то заполыхало в порту. События начались. Через несколько часов станет понятно, что означает союз серых иочных армий, противоестественный союз лавочников и грабителей с большой дороги, станет ясно, чего добивается дон Рэба и какую новую провокацию он задумал. Говоря проще: кого сегодня режут. Скорее всего началась ночь длинных ножей, уничтожение зарвавшегося серого руководства, попутное истребление находящихся в городе баронов и наиболее неудобных аристократов. Как там Пампа, подумал он. Только бы не спал — отобьется...

Додумать ему не удалось. В дверь с истошным криком: «Отворите! Дежурный, отворите!» — забаранили кулаками. Румата откинул засов. Ворвался полуодетый, сизый от ужаса человек, схватил Румату за отвороты камзола и закричал трясясь:

— Где принц? Будах отравил короля! Ируканские шпионы подняли бунт в городе! Спасайте принца!

Это был министр двора, человек глупый и крайне преданный. Оттолкнув Румату, он кинулся в спальню принца. Завизжали женщины. А в двери уже лезли, выставив ржавые топоры, потные мордастые штурмовики в серых рубахах. Румата обнажил мечи.

— Назад! — холодно сказал он.

За спиной из спальни донесся короткий задавленный вопль. Плохо дело, подумал Румата. Ничего не понимаю. Он отскочил в угол и загородился столом. Штурмовики, тяжело дыша, заполнили комнату. Их набралось человек пятнадцать. Вперед протолкался лейтенант в серой тесной форме, клинок наголо.

— Дон Румата? — сказал он, задыхаясь. — Вы арестованы. Отдайте мечи.

Румата оскорбительно засмеялся.

— Возьмите, — сказал он, косясь на окно.

— Взять его! — рявкнул офицер.

Пятнадцать упитанных увальней с топорами — не слишком много для человека, владеющего приемами боя, которые станут известны здесь лишь три столетия спустя. Толпа накатилась и откатилась. На полу осталось несколько топоров, двое штурмовиков скрючились и, бережно прижимая к животам вывихнутые руки, пролезли в задние ряды. Румата в совершенстве владел веерной защитой, когда перед нападающими сплошным сверкающим занавесом крутился сталь и кажется невозможным прорваться через этот занавес. Штурмовики, отдуваясь, нерешительно переглядывались. От них остро тянуло пивом и луком.

Румата отодвинул стол и осторожно пошел к окну вдоль стены. Кто-то из задних рядов метнул нож, но промахнулся. Румата опять засмеялся, поставил ногу на подоконник и сказал:

— Сунетесь еще раз — буду отрубать руки. Вы меня знаете...

Они его знали. Они его очень хорошо знали, и ни один из них не двинулся с места, несмотря на ругань и понукания офицера, державшегося, впрочем, тоже очень осторожно. Румата встал на подоконник, продолжая угрожать мечами, и в ту же минуту из темноты, со двора, в спину ему ударило тяжелое копье. Удар был страшен. Он не пробил металлическую рубашку, но сшиб Румату с подоконника и бросил на пол. Мечей Румата не выпустил, но толку от них уже не было никакого. Вся свора разом насыпалась на него. Вместе они весили, наверное, больше тонны, по мешали друг другу, и ему удалось подняться на ноги. Он ударили кулаком в чьи-то мокрые губы, кто-то по-заячы заверещал у него под мышкой, он бил и бил локтями, кулаками, плечами (давно он не чувствовал себя так свободно), но он не мог стряхнуть их с себя. С огромным трудом, волоча за собой кучу тел, он пошел к двери, по дороге наклоняясь и отдирая вцепившихся в ноги штурмовиков. Потом он ощущил болезненный удар в плечо и повалился на спину, под ним бились задавленные, но снова встал, нанося короткие, в полную си-

лу удары, от которых штурмовики, размахивая руками и ногами, тяжело шлепались в стены; уже мелькало перед ним перекошенное лицо лейтенанта, выставившего перед собой разряженный арбалет, но тут дверь распахнулась, и навстречу ему полезли новые потные морды. На него накинули сеть, затянули на ногах веревки и повалили.

Он сразу перестал отбиваться, экономя силы. Некоторое время его толтали сапогами — сосредоточенно, молча, сладострастно хакая. Затем схватили за ноги и поволокли. Когда его тащили мимо раскрытой двери спальни, он успел увидеть министра двора, приколотого к стене копьем, и ворох окровавленных простынь на кровати. «Так это переворот! — подумал он. — Бедный мальчик...» Его поволокли по ступенькам, и тут он потерял сознание.

ГЛАВА 7

Он лежал на травянистом пригорке и смотрел на облака, плавущие в глубоком синем небе. Ему было хорошо и покойно, но на соседнем пригорке сидела колючая костлявая боль. Она была вне его и в то же время внутри, особенно в правом боку и в затылке. Кто-то рявкнул. «Сдох он, что ли? Головы оторву!» И тогда с неба обрушилась масса ледяной воды. Он действительно лежал на спине и смотрел в небо, только не на пригорке, а в луже, и небо было не синее, а черно-свинцовое, подсвеченное красным. «Ничего, — сказал другой голос. — Они живые, глазами лупают». Это я живой, подумал он. Это обо мне. Это я луплю глазами. Но зачем они кривляются? Говорить разучились по-человечески?

Рядом кто-то зашевелился и грузно заплелал по воде. На небе появился черный силуэт головы в остроконечной шапке.

— Ну как, благородный дон, сами пойдете или волочь вас?

— Развяжите ноги, — сердито сказал Румата, ощущая острую боль в разбитых губах. Он попробовал их языком. Ну и губы, подумал он. Оладьи, а не губы.

Кто-то завозился над его ногами, бесцеремонно дергая и ворочая их. Вокруг переговаривались негромкими голосами:

— Здорово вы его отделали...

— Так как же, он чуть не ушел... Заговоренный, стрелы отскакивают...

— Я одного знал такого, хоть топором бей, все ни почем.

— Так то небось мужик был...

— Ну, мужик...

— То-то и оно. А это благородных кровей.

— А, хвостом тя по голове... Узлов навязали, не разберешься... Огня дайте сюда!

— Да ты ножом.

— Ай, братья, ай, не развязывайте. Как он опять пойдет нас махать... Мне мало что голову не раздавил.

— Ладно, небось не начнет...

— Вы, братья, как хотите, а копьем я его бил по настоящему. Я же так кольчуги пробивал.

Властный голос из темноты крикинул:

— Эй, скоро вы там?

Румата почувствовал, что ноги его свободны, напрягся и сел. Несколько приземистых штурмовиков молча смотрели, как он ворочается в луже. Румата стиснул челюсти от стыда и унижения. Он подергал лопатками: руки были скручены за спиной, да так, что он даже не понимал, где у него локти, а где кисти. Он собрал все силы, рывком поднялся на ноги, и его сейчас же перекосило от страшной боли в боку. Штурмовики засмеялись.

— Небось не убежит, — сказал один.

— Да, притомились, хвостом тя по голове...

— Что, дон, не сладко?

— Хватит болтать, — сказал из темноты властный голос. — Идите сюда, дон Румата.

Румата пошел на голос, чувствуя, как его мотает из стороны в сторону. Откуда-то вынырнул человечек с факелом, пошел впереди. Румата узнал это место: один из бесчисленных внутренних двориков министерства охраны короны, где-то возле королевских коню-

шен. Оя быстро сообразил — если поведут направо, значит в Башню, в застенок. Если налево — в канцелярию. Он потряс головой. Ничего, подумал он. Раз жив, еще поборемся. Они свернули налево. Не сразу, подумал Румата. Будет предварительное следствие. Страшно. Если дело дошло до следствия, в чем меня могут обвинить? Пожалуй, ясно. Приглашение отравителя Будаха, отравление короля, заговор против короны... Возможно, убийство принца. И разумеется, шпионаж в пользу Ирукана, Соана, варваров, баронов, Святого Ордена и прочее, и прочее... Просто удивительно, как я еще жив. Значит, еще что-то задумал этот бледный гриб.

— Сюда, — сказал человек с властным голосом.

Он распахнул низенькую дверь, и Румата, согнувшись, вошел в обширное, освещенное дюжины светильников помещение. Посередине на потертом ковре сидели и лежали связанные окровавленные люди. Некоторые из них были уже либо мертвы, либо без сознания. Почти все были босы, в рваныхочных рубашках. Вдоль стен, небрежно опираясь на топоры и секиры, стояли красномордые штурмовики, свирепые и самодовольные — победители. Перед ними прохаживался — руки за спину — офицер при мече, в сером мундире с сильно засаленным воротником. Спутник Руматы, высокий человек в черном плаще, подошел к офицеру и что-то шепнул на ухо. Офицер кивнул, с интересом взглянул на Румату и скрылся за цветастыми портьерами на противоположном конце комнаты.

Штурмовики тоже с интересом рассматривали Румату. Один из них, с заплывшим глазом, сказал:

— А хорош камушек у дона!

— Камушек будь здоров, — согласился другой. — Королю впору. И обруч литого золота.

— Нынче мы сами короли.

— Так что, снимем?

— Пр- прекратить, — негромко сказал человек в черном плаще.

Штурмовики с недоумением взорвались на него.

— Это еще кто на нашу голову? — сказал штурмовик с заплывшим глазом.

Человек в плаще, не отвечая, повернулся к нему спиной, подошел к Румате и встал рядом. Штурмовики недобро оглядывали его с головы до ног.

— Никак поп? — сказал штурмовик с заплывшим глазом. — Эй, поп, хошь в лоб?

Штурмовики загоготали. Штурмовик с заплывшим глазом поплевал на ладони, перебрасывая топор из руки в руку, и двинулся к Румате. Ох, и дам я ему сейчас, подумал Румата, медленно отводя назад правую ногу.

— Кого я всегда бил, — продолжал штурмовик, останавливаясь перед ним и разглядывая человека в черном, — так это попов, грамотеев всяких и мастеровщину. Бывало...

Человек в плаще вскинул руку ладонью вверх. Что-то звонко щелкнуло под потолком. Ж-ж-ж! Штурмовик с заплывшим глазом выронил топор и опрокинулся на спину. Из середины лба у него торчала короткая толстая арбалетная стрела с густым оперением. Стало тихо. Штурмовики попятились, боязливо шаря глазами по отдушикам под потолком. Человек в плаще опустил руку и приказал:

— Убрать падаль, быстро!

Несколько штурмовиков кинулись, схватили убитого за ноги и за руки и поволокли прочь. Из-за портьеры вынырнул серый офицер и приглашающе помахал.

— Пойдемте, дон Румата, — сказал человек в плаще.

Румата пошел к портьерам, огибая кучу пленных. Ничего не понимаю, думал он. За портьерами в темноте его схватили, обшарили, сорвали с пояса пустые ножны и вытолкнули на свет.

Румата сразу понял, куда он попал. Это был знакомый кабинет дона Рэбы в лиловых покоях. Дон Рэба сидел на том же месте и в совершенно той же позе, напряженно выпрямившись, положив локти на стол и сплетя пальцы. А ведь у старика геморрой, ни с того ни с сего с жалостью подумал Румата. Справа от дона Рэбы восседал отец Цупик, важный, сосредоточенный, с поджатыми губами, слева — благодушно улыбающий-

ся толстяк с нашивками капитана на сером мундире. Больше в кабинете никого не было. Когда Румата вошел, дон Рэба тихо и ласково сказал:

— А вот, друзья, и благородный дон Румата.

Отец Цупик пренебрежительно скривился, а толстяк благосклонно закивал.

— Наш старый и весьма последовательный недруг, — сказал дон Рэба.

— Раз недруг — повесить, — хрипло сказал отец Цупик.

— А ваше мнение, брат Аба? — спросил дон Рэба, предупредительно наклоняясь к толстяку.

— Вы знаете... Я как-то даже... — Брат Аба растерянно и детски улыбнулся, разведя коротенькие ручки. — Как-то мне, знаете ли, все равно. Но, может быть, все-таки не вешать?.. Может быть, сжечь, как вы полагаете, дон Рэба?

— Да, пожалуй, — задумчиво сказал дон Рэба.

— Вы понимаете, — продолжал очаровательный брат Аба, ласково улыбаясь Румате, — вешают отребье, мелочь... А мы должны сохранять у народа уважительное отношение к сословиям. Все-таки отпрыск древнего рода, крупный ируканский шпион... Ируканский, кажется, я не ошибаюсь? — Он схватил со стола листок и близоруко всмотрелся. — Ах, еще и соанский... Тем более!

— Сжечь так сжечь, — согласился отец Цупик.

— Хорошо, — сказал дон Рэба. — Договорились. Сжечь.

— Впрочем, я думаю, дон Румата может облегчить свою участь, — сказал брат Аба. — Вы меня понимаете, дон Рэба?

— Признаться, не совсем...

— Имущество! Мой благородный дон, имущество! Руматы — сказочно богатый род!..

— Вы, как всегда, правы, — сказал дон Рэба.

Отец Цупик зевнул, прикрывая рот рукой, и покосился на лиловые портьеры справа от стола.

— Что ж, тогда начнем по всей форме, — со вздохом сказал дон Рэба.

Отец Цупик все косился на портьеры. Он явно

- Я убил на дуэли члена августейшей семьи.
- Вот как? Кого же именно?
- Молодого герцога Экину.
- В чем причина дуэли?
- Женщина, — коротко сказал Румата.

У него появилось ощущение, что все эти вопросы ничего не значат. Что это такая же игра, как и обсуждение способа казни. Все трое чего-то ждут. Я жду, когда у меня отойдут руки. Брат Аба — дурак — ждет, когда ему на колени посыпается золото из родовой сокровищницы дона Руматы. Дон Рэба тоже чего-то ждет... Но монахи, монахи! Откуда во дворе монахи? Да еще такие умелые бойкие ребята?..

- Имя женщины?

Ну и вопросы, подумал Румата. Глупее не придумаешь. Попробую-ка я их расшевелить...

- Дона Рита, — ответил он.
- Не ожидал, что вы ответите. Благодарю вас...
- Всегда готов к услугам.

Дон Рэба поклонился.

- Вам приходилось бывать в Ирукане?
- Нет.
- Вы уверены?
- Вы тоже.
- Мы хотим правды! — наставительно сказал дон Рэба. Брат Аба покивал. — Одной только правды!

— Ага, — сказал Румата. — А мне показалось... — Он замолчал.

- Что вам показалось?

— Мне показалось, что вы главным образом хотите прибрать к рукам мое родовое имущество. Решительно не представляю себе, дон Рэба, каким образом вы надеетесь его получить?

— А дарственная? А дарственная? — вскричал брат Аба.

Румата засмеялся как можно более нагло.

— Ты дурак, брат Аба, или как тебя там... Сразу видно, что ты лавочник. Тебе что, неизвестно, что майорат не подлежит передаче в чужие руки?

Было видно, что брат Аба здорово рассвирепел, но сдерживается.

— Вам не следует разговаривать в таком тоне, — мягко сказал дон Рэба.

— Вы хотите правды? — возразил Румата. — Вот вам правда, истинная правда и только правда: брат Аба — дурак и лавочник.

Однако брат Аба уже овладел собой.

— Мне кажется, мы отвлеклись, — сказал он с улыбкой. — Как вы полагаете, дон Рэба?

— Вы, как всегда, правы, — сказал дон Рэба. — Благородный дон, а не приходилось ли вам бывать в Соане?

- Я был в Соане.
- С какой целью?
- Посетить Академию наук.

— Странная цель для молодого человека вашего положения.

- Мой кафриз.
- А знакомы ли вы с генеральным судьей Соана доном Кондором?

Румата насторожился.

- Это старинный друг нашей семьи.
- Благороднейший человек, не правда ли?
- Весьма почтенная личность.
- А вам известно, что дон Кондор участник заговора против его величества?

Румата задрал подбородок.

— Зарубите на носу, дон Рэба, — сказал он высокомерно. — Для нас, коренного дворянства метрополии, все эти Соаны и Ируканы, да и Арканар, были и всегда останутся вассалами имперской короны. — Он положил ногу на ногу и отвернулся.

Дон Рэба задумчиво глядел на него.

- Вы богаты?
- Я мог бы скупить весь Арканар, но меня не интересуют помойки...

Дон Рэба вздохнул.

— Мое сердце обливается кровью, — сказал он. — Обрубить столь славный росток столь славного рода!.. Это было бы преступлением, если бы не вызывалось государственной необходимостью.

— Поменьше думайте о государственной необходимости.

мости, — сказал Румата, — и нобольше думайте о собственной шкуре.

— Вы правы, — сказал дон Рэба и щелкнул пальцами.

Румата быстро напряг и вновь распустил мышцы. Кажется, тело работало. Из-за портьеры снова выскочили трое монахов. Все с той же неуловимой быстротой и точностью, свидетельствующими об огромном опыте, они сомкнулись вокруг еще продолжавшего умильно улыбаться брата Аба, схватили его и завернули руки за спину.

— Ой-ей-ей-ей!.. — завопил брат Аба. Толстое лицо его исказилось от боли.

— Скорее, скорее, не задерживайтесь! — брезгливо сказал дон Рэба.

Толстяк бешено упирался, пока его тащили за портьеры. Слышино было, как он кричит и взвизгивает, затем он вдруг заорал жутким, неузнаваемым голосом и сразу затих. Дон Рэба встал и осторожно разрядил арбалет. Румата ошарашенно следил за ним.

Дон Рэба прохаживался по комнате, задумчиво почесывая спину арбалетной стрелой. «Хорошо, хорошо, — бормотал он почти нежно. — Прелестно!..» Он словно забыл про Румата. Шаги его все убыстрялись, он помахивал на ходу стрелой, как дирижерской палочкой. Потом он вдруг резко остановился за столом, отшвырнул стрелу, осторожно сел и сказал, улыбаясь во все лицо:

— Как я их, а?.. Никто и не пикнул!.. У вас, я думаю, так не могут...

Румата молчал.

— Да-а... — протянул дон Рэба мечтательно. — Хорошо! Ну что ж, а теперь поговорим, дон Румата... А может быть, не Румата?.. И может быть, даже и не дон? А?..

Румата промолчал, с интересом его разглядывая. Бледненький, с красными жилками на носу, весь тряслся от возбуждения, так и хочется ему закричать, хлопая в ладони: «А я знаю! А я знаю!» А ведь ничего ты не знаешь, сукин сын. А узнаешь, так не поверишь. Ну, говори, говори, я слушаю.

— Я вас слушаю, — сказал он.

— Вы не дон Румата, — объявил дон Рэба. — Вы самозванец. — Он строго смотрел на Румата. — Румата Эсторский умер пять лет назад и лежит в семейном склепе своего рода. И святые давно упокоили его мятежную и, прямо скажем, не очень чистую душу. Вы как, сами признаетесь, или вам помочь?

— Сам признаюсь, — сказал Румата. — Меня зовут Румата Эсторский, и я не привык, чтобы в моих словах сомневались.

Попробую-ка я тебя немножко рассердить, подумал он. Бок болит, а то бы я тебя поводил за салом.

— Я вижу, что нам придется продолжать разговор в другом месте, — зловеще сказал дон Рэба.

С лицом его происходили удивительные перемены. Исчезла приятная улыбка, губы сжались в прямую линию. Странно и жутковато задвигалась кожа на лбу. Да, подумал Румата, такого можно испугаться.

— У вас правда геморрой? — участливо спросил он.

В глазах у дона Рэбы что-то мигнуло, но выражения лица он не изменил. Он сделал вид, что не расстался.

— Вы плохо использовали Будаха, — сказал Румата. — Это отличный специалист. Был... — добавил он значительно.

В выцветших глазах снова что-то мигнуло. Ага, подумал Румата, а ведь Будах-то еще жив... Он уселся поудобнее и обхватил руками колено.

— Итак, вы отказываетесь признаться, — произнес дон Рэба.

— В чем?

— В том, что вы самозванец.

— Почтенный Рэба, — сказал Румата наставительно, — такие вещи доказывают. Ведь вы меня оскорбляете!

На лице дона Рэбы появилась приторность.

— Мой дорогой дон Румата, — сказал он. — Простите, пока я буду называть вас этим именем. Так вот, обыкновенно я никогда ничего не доказываю. Доказывают там, в Веселой Башне. Для этого я содержу

опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые с помощью мясокрутки святого Мики, поножей господа бога, перчаток великомученицы Паты или, скажем, си-денья... э-э-э... виноват, кресла Тоца-воителя могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках. Вы понимаете меня? Вам, может быть, неизвестно, но существует целая наука о добывании доказательств. Посудите сами: зачем мне доказывать то, что я и сам знаю? И потом ведь признание вам ничем не грозит...

— Мне не грозит, — сказал Румата. — Оно грозит вам.

Некоторое время дон Рэба размышлял.

— Хорошо, — сказал он. — Видимо, начать придется все-таки мне. Давайте посмотрим, в чем замечен дон Румата Эсторский за пять лет своей загробной жизни в Арканарском королевстве. А вы потом объясните мне смысл всего этого. Согласны?

— Мне бы не хотелось давать опрометчивых обещаний, — сказал Румата, — но я с интересом вас выслушаю.

Дон Рэба, покопавшись в письменном столе, вытащил квадратик плотной бумаги и, подняв брови, просмотрел его.

— Да будет вам известно, — начал он, приветливо улыбаясь, — да будет вам известно, что мною, министром охраны арканарской короны, были предприняты некоторые действия против так называемых книгоочеев, ученых и прочих бесполезных и вредных для государства людей. Эти акции встретили некое странное противодействие. В то время как весь народ в едином порыве, храня верность королю, а также арканарским традициям, всячески помогал мне: выдавал укрывшихся, расправлялся самосудно, указывал на подозрительных, ускользнувших от моего внимания, — в это самое время кто-то неведомый, но весьма энергичный выхватывал у нас из-под носа и переправлял за пределы королевства самых важных, самых отпетых и отвратительных преступников. Так ускользнули от нас: безбожный астролог Багир Киссэнский; преступный алхимик Синда, связанный, как доказано, с нечистой си-

лой и с ируканскими властями; мерзкий памфлетист и нарушитель спокойствия Цурэн и ряд иных рангом поменьше. Куда-то скрылся сумасшедший колдун и механик Кабани. Кем-то была затрачена уйма золота, чтобы помешать свершиться гневу народному в отношении богомерзких шпионов и отправителей, бывших лейб-знахарей его величества. Кто-то при поистине фантастических обстоятельствах, заставляющих опять-таки вспомнить о враге рода человеческого, освободил из-под стражи чудовище разврата и растлителя народных душ, атамана крестьянского бунта Арату Горбатого... — Дон Рэба остановился и, двигая кожей на лице, значительно посмотрел на Румату. Румата, подняв глаза к потолку, мечтательно улыбался. Арату Горбатого он похитил, прилетев за ним на вертолете. На стражников это произвело громадное впечатление. На Арату, впрочем, тоже. А все-таки я молодец, подумал он. Хорошо поработал.

— Да будет вам известно, — продолжал дон Рэба, — что указанный атаман Арата в настоящее время гуляет во главе взбунтовавшихся холопов по восточным областям метрополии, обильно проливая благородную кровь и не испытывая недостатка ни в деньгах, ни в оружии.

— Верю, — сказал Румата. — Он сразу показался мне очень решительным человеком.

— Итак, вы признаетесь? — сейчас же сказал дон Рэба.

— В чем? — удивился Румата.

Некоторое время они смотрели друг другу в глаза.

— Я продолжаю, — сказал дон Рэба. — За спасение этих растлителей душ вы, дон Румата, по моим скромным и неполным подсчетам, потратили не менее трех пудов золота. Я не говорю о том, что при этом вы навеки осквернили себя общением с нечистой силой. Я не говорю также и о том, что за все время пребывания в пределах Арканарского королевства вы не получили из своих эсторских владений даже медного гроша, да и с какой стати? Зачем снабжать деньгами покойника, хотя бы даже и родного? Но ваше золото!

Он открыл шкатулку, погребенную под бумагами

на столе, и извлек из нее горсть золотых монет с профилем Пицца Шестого.

— Одного этого золота достаточно было бы для того, чтобы сжечь вас на костре! — завопил он. — Это дьявольское золото! Человеческие руки не в силах изготовить металл такой чистоты!

Он сверлил Румата взглядом. Да, великолушно подумал Румата, это он молодец. Этого мы, пожалуй, недодумали. И пожалуй, он первый заметил. Это надо учесть... Рэба вдруг снова погас. В голосе его зазвучали участливые отеческие нотки:

— И вообще вы ведете себя очень неосторожно, дон Румата. Я все это время так волновался за вас... Вы такой дуэлянт, вы такой задира! Сто двадцать шесть дуэлей за пять лет! И ни одного убитого... В конце концов из этого могли сделать выводы. Я, например, сделал. И не только я. Этой ночью, например, брат Аба — нехорошо говорить дурно о покойниках, но это был очень жестокий человек, я его терпел с трудом, признаться... Так вот, брат Аба выделил для вашего ареста не самых умелых бойцов, а самых толстых и сильных. И он оказался прав. Несколько вывихнутых рук, несколько отдавленных шей, выбитые зубы не в счет... и вот вы здесь! А ведь вы не могли не знать, что деретесь за свою жизнь. Вы мастер. Вы, несомненно, лучший меч Империи. Вы, несомненно, продали душу дьяволу, ибо только в аду можно научиться этим невероятным, сказочным приемам боя. Я готов даже допустить, что это умение было дано вам с условием не убивать. Хотя трудно представить, зачем дьяволу понадобилось такое условие. Но пусть в этом разбираются наши схоласты...

Тонкий поросячий визг прервал его. Он недовольно посмотрел на лиловые портьеры. За портьерами дрались. Слышались глухие удары, визг: «Пустите! Пустите!» — и еще какие-то хриплые голоса, ругань, возгласы на непонятном наречии. Потом портьера с треском оборвалась и упала. В кабинет ввалился и рухнул на четвереньки какой-то человек, плашивый, с окровавленным подбородком, с дико вытара-

щеными глазами. Из-за портьеры высунулись огромные лапы, схватили человека за ноги и поволокли обратно. Румата узнал его: это был Будах. Он дико кричал:

— Обманули!.. Обманули!.. Это же был яд! За что?..

Его утащили в темноту. Кто-то в черном быстро подхватил и повесил портьеру. В наступившей тишине из-за портьер послышались отвратительные звуки — кого-то рвало. Румата понял.

— Где Будах? — спросил он резко.

— Как видите, с ним случилось какое-то несчастье, — ответил дон Рэба, но было заметно, что он растерялся.

— Не морочьте мне голову, — сказал Румата. — Где Будах?

— Ах, дон Румата, — сказал дон Рэба, качая головой. Он сразу оправился. — На что вам Будах? Он что, ваш родственник? Ведь вы его даже никогда не видели.

— Слушайте, Рэба! — сказал Румата бешено. — Я с вами не шучу! Если с Будахом что-нибудь случится, вы подохнете как собака. Я раздавлю вас.

— Не успеете, — быстро сказал дон Рэба. Он был очень бледен.

— Вы дурак, Рэба. Вы опытный интриган, но вы ничего не понимаете. Никогда в жизни вы еще не брались за такую опасную игру, как сейчас. И вы даже не подозреваете об этом.

Дон Рэба сжался за столом, глазки его горели как угольки. Румата чувствовал, что сам он тоже никогда еще не был так близок к гибели. Карты раскрывались. Решалось, кому быть хозяином в этой игре. Румата напрягся, готовясь прыгнуть. Никакое оружие — ни копье, ни стрела — не убивает мгновенно. Эта мысль отчетливо простила на физиономии дона Рэбы. Геморроидальный старик хотел жить.

— Ну что вы, в самом деле, — сказал он плаксиво. — Сидели, разговаривали... Да жив ваш Будах, успокойтесь, жив и здоров. Он меня еще лечить будет. Не надо горячиться.

— Где Будах?
— В Веселой Башне.
— Он мне нужен.
— Мне он тоже нужен, дон Румата.

— Слушайте, Рэба, — сказал Румата, — не сердите меня. И перестаньте притворяться. Вы же меня боитесь. И правильно делаете. Будах принадлежит мне, понимаете? Мне!

Теперь они оба стояли. Рэба был страшен. Он посинел, губы его судорожно дергались, он что-то бормотал, брызгая слюной.

— Мальчишка! — прошипел он. — Я никого не боюсь! Это я могу раздавить тебя как пиявку!

Он вдруг повернулся и рванул гобелен, висевший за его спиной. Открылось широкое окно.

— Смотри!

Румата подошел к окну. Оно выходило на площадь перед дворцом. Уже занималась заря. В серое небо поднимались дымы пожаров. На площади валялись трупы. А в центре ее чернел ровный неподвижный квадрат. Румата взгляделся. Это были всадники, стоящие в неправдоподобно точном строю, в длинных черных плащах, в черных клубках, скрывающих глаза, с черными треугольными щитами на левой руке и с длинными пиками в правой.

— Пр-ропшу! — сказал дон Рэба лязгающим голосом. Он весь тряслся. — Смиренные дети господа нашего, конница Святого Ордена. Высадились сегодня ночью в Арканарском порту для подавления варварского бунтаочных оборванцев Ваги Колеса вкупе с возомнившими о себе лавочниками! Бунт подавлен. Святой Орден владеет городом и страной, отныне Арканарской областью Ордена...

Румата невольно почесал в затылке. Вот это да, подумал он. Так вот для кого мостили дорогу несчастные лавочники. Вот это провокация! Дон Рэба торжествующе скалил зубы.

— Мы еще не знакомы, — тем же лязгающим голосом продолжал он. — Позвольте представиться: наместник Святого Ордена в Арканарской области, епископ и боевой магистр раб божий Рэба!

А ведь можно было догадаться, думал Румата. Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. Эх, историки, хвостом вас по голове... Но он заложил руки за спину и покачался с носков на пятку.

— Сейчас я устал, — сказал он брезгливо. — Я хочу спать. Я хочу помыться в горячей воде и смыть с себя кровь и слюни ваших головорезов. Завтра... точнее, сегодня... скажем, через час после восхода, я зайду в вашу канцелярию. Приказ на освобождение Будаха должен быть готов к этому времени.

— Их двадцать тысяч! — крикнул дон Рэба, указывая рукой в окно.

Румата поморщился.

— Немножко тише, пожалуйста, — сказал он. — И запомните, Рэба: я отлично знаю, что никакой вы не епископ. Я вижу вас насеквоздь. Вы просто грязный предатель и неумелый дешевый интриган... — Дон Рэба облизнул губы, глаза его остекленели. Румата продолжал: — Я беспощаден. За каждую подлость по отношению ко мне или к моим друзьям вы ответите головой. Я вас ненавижу, учтите это. Я согласен вас терпеть, но вам придется научиться во время убираться с моей дороги. Вы поняли меня?

Дон Рэба торопливо сказал, просительно улыбаясь:

— Я хочу одного. Я хочу, чтобы вы были при мне, дон Румата. Я не могу вас убить. Не знаю почему, но не могу.

— Боитесь, — сказал Румата.

— Ну и боюсь, — согласился дон Рэба. — Может быть, вы дьявол. Может быть, сын бога. Кто вас знает? А может быть, вы человек из могущественных заморских стран: говорят, есть такие... Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас извергла. У меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю в ересь. Но я тоже могу убить вас. В любую минуту. Сейчас. Завтра. Вчера. Это вы понимаете?

— Это меня не интересует, — сказал Румата.

— А что же? Что вас интересует?

— А меня ничто не интересует, — сказал Румата.

та. — Я развлекаюсь. Я не дьявол и не бог, я кавалер Румата Эсторский, веселый благородный дворянин, обремененный капризами и предрассудками и привыкший к свободе во всех отношениях. Запомнили?

Дон Рэба уже пришел в себя. Он утерся платочком и приятно улыбнулся.

— Я ценю ваше упорство, — сказал он. — В конце концов вы тоже стремитесь к каким-то идеалам. И я уважаю эти идеалы, хотя и не понимаю их. Я очень рад, что мы объяснились. Возможно, вы когда-нибудь изложите мне свои взгляды, и совершенно не исключено, что вы заставите меня пересмотреть мои. Люди склонны совершать ошибки. Может быть, я опибаюсь и стремлюсь не к той цели, ради которой стоило бы работать так усердно и бескорыстно, как работаю я. Я человек широких взглядов, я вполне могу представить себе, что когда-нибудь стану работать с вами плечом к плечу...

— Там видно будет, — сказал Румата и пошел к двери. Ну и слизняк! — подумал он. Тоже мне сотрудникчик. Плечом к плечу...

Город был поражен невыносимым ужасом. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло пустынные улицы, дымящиеся развалины, сорванные ставни, взломанные двери. В пыли кроваво сверкали осколки стекол. Неисчислимые полчища ворон спустились на город, как на чистое поле. На площадях и перекрестках по двое и по трое торчали всадники в черном — медленно поворачивались в седлах всем туловищем, поглядывая сквозь прорези в низко надвинутых клобуках. С наспех врытых столбов свисали на цепях обугленные тела над погасшими углами. Казалось, ничего живого не осталось в городе — только орущие вороны и деловитые убийцы в черном.

Половину дороги Румата прошел с закрытыми глазами. Он задыхался, мучительно болело избитое тело. Люди это или не люди? Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах, другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди. И каждый

думает: кого угодно, только не меня. Хладнокровное зверство тех, кто режет, и хладнокровная покорность тех, кого режут. Хладнокровие — вот что самое страшное. Десять человек стоят, замерев от ужаса, и покорно ждут, а один подходит, выбирает жертву и хладнокровно режет ее. Души этих людей полны нечистот, и каждый час покорного ожидания загрязняет их все больше и больше. Вот сейчас в этих затянувшихся домах невидимо рождаются подлецы, доносчики, убийцы, тысячи людей, пораженных страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страха своих детей и детей своих детей. Я не могу больше, твердил про себя Румата. Еще немного, и я сойду с ума и стану таким же, еще немного, и окончательно перестану понимать, зачем я здесь... Нужно отлежаться, отвернуться от всего этого, успокоиться...

«...В конце года Воды — такой-то год по новому летосчислению — центробежные процессы в древней Империи стали значимыми. Воспользовавшись этим, Святой Орден, представлявший, по сути, интересы наиболее реакционных групп феодального общества, которые любыми средствами стремились приостановить диссипацию...» А как пахли горящие трупы на столбах, вы знаете? А вы видели когда-нибудь голую женщину со вспоротым животом, лежащую в уличной пыли? А вы видели города, в которых люди молчат и кричат только вороны? Вы, еще не родившиеся мальчики и девочки, перед учебным стереовизором в школах Арканарской Коммунистической Республики?

Он ударился грудью в твердое и острое. Перед ним был черный всадник. Длинное копье с широким, аккуратно зазубренным лезвием упиралось Румате в грудь. Всадник молча глядел на него черными щелями в капюшоне. Из-под капюшона виднелся только тонкогубый рот с маленьким подбородком. Надо что-то делать, подумал Румата. Только что? Сбить его с лошади? Нет. Всадник начал медленно отводить копье для удара. Ах, да!.. Румата вяло поднял левую руку и оттянул на неё рукав, открывая железный браслет, который ему дали при выходе из

дворца. Всадник присмотрелся, поднял копье и проехал мимо. «Во имя господа», — глухо сказал он со странным акцентом. «Именем его», — пробормотал Румата и пошел дальше мимо другого всадника, который старался достать копьем искусно вырезанную деревянную фигурку веселого чертика, торчащую под карнизом крыши. За полуоторванной ставней на втором этаже мелькнуло помертвевшее от ужаса толстое лицо — должно быть, одного из тех лавочников, что еще три дня назад за кружкой пива восторженно орали: «Ура дону Рэбе!» — и с наслаждением слушали грррум, грррум, грррум подкованных сапог по мостовому. Эх, серость, серость... Румата отвернулся.

А как у меня дома? — вспомнил вдруг он и ускорил шаги. Последний квартал он почти пробежал. Дом был цел. На ступеньках сидели двое монахов, капюшоны они откинули и подставили солнцу плохо выбритые головы. Увидев его, они встали. «Во имя господа», — сказали они хором. «Именем его, — отозвался Румата. — Что вам здесь надо?» Монахи поклонились, сложив руки на животе. «Вы пришли, и мы уходим», — сказал один. Они спустились со ступенек и неторопливо побрали прочь, ссутулившись и сунув руки в рукава. Румата поглядел им вслед и вспомнил, что тысячи раз он видел на улицах эти смиренные фигуры в долгополых черных рясах. Только раньше не волочились за ними в пыли ножны тяжеленных мечей. Проморгали, ах, как проморгали! — подумал он. Какое это было развлечение для благородных донов — пристроиться к одиночко бредущему монаху и рассказывать друг другу через его голову пикантные истории. А я, дурак, притворяясь пьяным, плелся позади, хохотал во все горло и так радовался, что Империя не поражена хоть религиозным фанатизмом... А что можно было сделать? Да, что можно было сделать?

— Кто там? — спросил дребезжащий голос.

— Открой, Муга, это я, — сказал Румата не громко.

Загремели засовы, дверь приоткрылась, и Румата

протиснулся в прихожую. Здесь все было, как обычно, и Румата облегченно вздохнул. Старый, седой Муга, тряся головой, с привычной почтительностью потянулся за каской и мечами.

— Что Кира? — спросил Румата.

— Кира наверху, — сказал Муга. — Она здорова.

— Отлично, — сказал Румата, вылезая из перевязей с мечами. — А где Уно? Почему он не встречает меня?

Муга принял меч.

— Уно убит, — сказал он спокойно. — Лежит в людской.

Румата закрыл глаза...

— Уно убит... — повторил он. — Кто его убил?

Не дождавшись ответа, он пошел в людскую. Уно лежал на столе, накрытым до пояса простыней, руки его были сложены на груди, глаза широко открыты, рот сведен гrimасой. Понурые слуги стояли вокруг стола и слушали, как бормочет монах в углу. Всхлипывала кухарка. Румата, не спуская глаз с лица мальчика, стал отстегивать непослушными пальцами воротник камзола.

— Сволочи... — сказал он. — Какие все сволочи!..

Он качнулся, подошел к столу, всмотрелся в мертвые глаза, приподнял простыню и сейчас же снова опустил ее.

— Да, поздно, — сказал он. — Поздно... Безнадежно... Ах, сволочи! Кто его убил? Монахи?

Он повернулся к монаху, рывком поднял его и нагнулся над его лицом.

— Кто убил? — сказал он. — Ваши? Говори!

— Это не монахи, — тихо сказал за его спиной Муга. — Это серые солдаты...

Румата еще некоторое время вглядывался в худое лицо монаха, в его медленно расширяющиеся зрачки. «Во имя господа...» — просипел монах. Румата отпустил его, сел на скамью в ногах Уно и заплакал. Он плакал, закрыв лицо ладонями, и слушал дребезжащий равнодушный голос Муги. Муга рассказывал, как после второй стражи в дверь постучали именем короля и Уно кричал, чтобы не открывали,

но открыть все-таки пришлось, потому что серые грозились поджечь дом. Они ворвались в прихожую, избили и повязали слуг, а затем полезли по лестнице наверх. Упо, стоявший у дверей в покой, начал стрелять из арбалетов. У него было два арбалета, и он успел выстрелить дважды, но один раз промахнулся. Серые метнули ножи, и Уно упал. Они стащили его вниз и стали топтать ногами и бить топорами, но тут в дом вошли черные монахи. Они зарубили двух серых, а остальных обезоружили, накинули им петли на шеи и выволокли на улицу.

Голос Муги умолк, но Румата еще долго сидел, опершись локтями на стол в ногах у Уно. Потом он тяжело поднялся, стер рукавом слезы, застрявшие в двухдневной щетине, поцеловал мальчика в ледяной лоб и, с трудом переставляя ноги, побрел наверх.

Он был полумертв от усталости и потрясения. Кое-как вскарабкавшись по лестнице, он прошел через гостиную, добрался до кровати и со стоном повалился лицом в подушки. Прибежала Кира. Он был так измучен, что даже не мог помочь ей раздеть себя. Она стащила с него ботфорты, потом, плача над его опухшим лицом, содрала с него рваный мундир, металлопластовую рубашку и еще поплакала над его избитым телом. Только теперь он почувствовал, что у него болят все кости, как после испытаний на перегрузку. Кира обтирала его губкой, смоченной в уксусе, а он, не открывая глаз, шипел сквозь стиснутые губы и бормотал: «А ведь мог его стукнуть... Рядом стоял... Двумя пальцами придавить... Разве это жизнь, Кира? Уедем отсюда... Это Эксперимент надо мной, а не над ними». Он даже не замечал, что говорит по-русски. Кира испуганно взглядала на него стеклянными от слез глазами и только молча целовала его в щеки. Потом она накрыла его изношенными простынями — Уно так и не собрался купить новые — и побежала вниз приготовить ему горячего вина, а он сполз с постели и, охая от ломающей тело боли, поплел ногами в кабинет, открыл в столе секретный ящичек, покопался в аптечке и принял несколько таблеток спо-

рамина. Когда Кира вернулась с дымящимся котелком на тяжелом серебряном подносе, он лежал на спине и слушал, как уходит боль, унимается шум в голове и тело наливается новой силой и бодростью. Опростав котелок, он почувствовал себя совсем хорошо, позвал Мугу и велел приготовить одеться.

— Не ходи, Румата, — сказала Кира. — Не ходи. Оставайся дома.

— Надо, маленькая.

— Я боюсь, останься... Тебя убьют.

— Ну что ты? С какой стати меня убивать? Они меня все боятся.

Она снова заплакала. Она плакала тихо, робко, как будто боялась, что он рассердится. Румата усадил ее к себе на колени и стал гладить ее волосы.

— Самое страшное позади, — сказал он. — И потом ведь мы собирались уехать отсюда...

Она затихла, прижалась к нему. Муга, тряся головой, равнодушно стоял рядом, держа наготове хозяйские штаны с золотыми бубенчиками.

— Но прежде нужно многое сделать здесь, — продолжал Румата. — Сегодня ночью многих убили. Нужно узнать, кто цел и кто убит. И нужно помочь спастись тем, кто собираются убить.

— А тебе кто поможет?

— Счастлив тот, кто думает о других... И потом нам с тобой помогают могущественные люди.

— Я не могу думать о других, — сказала она. — Ты вернулся чуть живой. Я же вижу: тебя били. Уно они убили совсем. Куда же смотрели твои могущественные люди? Почему они не помешали убивать? Не верю... Не верю...

Она попыталась высвободиться, но он крепко держал ее.

— Что поделаешь, — сказал он. — На этот раз они немного запоздали. Но теперь они снова следят за нами и берегут нас. Почему ты не веришь мне сегодня? Ведь ты всегда верила. Ты сама видела: я вернулся чуть живой, а взгляни на меня сейчас!..

— Не хочу смотреть, — сказала она, пряча лицо. — Не хочу опять плакать.

— Ну вот! Несколько царапин! Пустяки... Самое страшное позади. По крайней мере для нас с тобой. Но есть люди очень хорошие, замечательные, для которых этот ужас еще не кончился. И я должен им помочь.

Она глубоко вздохнула, поцеловала его в шею и тихонько высвободилась.

— Приходи сегодня вечером, — попросила она. — Придешь?

— Обязательно! — горячо сказал он. — Я приду раньше и, наверное, не один. Жди меня к обеду.

Она отошла в сторону, села в кресло и, положив руки на колени, смотрела, как он одевается. Румата, бормоча русские слова, натянул штаны с бубенчиками (Муга сейчас же опустился перед ним на корточки и принялся застегивать многочисленные пряжки и пуговки), вновь надел поверх чистой майки благословенную кольчугу и, наконец, сказал с отчаянием:

— Маленькая, ну пойми, ну, надо мне идти — что я могу поделать?! Не могу я не идти!

Она вдруг сказала задумчиво:

— Иногда я не могу понять, почему ты не бьешь меня.

Румата, застегивавший рубашку с пышными брыжками, застыл.

— То есть как это почему не бью? — растерянно спросил он. — Разве тебя можно бить?

— Ты не просто добрый, хороший человек, — продолжала она, не слушая. — Ты еще и очень странный человек. Ты словно архангел... Когда ты со мной, я делаюсь смелой. Сейчас вот я смелая... Когда-нибудь я тебя обязательно спрошу об одной вещи. Ты — не сейчас, а потом, когда все пройдет, — расскажешь мне о себе?

Румата долго молчал. Муга подал ему оранжевый камзол с краснолосыми бантиками. Румата с отвращением натянул его и тут же подпоясался.

— Да, — сказал он наконец. — Когда-нибудь я расскажу тебе все, маленькая.

— Я буду ждать, — сказала она серьезно. — А сейчас иди и не обращай на меня внимания.

Румата подошел к ней, крепко поцеловал в губы разбитыми губами, затем снял с руки железный браслет и протянул ей.

— Надень на левую руку, — сказал он. — Сегодня к нам в дом больные не должны приходить, но если придут — покажешь это.

Она смотрела ему вслед, и он точно знал, что она думает. Она думает: «Я не знаю, может быть, ты дьявол, или сын бога, или человек из сказочных заморских стран, но, если ты не вернешься, я умру». И оттого, что она молчала, он был ей бесконечно благодарен, так как уходить ему было необычайно трудно — словно с изумрудного солнечного берега он бросался вниз головой в зловонную лужу.

ГЛАВА 8

До канцелярии епископа Арканарского Румата добирался задами. Он крадучись проходил тесные дворики горожан, путаясь в развесенном для просушки тряпье, пролезал через дыры в заборах, оставляя на ржавых гвоздях роскошные банты и клочья драгоценных соанских кружев, на четвереньках пробегал между картофельными грядками. Все же ему не удалось ускользнуть от бдительного ока черного воинства. Выбравшись в узкий кривой переулок, ведущий к свалке, он столкнулся с двумя мрачными подыпывшими монахами.

Румата попытался обойти их — монахи вытащили мечи и заступили дорогу. Румата взялся за рукоятки мечей — монахи засвистели в три пальца, созывая подмогу. Румата стал отступать к лазу, из которого только что выбрался, но навстречу ему в переулок вдруг выскочил маленький юркий человечек с неприметным лицом. Задев Румату плечом, он подбежал к монахам и что-то сказал им, после чего монахи, подобрав рясы над голенастыми, обтянутыми сиреневым ногами, пустились рысью прочь и скрылись за домами. Маленький человечек, не обернувшись, засемнил за ними.

Понятно, подумал Румата. Шпион-телохранитель.

И даже не очень скрывается. Предусмотрителен епископ Арканарский. Интересно, чего он больше боится — меня или за меня? Проводив глазами шпиона, он повернулся к свалке. Свалка выходила на зады канцелярии бывшего министерства охраны короны и, надо было надеяться, не патрулировалась.

Переулок был пуст. Но уже тихо поскрипывали ставни, хлопали двери, плакал младенец, слышалось опналивое перешептывание. Из-за полусгнившей изгороди осторожно высунулось изможденное, худое лицо, темное от въевшейся сажи. На Румата уставились испуганные, ввалившиеся глаза.

— Прощения прошу, благородный дон, и еще прошу прощения. Не скажет ли благородный дон, что в городе? Я кузнец Кикус, по прозвищу Хромач, мне в кузню идти, а я боюсь...

— Не ходи, — посоветовал Румата. — Монахи не шутят. Короля больше нет. Правит дон Рэба, епископ Святого Ордена. Так что сиди тихо.

После каждого слова кузнец торопливо кивал, глаза его наливались тоской и отчаянием.

— Орден, значит... — пробормотал он. — Ах, холера... Прошу прощения, благородный дон. Орден, стало быть... Это что же, серые или как?

— Да нет, — сказал Румата, с любопытством его разглядывая. — Серых, пожалуй, перебили. Это монахи.

— Ух ты! — сказал кузнец. — И серых, значит, тоже... Ну и Орден! Серых перебили — это, само собой, хорошо. Но вот насчет нас, благородный дон, как вы полагаете? Приспособимся, а? Под Орденом-то, а?

— Отчего же? — сказал Румата. — Ордену тоже пить-есть надо. Приспособитесь.

Кузнец оживился.

— И я так полагаю, что приспособимся. Я полагаю, главное — никого не трогай, и тебя не тронут, а?

Румата покачал головой.

— Ну нет, — сказал он. — Кто не трогает, тех больше всего и режут.

— И то верно, — вздохнул кузнец. — Да только куда денешься... Один ведь как перст, да восемь соп-

ляков за штаны держатся. Эх, мать честная, хоть бы моего мастера прирезали! Он у серых в офицерах был. Как вы полагаете, благородный дон, могли его прирезать? Я ему пять золотых задолжал.

— Не знаю, — сказал Румата. — Возможно, и прирезали. Ты лучше вот о чем подумай, кузнец. Ты один, как перст, да таких перстов вас в городе тысяч десять.

— Ну? — сказал кузнец.

— Вот и думай, — сердито сказал Румата и пошел дальше.

Черта с два он чего-нибудь надумает. Рано ему еще думать. А казалось бы, чего проще: десять тысяч таких молотобойцев, да в ярости, кого хочешь раздавят в лепешку. Но ярости-то у них как раз еще нет. Один страх. Каждый за себя, один бог за всех.

Кусты бузины на окраине квартала вдруг зашевелились, и в переулок вполз дон Тамэо. Увидев Румата, он вскрикнул от радости, вскочил и, сильно пошатнувшись, двинулся навстречу, простирая к нему измазанные в земле руки.

— Мой благородный дон! — вскричал он. — Как я рад! Я вижу, вы тоже в канцелярию?

— Разумеется, мой благородный дон, — ответил Румата, ловко уклоняясь от объятий.

— Разрешите присоединиться к вам, благородный дон?

— Сочту за честь, благородный дон.

Они раскланялись. Очевидно было, что дон Тамэо как начал со вчерашнего дня, так по сю пору остановиться не может. Он извлек из широчайших желтых штанов стеклянную флягу тонкой работы.

— Не желаете ли, благородный дон? — учтиво предложил он.

— Благодарствуйте, — сказал Румата.

— Ром! — заявил дон Тамэо. — Настоящий ром из метрополии. Я заплатил за него золотой.

Они спустились к свалке и, зажимая носы, пошли шагать через кучи отбросов, трупы собак и зловонные лужи, кишящие белыми червями. В утрен-

нем воздухе стоял непрерывный гул мириад изумрудных мух.

— Вот странно, — сказал дон Тамэо, закрывая флягу, — я здесь никогда раньше не был.

Румата промолчал.

— Дон Рэба всегда восхищал меня, — сказал дон Тамэо. — Я был убежден, что он в конце концов свергнет ничтожного монарха, проложит нам новые пути и откроет сверкающие перспективы. — С этими словами он, сильно забрызгавшись, въехал ногой в желто-зеленую лужу и, чтобы не свалиться, ухватился за Румата. — Да! — продолжал он, когда они выбрались на твердую почву. — Мы, молодая аристократия, всегда будем с доном Рэбом! Наступило, наконец, желанное послабление. Посудите сами, дон Румата, я уже час хожу по переулкам и огородам, но не встретил ни одного серого. Мы смели серую нечисть с лица земли, и так сладко и вольно дышится теперь в возрожденном Арканаре! Вместо грубых лавочников, этих наглых хамов и мужиков, улицы полны слугами господними. Я видел: некоторые дворяне уже открыто прогуливаются перед своими домами. Теперь им нечего опасаться, что какой-нибудь невежа в навозном фартуке забрызгает их своей нечистой телегой. И уже не приходится прокладывать себе дорогу среди вчерашних мясников и галантейщиков. Осененные благословением великого Святого Ордена, к которому я всегда питал величайшее уважение и, не буду скрывать, сердечную нежность, мы приедем к неслыханному процветанию, когда ни один мужик не осмелится поднять глаза на дворянину без разрешения, подписанного окружным инспектором Ордена. Я несу сейчас докладную записку по этому поводу.

— Отвратительная вонь, — с чувством сказал Румата.

— Да, ужасная, — согласился дон Тамэо, закрывая флягу. — Но зато как вольно дышится в возрожденном Арканаре! И цены на вино упали вдвое...

К концу пути дом Тамэо осушил флягу до дна, швырнул ее в пространство и пришел в необычайное

возбуждение. Два раза он упал, причем во второй раз отказался чиститься, заявив, что многогрешен, грязен от природы и желает в таком виде предстать. Он снова и снова принимался во все горло цитировать свою докладную записку. «Крепко сказано! — воскликнул он. — Возьмите, например, вот это место, благородные доны: дабы воинчие мужики... А? Какая мысль!» Когда они выбрались на задний двор канцелярии, он рухнул на первого же монаха и, заплакавшись слезами, стал молить об отпущении грехов. Полузадохшийся монах яростно отбивался, пытаясь свистом звать на помощь, но дон Тамэо ухватил его за рясу, и они оба повалились на кучу отбросов. Румата их оставил и, удаляясь, еще долго слышал жалобный прерывистый свист и возгласы: «Дабы воинчие мужики!.. Бла-асловения!.. Всем сердцем!.. Нежность испытывал, нежность, понимаешь ты, мужицкая морда?»

На площади перед входом, в тени квадратной Беседой Башни, располагался отряд пеших монахов, вооруженных устрашающего вида узловатыми дубинками. Покойников убрали. От утреннего ветра на площади крутились желтые пыльные столбы. Под широкой конической крышей башни, как всегда, орали и ссорились вороны — там, с выступающих балок, свешивались вздернутые вниз головой. Башня была построена лет двести назад предком покойного короля исключительно для военных надобностей. Она стояла на прочном трехэтажном фундаменте, в котором хранились некогда запасы пищи на случай осады. Потом башню превратили в тюрьму. Но от землетрясения все перекрытия внутри обрушились, и тюрьму пришлось перенести в подвалы. В свое время одна из арканарских королев пожаловалась своему повелителю, что ей мешают веселиться вопли пытаемых, оглашающие округу. Августейший супруг приказал, чтобы в башне с утра и до ночи играл военный оркестр. С тех пор башня получила свое нынешнее название. Давно она уже представляла собой пустой каменный каркас, давно уже следственные камеры переместились во вновь открытые, самые нижние этажи фундамента, давно

уже не играл там никакой оркестр, а горожане все еще называли эту башню Веселой.

Обычно вокруг Веселой Башни бывало пустынно. Но сегодня здесь царило большое оживление. К ней вели, тащили, волокли по земле штурмовиков в изодраных серых мундирах, вшивых бродяг в лохмотьях, полуодетых, пупырчатых от страха горожан, истощно воявших девок, целыми бандами гнали угрюмо озирающихся оборванцев из ночной армии. И тут же из каких-то потайных выходов вытаскивали крючьями трупы, валили на телеги и увозили за город. Хвост длиннейшей очереди дворян и зажиточных горожан, торчащий из отверстых дверей канцелярии, со страхом и смятением поглядывал на эту жуткую суету.

В канцелярию пускали всех, а некоторых даже приводили под конвоем. Румата протолкался внутрь. Там было душно, как на свалке. За широким столом, обложившись списками, сидел чиновник с желто-серым лицом, с большим гусиным пером за оттопыренным ухом. Очередной проситель, благородный дон Кэу, спесиво надувая усы, назвал свое имя.

— Снимите шляпу, — произнес бесцветным голосом чиновник, не отрывая глаз от бумаг.

— Род Кэу имеет привилегию носить шляпу в присутствии самого короля, — гордо провозгласил дон Кэу.

— Никто не имеет привилегий перед Орденом, — тем же бесцветным голосом произнес чиновник.

Дон Кэу запыхтел, багровея, по шляпу снял. Чиновник вел по списку длинным желтым ногтем.

— Дон Кэу... дон Кэу... — бормотал он, — дон Кэу... Королевская улица, дом двенадцать?

— Да, — жирным раздраженным голосом сказал дон Кэу.

— Номер четыреста восемьдесят пять, брат Тибак.

Брат Тибак, сидевший у соседнего стола, грузный, малиновый от духоты, поискав в бумагах, стер с лысины пот и монотонно прочел, поднявшись:

— «Номер четыреста восемьдесят пять, дон Кэу, Королевская, двенадцать, за поношение имени его

преосвященства епископа Арканарского дона Рэбы, имевшее место на дворцовом балу в позапрошлом году, назначается три дюжины розг по обнаженным мягким частям с целованием ботинка его преосвященства».

Брат Тибак сел.

— Пройдите по этому коридору, — сказал чиновник бесцветным голосом, — розги направо, ботинок налево. Следующий...

К огромному изумлению Руматы, дон Кэу не протестовал. Видимо, он уже всякого насмотрелся в этой очереди. Он только крякнул, с достоинством поправил усы и удалился в коридор. Следующий, трясущийся от жира гигантский дон Пифа, уже стоял без шляпы.

— Дон Пифа... дон Пифа... — забубнил чиновник, ведя пальцем по списку. — Улица Молочников, дом два?

Дон Пифа издал горловой звук.

— Номер пятьсот четыре, брат Тибак.

Брат Тибак снова утерся и снова встал.

— Номер пятьсот четыре, дон Пифа, Молочников, два, ни в чем не замечен перед его преосвященством — следовательно, чист.

— Дон Пифа, — сказал чиновник, — получите знак очищения. — Он наклонился, достал из сундука, стоящего возле кресла, железный браслет и подал его благородному Пифе. — Носить на левой руке, предъявлять по первому требованию воинов Ордена. Следующий...

Дон Пифа издал горловой звук и отошел, разглядывая браслет. Чиновник уже бубнил следующее имя. Румата оглядел очередь. Тут было много знакомых лиц. Некоторые были одеты привычно богато, другие явно прибеднялись, но все были основательно измазаны в грязи. Где-то в середине очереди громко, так, чтобы все слышали, дон Сэра уже третий раз за последние пять минут провозглашал: «Не вижу, почему бы даже благородному дону не принять пару розг от имени его преосвященства!»

Румата подождал, пока следующего отправили в коридор (это был известный рыботорговец, ему на-

значили пять розог без целования за невосторженный образ мыслей), протолкался к столу и бесцеремонно положил ладонь на бумаги перед чиновником.

— Прошу прощения, — сказал он. — Мне нужен приказ на освобождение доктора Будаха. Я дон Румата.

Чиновник не поднял головы.

— Дон Румата... дон Румата... — забормотал он и, отпихнув руку Румата, повел ногтем по списку.

— Что ты делаешь, старая чернильница? — сказал Румата. — Мне нужен приказ на освобождение!

— Дон Румата... дон Румата... — Остановить этот автомат было, видимо, невозможно. — Улица Котельщиков, дом восемь. Номер шестнадцать, брат Тибак.

Румата чувствовал, что за его спиной все затаили дыхание. Да и самому ему, если признаться, стало не по себе. Потный и малиновый брат Тибак встал.

— Номер шестнадцать, дон Румата, Котельщиков восемь, за специальные заслуги перед Орденом удостоен особой благодарности его преосвященства и благоволит получить приказ об освобождении доктора Будаха, с каковым Будахом поступит по своему усмотрению — смотри лист шесть — семнадцать — одиннадцать.

Чиновник немедленно извлек этот лист из-под списков и протянул Румате.

— В желтую дверь, на второй этаж, комната шесть, прямо по коридору направо и налево, — сказал он. — Следующий...

Румата просмотрел лист. Это не был приказ на освобождение Будаха. Это было основание для получения пропуска в пятый, специальный отдел канцелярии, где ему надлежало взять предписание в секретариат тайных дел.

— Что ты мне дал, дубина? — спросил Румата. — Где приказ?

— В желтую дверь, на второй этаж, комната шесть, прямо по коридору направо и налево, — повторил чиновник.

— Я спрашиваю, где приказ? — рявкнул Румата.

— Не знаю... не знаю... Следующий!

Над ухом Руматы послышалось сопение, и что-то мягкое и жаркое навалилось ему на спину. Он отстриялся. К столу снова протиснулся дон Пифа.

— Не лезет, — сказал он пискляво.

Чиновник мутно поглядел на него.

— Имя? Звание? — спросил он.

— Не лезет, — снова сказал дон Пифа, дергая браслет, едва налезающий на три жирных пальца.

— Не лезет... не лезет... — пробормотал чиновник и вдруг быстро притянул к себе толстую книгу, лежащую справа на столе. Книга была зловещего вида — в черном засаленном переплете. Несколько секунд дон Пифа оторопело смотрел на нее, потом вдруг отшатнулся и, не говоря ни слова, устремился к выходу. В очереди загомонили: «Не задерживайтесь, быстрее!» Румата тоже отошел от стола. Вот это трясина, подумал он. Ну, я вас... Чиновник принялся бубнить в пространство: «Если же указанный знак очищения не помечается на левом запястье очищенного или ежели очищенный не имеет левого запястья как такового...» Румата обошел стол, запустил обе руки в сундук с браслетами, захватил, сколько мог, и пошел прочь.

— Эй, эй, — без выражения окликнул его чиновник. — Основание!

— Во имя господа, — значительно сказал Румата, оглянувшись через плечо. Чиновник и брат Тибак дружно встали и нестройно ответили: «Именем его». Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением.

Выходя из канцелярии, Румата медленно направился к Веселой Башне, защелкивая по дороге браслеты на левой руке. Браслетов оказалось девять, и на левой руке уместилось только пять. Остальные четыре Румата нацепил на правую руку. На измор хотел меня взять епископ Арканарский, думал он. Не выйдет. Браслеты звякали на каждом шагу, в руке Румата держал на виду внушительную бумагу — лист шесть — семнадцать — одиннадцать, украшенный разноцветными печатями. Встречные монахи, пе-

шие и конные, торопливо сворачивали с дороги. В толпе на почтительном расстоянии то появлялся, то исчезал неприметный шпион-телохранитель. Румата, немилосердно колотя замешкавшихся пожнами мечей, пробрался к воротам, грозно рыкнул на сунувшегося было стражника и, миновав двор, стал спускаться по ослизлым, выщербленным ступеням в озаренный коптящими факелами полумрак. Здесь начиналась святая святых бывшего министерства охраны короны — королевская тюрьма и следственные камеры.

В сводчатых коридорах через каждые десять шагов торчал из ржавого гнезда в стене смердящий факел. Под каждым факелом в нише, похожей на пещеру, чернела дверца с зарешеченным окошечком. Это были входы в тюремные помещения, закрытые снаружи тяжелыми железными засовами. В коридорах было полно народа. Толкались, бегали, кричали, командовали... Скрипели засовы, хлопали двери, кого-то били, и он вопил, кого-то волокли, и он упирался, кого-то заталкивали в камеру, и без того набитую до отказа, кого-то пытались из камеры вытянуть и никак не могли, он истошно кричал: «Не я, не я!» — и цеплялся за соседей. Лица встречных монахов были деловиты до ожесточенности. Каждый спешил, каждый творил государственной важности дела. Румата, пытаясь разобраться, что к чему, не торопливо проходил коридор за коридором, спускаясь все ниже и ниже. В нижних этажах было поспокойнее. Здесь, судя по разговорам, экзаменовались выпускники Патриотической школы. Полуголые грудастые недоросли в кожаных передниках стояли кучками у дверей пыточных камер, листали засаленные руководства и время от времени подходили пить воду к большому баку с кружкой на цепи. Из камер доносились ужасные крики, звуки ударов, густо тянуло горелым. И разговоры, разговоры!..

— У костоломки есть такой винт сверху, так он сломался. А я виноват? Он меня выпер. «Дубина, — говорит, — стоеросовая, получи, — говорит, — пять по мягкому и опять приходи...»

— А вот узнать бы, кто сечет, может, напи же брат студент и счет. Так договориться заранее, гропней по пять с носу собрать и сунуть...

— Когда жиру много, накалять зубец не след, все одно в жиру остынет. Ты щипчики возьми и сало слегка отдерни...

— Так ведь поножи господа бога для ног, они пошире будут и на клиньях, а перчатки великомученицы — на винтах, это для руки специально, понял?

— Смехота, братья! Захожу, гляжу — в цепях то кто? Фика Рыжий, мясник с нашей улицы, уши мне все пьяный рвал. Ну, держись, думаю, уж порадуюсь я...

— А Пэкора Губу как с утра монахи уволосили, так и не вернулся. И на экзамен не пришел.

— Эх, мне бы мясокрутку применить, а я его сдуру ломиком по бокам, ну, сломал ребро. Тут отец Кин меня за виски, сапогом под копчик, да так точно, братья, скажу вам — света я невзвидел, до се больно. «Ты что, — говорит, — мне матерьял портишь?»

Смотрите, смотрите, друзья мои, думал Румата, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Это не теория. Этого никто из людей еще не видел. Смотрите, слушайте, кинографируйте... и цените, и любите, черт вас возьми, свое время, и поклонитесь памяти тех, кто прошел через это! Вглядывайтесь в эти морды, молодые, тупые, равнодушные, привычные ко всякому зверству, да не воротите нос, ваши собственные предки были не лучше...

Его заметили. Десяток пар всякого повидавших глаз уставился на него.

— Во, дон стоят. Побелели весь.

— Хе... Так благородные, известно, не в привычку...

— Воды, говорят, в таких случаях дать, да цепь коротка, не дотянуть...

— Чего там, оклемаются...

— Мне бы такого... Такие про что спросишь, про то и ответят...

— Вы, братья, потише, не то как рубанет... Колец-то сколько... Й бумага.

— Как-то они на нас уставились... Отойдем, братья, от греха.

Они группой стронулись с места, отошли в тень и оттуда поблескивали осторожными паучьими глазками. Ну, хватит с меня, подумал Румата. Он примерился было поймать за рясу пробегающего монаха, но тут заметил сразу трех, не суяящихся, а занятых делом на месте. Они лупили палками палача: видимо, за нерадивость. Румата подошел к ним.

— Во имя господа, — негромко сказал он, брякнув кольцами.

Монахи опустили палки, присмотрелись.

— Именем его, — сказал самый рослый.

— А ну, отцы, — сказал Румата, — проводите к коридорному смотрителю.

Монахи переглянулись. Палач проворно отполз и спрятался за баком.

— А он тебе зачем? — спросил рослый монах.

Румата молча поднял бумагу к его лицу, подержал и опустил.

— Ага, — сказал монах. — Ну, я нынче буду коридорный смотритель.

— Превосходно, — сказал Румата и свернул бумагу в трубку. — Я дон Румата. Его преосвященство подарил мне доктора Будаха. Ступай и приведи его.

Монах сунул руку под клубок и громко поскребся.

— Будах? — сказал он раздумчиво. — Это который же Будах? Растильтель, что ли?

— Не, — сказал другой монах. — Растильтель — тот Рудах. Его и выпустили еще ночью. Сам отец Кин его расковал и наружу вывел. А я...

— Вздор, вздор! — нетерпеливо сказал Румата, похлопывая себя бумагой по бедру. — Будах. Королевский отравитель.

— А-а... — сказал смотритель. — Знаю. Так он уже на колу, наверное... Брат Панка, сходи в двенадцатую, посмотри. А ты что, выводить его будешь? — обратился он к Румате.

— Естественно, — сказал Румата. — Он мой.

— Тогда бумажечку позволь сюда. Бумажечка в дело пойдет. — Румата отдал бумагу.

Смотритель повертел ее в руках, разглядывая печати, затем сказал с восхищением:

— Ну и пишут же люди! Ты, дон, постой в сторонке, подожди, у нас тут пока дело... Э, а куда этот-то подевался?

Монахи стали озираться, ища провинившегося палача. Румата отошел. Палача вытащили из-за бака, снова разложили на полу и принялись деловито, без излишней жестокости пороть. Минут через пять из-за поворота появился посланный монах, таща за собой на веревке худого, совершенно седого старика в темной одежде.

— Вот он, Будах-то! — радостно закричал монах еще издали. — И ничего он не на колу, живой Будах-то, здоровый! Маленько ослабел, правда, давно, видать, голодный сидит...

Румата шагнул им навстречу, вырвал веревку из рук монаха и снял петлю с шеи старика.

— Вы Будах Ируканский? — спросил он.

— Да, — сказал старик, глядя исподлобья.

— Я Румата, идите за мной и не отставайте. — Румата повернулся к монахам. — Во имя господа, — сказал он.

Смотритель разогнул спину и, опустив палку, отвел чуть задыхаясь: «Именем его».

Румата поглядел на Будаха и увидел, что старик держится за стену и еле стоит.

— Мне плохо, — сказал он, болезненно улыбаясь. — Извините, благородный дон.

Румата взял его под руку и повел. Когда монахи скрылись из виду, он остановился, достал из ампулы таблетку спорамина и протянул Будаху. Будах вопросительно взглянул на него.

— Проглотите, — сказал Румата. — Вам сразу станет легче.

Будах, все еще опираясь на стену, взял таблетку, осмотрел, понюхал, поднял косматые брови, потом осторожно положил на язык и почмокал.

— Глотайте, глотайте, — с улыбкой сказал Румата.

Будах проглотил.

— М-м-м... — произнес он. — Я полагал, что знаю о лекарствах все. — Он замолчал, прислушиваясь к своим ощущениям. — М-м-м! — сказал он. — Любопытно! Сущеная селезенка веяря Ы? Хотя нет, вкус не гнилостный.

— Пойдемте, — сказал Румата.

Они пошли по коридору, поднялись по лестнице, миновали еще один коридор и поднялись еще по одной лестнице. И тут Румата остановился как вкопанный. Знакомый густой рев огласил тюремные своды. Где-то в недрах тюрьмы орал во всю мочь, сыпля чудовищными проклятиями, понося бога, святых, преисподнюю, Святой Орден, дона Рэбу и еще многое другое, душевный друг барон Пампа дон Бау-но-Суруга-но-Гатта-но-Арканара. Все-таки попался барон, подумал Румата с раскаянием. Я совсем забыл о нем. А он бы обо мне не забыл... Румата поспешил снял с руки два браслета, надел на худые запястья доктора Будаха и сказал:

— Поднимайтесь наверх, но за ворота не выходите. Ждите где-нибудь в сторонке. Если пристанут, покажите браслеты и держитесь нагло.

Барон Пампа ревел, как атомоход в полярном тумане. Гулкое эхо катилось под сводами. Люди в коридорах застыли, благоговейно прислушиваясь с раскрытыми ртами. Многие омахивались большим пальцем, отгоняя нечистого. Румата скатился по двум лестницам, сбивая с ног встречных монахов, ножнами мечей проложил себе дорогу сквозь толпу выпускников и пинком распахнул дверь камеры, прогибающуюся от рева. В мятущемся свете факелов он увидел друга Пампу: могучий барон был распят голый на стene вниз головой. Лицо его почернело от прилившей крови. За кривоватым столиком сидел, заткнув уши, сутулый чиновник, а лоснящийся от пота палач, чем-то похожий на дантиста, перебирал в железном тазу лязгающие инструменты.

Румата аккуратно закрыл за собой дверь, подошел сзади к палачу и ударил его рукояткой меча по затылку. Палач повернулся, охватил голову и сел в таз. Румата извлек из ножен меч и перерубил стол

с бумагами, за которым сидел чиновник. Все было в порядке. Палач сидел в тазу, слабо икая, а чиновник очень проворно убежал на четвереньках в угол и прилег там. Румата подошел к барону, с радостным любопытством глядевшему на него снизу вверх, взялся за цепи, державшие баронские ноги, и в два рывка вырвал их из стены. Затем он осторожно поставил ноги барона на пол. Барон замолчал, застыл в странной позе, затем рванулся и освободил руки.

— Могу ли я поверить, — снова загремел он, вращая налитыми кровью белками, — что это вы, мой благородный друг?! Наконец-то я нашел вас!

— Да, это я, — сказал Румата. — Пойдемте отсюда, мой друг, вам здесь не место.

— Пива! — сказал барон. — Где-то здесь было пиво. — Он пошел по камере, водя обрывки цепей и не переставая громыхать. — Полночи я бегал по городу! Черт возьми, мне сказали, что вы арестованы, и я перебил массу народу! Я был уверен, что найду вас в этой тюрьме! А, вот оно!

Он подошел к палачу и смахнул его, как пыль, вместе с тазом. Под тазом обнаружился бочонок. Барон кулаком выбил дно, поднял бочонок и опрокинул его над собой, задрав голову. Струя пива с клокотанием устремилась в его глотку. Что за прелесть, думал Румата, с нежностью глядя на барона. Казалось бы, бык, безмозглый бык, но ведь искал же меня, хотел спасти, ведь пришел, наверное, сюда в тюрьму за мной, сам... Нет, есть люди и в этом мире, будь он проклят... Но до чего удачно получилось!

Барон осушил бочонок и пивирнулся в угол, где шумно дрожал чиновник. В углу пискнуло.

— Ну вот, — сказал барон, вытирая бороду ладонью. — Теперь я готов следовать за вами. Это ничего, что я голый?

Румата огляделся, подошел к палачу и вытряхнул его из фартука.

— Возьмите пока это, — сказал он.

— Вы правы, — сказал барон, обвязывая фартук

вокруг чресел. — Было бы неудобно явиться к баронессе голым...

Они вышли из камеры. Ни один человек не решился заступить им дорогу, коридор пустел за двадцать шагов.

— Я их всех разнесу, — ревел барон. — Они заняли мой замок! И посадили там какого-то отца Ариму! Не знаю, чей он там отец, но дети его, клянусь господом, скоро осиротеют. Черт побери, мой друг, вы не находите, что здесь удивительно низкие потолки? Я исцарапал всю макушку...

Они вышли из башни. Мелькнул перед глазами и шарахнулся в толпу шпион-телохранитель. Румата дал Будаху знак следовать за ними. Толпа у ворот раздалась, как будто ее рассекли мечом. Было слышно, как одни кричат, что сбежал важный государственный преступник, а другие, что «вот он, Голый Дьявол, знаменитый эсторский палач-расчленитель».

Барон вышел на середину площади и остановился, морщась от солнечного света. Следовало торопиться. Румата быстро огляделся.

— Где-то тут была моя лошадь, — сказал барон. — Эй, кто там! Коня!

У коновязи, где топтались лошади орденской кавалерии, возникла суeta.

— Не ту! — рявкнул барон. — Вот ту — серую в яблоках!

— Во имя господа! — запоздало крикнул Румата и потащил через голову перевязь с правым мечом.

Испуганный монашек в замаранной рясе подвел барону лошадь.

— Дайте ему что-нибудь, дон Румата, — сказал барон, тяжело поднимаясь в седло.

— Стой, стой! — закричали у башни.

Через площадь, размахивая дубинками, бежали монахи. Румата сунул барону меч.

— Торопитесь, барон, — сказал он.

— Да, — сказал Пампа. — Надо спешить. Этот Арима разграбит мой погреб. Я жду вас у себя завтра или послезавтра, мой друг. Что передать баронессе?

— Поцелуйте ей руку, — сказал Румата. Монахи уже были совсем близко. — Скорее, скорее, барон!..

— Но вы-то в безопасности? — с беспокойством осведомился барон.

— Да, черт возьми, да! Вперед!

Барон бросил коня в галоп, прямо на толпу монахов. Кто-то упал и покатился, кто-то заверещал, поднялась пыль, простучали копыта по каменным плитам — и барон исчез. Румата смотрел в переулок, где сидели, ошалело тряся головами, сбитые с ног, когда вкрадчивый голос произнес над его ухом:

— Мой благородный дон, а не кажется ли вам, что вы слишком много себе позволяете?

Румата обернулся. В лицо ему с несколько напряженной улыбкой пристально глядел дон Рэба.

— Слишком много? — переспросил Румата. — Мне не знакомо это слово — «слишком». — Он вдруг вспомнил дона Сэра. — И вообще не вижу, почему бы одному благородному дону не помочь другому в беде.

Мимо, уставив пики, тяжко проскакали всадники — в погоню. В лице дона Рэбы что-то изменилось.

— Ну хорошо, — сказал он. — Не будем об этом... О, я вижу здесь высокоучченого доктора Будаха... Вы прекрасно выглядите, доктор. Мне придется обревизовать свою тюрьму. Государственные преступники, даже отпущеные на свободу, не должны выходить из тюрьмы — их должны выносить.

Доктор Будах, как слепой, двинулся на него. Румата быстро встал между ними.

— Между прочим, дон Рэба, — сказал он, — как вы относитесь к отцу Ариме?

— К отцу Ариме? — Дон Рэба высоко поднял брови. — Прекрасный военный. Занимает видный пост в моей епископии. А в чем дело?

— Как верный слуга вашего преосвященства, — кланяясь, с острым злорадством сказал Румата, — спешу сообщить вам, что этот видный пост вы можете считать вакантным.

— Но почему?

Румата посмотрел в переулок, где еще не рассеялась желтая пыль. Дон Рэба тоже посмотрел туда. На лице его появилось озабоченное выражение.

Было уже далеко за полдень, когда Кира пригласила благородного господина и его высокоученого друга к столу. Доктор Будах, отмывшись, переодетый во все чистое, тщательно побритый, выглядел очень внушительно. Движения его оказались медлительны и исполнены достоинства, умные серые глаза смотрели благосклонно и даже снисходительно. Прежде всего он извинился перед Руматой за свою вспышку на площади. «Но вы должны меня понять, — говорил он. — Это страшный человек. Это оборотень, который явился на свет только упущением божьим. Я врач, но мне не стыдно признаться, что при случае я охотно умертвил бы его. Я слыхал, что король отправлен. И теперь я понимаю, чем он отправлен (Румата насторожился). Этот Рэба явился ко мне в камеру и потребовал, чтобы я составил для него яд, действующий в течение нескольких часов. Разумеется, я отказался. Он пригрозил мне пытками — я засмеялся ему в лицо. Тогда этот негодяй крикнул палачей, и они привели ему с улицы дюжину мальчиков и девочек не старше десяти лет. Он поставил их передо мной, раскрыл мой мешок со снадобьями и объявил, что будет пробовать на этих детях все снадобья подряд, пока не найдет нужное. Вот как был отправлен король, дон Румата...» Губы Будаха начали подергиваться, но он взял себя в руки. Румата, деликатно отвернувшись, кивал. Понятно, думал он. Все понятно. Из рук своего министра король не взял бы и огурца. И мерзавец подсунул королю какого-то шарлатанчика, которому был обещан титул лейб-знахаря за излечение короля. И понятно, почему Рэба так возликовал, когда я обличал его в королевской опочивальне: трудно было придумать более удобный способ подсунуть королю лже-Будаха. Вся ответственность падала на Румату Эсторского, ируканского шпиона и заговорщика. Щенки мы, подумал он. В Институте надо специаль-

но ввести курс феодальной интриги. И успеваемость оценивать в рэбах. Лучше, конечно, в децирэбах. Впрочем, куда там...

По-видимому, доктор Будах был очень голоден. Однако он мягко, но решительно отказался от животной пищи и почтил своим вниманием только салаты и пирожки с вареньем. Он выпил стакан эсторского, глаза его заблестели, на щеках появился здоровый румянец. Румата есть не мог. Перед глазами у него трещали и чадили багровые факелы, отовсюду несло горелым мясом, и в горле стоял клубок величиною с кулак. Поэтому, ожидая, пока гость насытится, он стоял у окна, ведя вежливую беседу, медлительную и спокойную, чтобы не мешать гостю жевать.

Город постепенно оживал. На улице появились люди, голоса становились все громче, слышался стук молотков и треск дерева — с крыши и со стен сбивали языческие изображения. Толстый лысый лавочник прокатил тележку с бочкой пива — продавать на площади по два гроша за кружку. Горожане приспособливались. В подъезде напротив, ковыряя в носу, болтал с тощей хозяйкой маленький шпион-телохранитель. Потом под окном поехали подводы, нагруженные до второго этажа. Румата сначала не понял, что это за подводы, а потом увидел синие и черные руки и ноги, торчащие из-под рогож, и поспешно отошел к столу.

— Сущность человека, — неторопливо жуя, говорил Будах, — в удивительной способности привыкать ко всему. Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не притерпелся. Ни лошадь, ни собака, ни мышь не обладают таким свойством. Вероятно, бог, создавая человека, догадывался, на какие муки его обрекает, и дал ему огромный запас сил и терпения. Затруднительно сказать, хорошо это или плохо. Не будь у человека такого терпения и выносливости, все добрые люди давно бы уже погибли, и на свете остались бы злые и бездушные. С другой стороны, привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои ничем, кроме ана-

томии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день рождает новый ужас зла и насилия...

Румата поглядел на Киру. Она сидела напротив Будаха и слушала, не отрываясь, подперев щеку кулаком. Глаза у нее были грустные: видно, ей было очень жалко людей.

— Вероятно, вы правы, почтенный Будах, — сказал Румата. — Но возьмите меня. Вот я — простой благородный дон (у Будаха высокий лоб пошел морщинами, глаза удивленно и весело округлились), я безмерно люблю ученых людей, это дворянство духа. И мне невдомек, почему вы, хранители и единственные обладатели высокого знания, так безнадежно пассивны? Почему вы безропотно даете себя презирать, бросать в тюрьмы, сжигать на кострах? Почему вы отрываете смысл своей жизни — добывание знаний — от практических потребностей жизни — борьбы против зла?

Будах отодвинул от себя опустевшее блюдо из под пирожков.

— Вы задаете странные вопросы, дон Румата, — сказал он. — Забавно, что те же вопросы задавал мне благородный дон Гуг, постельничий нашего герцога. Вы знакомы с ним? Я так и подумал... Борьба со злом! Но что есть зло? Всякому вольно понимать это по-своему. Для нас, ученых, зло в невежестве, но церковь учит, что невежество — благо, а все зло от знания. Для землепашца зло — налоги и засухи, а для хлеботорговца засухи — добро. Для рабов зло — это пьяный и жестокий хозяин, для ремесленника — алчный ростовщик. Так что же есть зло, против которого надо бороться, дон Румата? — Он грустно оглядел слушателей. — Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. И всегда будут короли, более или менее жестокие, бароны, более или менее дикие, и всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободи-

телю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Таковы люди, дон Румата, и таков наш мир.

— Мир все время меняется, доктор Будах, — сказал Румата. — Мы знаем время, когда королей не было...

— Мир не может меняться вечно, — возразил Будах, — ибо ничто не вечно, даже перемены... Мы не знаем законов совершенства, но совершенство рано или поздно достигается. Взгляните, например, как устроено наше общество. Как радует глаз эта четкая, геометрически правильная система! Внизу крестьяне и ремесленники, над ними дворянство, затем духовенство и, наконец, король. Как все продумано, какая устойчивость, какой гармонический порядок! Чему еще меняться в этом отточенном кристалле, вышедшем из рук небесного ювелира? Нет зданий прочнее пирамидальных, это вам скажет любой знающий архитектор. — Он поучащаще поднял палец. — Зерно, высыпаемое из мешка, не ложится ровным слоем, но образует так называемую коническую пирамиду. Каждое зернышко цепляется за другое, стараясь не скатиться вниз. Так же и человечество. Если оно хочет быть неким целым, люди должны цепляться друг за друга, неизбежно образуя пирамиду.

— Неужели вы серьезно считаете этот мир совершенным? — удивился Румата. — После встречи с доном Рэбом, после тюрьмы...

— Мой молодой друг, ну конечно же! Мне многое не нравится в мире, многое я хотел бы видеть другим... Но что делать? В глазах высших сил совершенство выглядит иначе, чем в моих. Какой смысл дереву сетовать, что оно не может двигаться, хотя оно и ради было бы, наверное, бежать со всех ног от топора дровосека?

— А что, если бы можно было изменить высшие предназначения?

— На это способны только высшие силы...

— Но все-таки, представьте себе, что вы бог...

Будах засмеялся.

— Если я бы мог представить себя богом, я бы стал им!

— Ну, а если бы вы имели возможность посоветовать богу?

— У вас богатое воображение, — с удовольствием сказал Будах. — Это хорошо. Вы грамотны? Прекрасно! Я бы с удовольствием позанимался с вами...

— Вы мне льстите... Но что же вы все-таки посоветовали бы всемогущему? Что, по-вашему, следовало бы сделать всемогущему, чтобы вы сказали: вот теперь мир добр и хороший?

Будах, одобрительно улыбаясь, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Кира жадно смотрела на него.

— Что ж, — сказал он, — извольте. Я сказал бы всемогущему: «Создатель, я не знаю твоих планов, может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого! Так просто этого достигнуть! Дай людям вволю хлеба, мяса и вина, дай им кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей».

— И это все? — спросил Румата.

— Вам кажется, что этого мало?

Румата покачал головой.

— Бог ответил бы вам: «Не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими».

— Я бы попросил бога оградить слабых. «Вразуми жестоких правителей», — сказал бы я.

— Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их.

Будах перестал улыбаться.

— Накажи жестоких, — твердо сказал он, — чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым.

— Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место зай-

мут сильные из слабых. Тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого.

— Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им.

— И это не пойдет людям на пользу, — вздохнул Румата, — ибо когда получат они все даром, без трудов, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно.

— Не давай им всего сразу! — горячо сказал Будах. — Давай понемногу, постепенно!

— Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится.

Будах неволко засмеялся.

— Да, я вижу, это не так просто, — сказал он. — Я как-то не думал раньше о таких вещах... Кажется, мы с вами перебрали все. Впрочем, — он подался вперед, — есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание, чтобы труд и знание стали единственным смыслом их жизни!

Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата. Массовая гипноиндукация, позитивная реморализация. Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках...

— Я мог бы сделать и это, — сказал он. — Но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?

Будах, сморщив лоб, молчал обдумывая. Румата ждал. За окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будах тихо проговорил:

— Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными... или, еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой.

— Сердце мое полно жалости, — медленно сказал Румата. — Я не могу этого сделать.

И тут он увидел глаза Кирьи. Кира глядела на него с ужасом и надеждой.

ГЛАВА 9

Уложив Будаха отдохнуть перед дальней дорогой, Румата направился к себе в кабинет. Действие спорамина кончалось, он снова чувствовал себя усталым и разбитым, снова заныли ушибы и стали вспухать изуродованные веревкой запястья. Надо поспать, думал он, надо обязательно поспать, и надо связаться с доном Кондором. И надо связаться с патрульным дирижаблем, пусть сообщат на Базу. И надо прикинуть, что мы теперь должны делать, и можем ли мы что-нибудь сделать, и как быть, если мы ничего больше не сможем сделать.

В кабинете за столом сидел, сгорбившись в кресле, положив руки на высокие подлокотники, черный монах в низко надвинутом капюшоне. Ловко, подумал Румата.

— Кто ты такой? — устало спросил он. — Кто тебя пустил?

— Добрый день, благородный дон Румата, — произнес монах, откидывая капюшон.

Румата покачал головой.

— Ловко! — сказал он. — Добрый день, славный Арат. Почему вы здесь? Что случилось?

— Все как обычно, — сказал Арат. — Армия разбрелась, все делят землю, на юг идти никто не хочет. Герцог собирает недорезанных и скоро развесит моих мужиков вверх ногами вдоль Эсторского тракта. Все как обычно, — повторил он.

— Понятно, — сказал Румата.

Он повалился на кушетку, заложил руки за голову и стал смотреть на Арату. Двадцать лет назад, когда Антоя мастерил модельки и играл в Вильгельма Телля, этого человека звали Аратой Красивым, и был он тогда, вероятно, совсем не таким, как сейчас.

Не было у Араты Красивого на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма — оно появилось после мятежа соанских корабельщиков, когда три тысячи голых рабов-ремесленников, согнанных на соанские верфи со всех концов империи и замордованных до потери инстинкта самосохранения,

в одну ненастную ночь вырвались из порта, прокатились по Соану, оставляя за собой трупы и пожары, и были встречены на окраине закованной в латы имперской пехотой...

И были, конечно, у Араты Красивого цепы оба глаза. Правый глаз выскочил из орбиты от молодецкого удара баронской булавы, когда двадцати четырнадцатая крестьянская армия, гоняясь по метрополии за баронскими дружинами, сшиблась в открытом поле с пятнадцати тысячной гвардией императора, была молниеносно разрезана, окружена и выпотапана шипастыми подковами боевых верблюдов...

И был, наверное, Араты Красивый строен как тополь. Горб и новое прозвище он получил после вилланской войны в герцогстве Убанском за два моря отсюда, когда после семи лет мора и засух четыреста тысяч живых скелетов вилами и оглоблями перебили дворян и осадили герцога Убанского в его резиденции; и герцог, слабый ум которого обострился от невыносимого ужаса, объявил подданным прощение, впятеро снизил цены на хмельные напитки и пообещал вольности; и Араты, уже видя, что все кончено, умолял, требовал, заклинал не поддаваться на обман, был взят атаманами, полагавшими, что от добра добра не ищут, избит железными палками и брошен умирать в выброшенную яму...

А вот это массивное железное кольцо на правом запястье было у него, наверное, еще когда он назывался Красивым. Оно было приковано цепью к веслу пиратской галеры, и Араты расклепал цепь, ударили этим кольцом в висок капитана Эгу Любезника, захватил корабль, а потом и всю пиратскую армаду и попытался создать вольную республику на воде... И кончилась эта затея пьяным кровавым безобразием, потому что Араты тогда был молод, не умел ненавидеть и считал, что одной лишь свободы достаточно, чтобы уподобить раба богу...

Это был профессиональный бунтовщик, метитель божьей милостью, в средние века фигура довольно редкая. Таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омыты, чтобы не

дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон... Араты был здесь единственным человеком, к которому Румата не испытывал ни ненависти, ни жалости, и в своих горячечных снах землянина, прожившего пять лет в крови и вони, он часто видел себя именно таким вот Аратой, прошедшем все ады вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, пытать налачей и предавать предателей...

— Иногда мне кажется, — сказал Араты, — что все мы бессильны. Я вечный главарь мятежников, и я знаю, что вся моя сила в необыкновенной живучести. Но эта сила не помогает моему бессилию. Мои победы волшебным образом обрачиваются поражениями. Мои боевые друзья становятся врагами, самые храбрые бегут, самые верные предают или умирают. И нет у меня ничего, кроме голых рук, а голыми руками не достанешь раззолоченных идов, сидящих за крепостными стенами...

— Как вы очутились в Арканаре? — спросил Румата.

— Приплыли с монахами.

— Вы с ума сошли. Вас же так легко опознать...

— Только не в толпе монахов. Среди офицеров Ордена половина юродивых и увечных, как я. Калеки угодны богу. — Он усмехнулся, глядя Румате в лицо.

— И что вы намерены делать? — спросил Румата, опуская глаза.

— Как обычно. Я знаю, что такое Святой Орден: не пройдет и года, как арканарский люд полезет из своих щелей с топорами — драться на улицах. И поведу их я, чтобы они били тех, кого надо, а не друг друга и всех подряд.

— Вам понадобятся деньги? — спросил Румата.

— Да, как обычно. И оружие... — Он помолчал, затем сказал вкрадчиво: — Дон Румата, вы помните, как я был огорчен, когда узнал, кто вы такой? Я не навижу попов, и мне очень горько, что их лживые сказки оказались правдой. Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. Попы говорят, что боги владеют молниями... Дон

Румата, мне очень нужны молнии, чтобы разбивать крепостные стены.

Румата глубоко вздохнул. После чудесного спасения на вертолете Араты настоятельно потребовал объяснений. Румата попытался рассказать о себе, он даже показал в ночном небе Солнце — крошечную, едва видную звездочку. Но мятежник понял только одно: проклятые попы правы, за небесной твердью действительно живут боги, всеблагие и всемогущие. И с тех пор каждый разговор с Руматой он сводил к одному: бог, раз уж ты существуешь, дай мне свою силу, ибо это лучшее, что ты можешь сделать.

И каждый раз Румата отмалчивался или переводил разговор на другое.

— Дон Румата, — сказал мятежник, — почему вы не хотите помочь нам?

— Одну минутку, — сказал Румата. — Прощу прощения, но я хотел бы знать, как вы проникли в дом?

— Это неважно. Никто, кроме меня, не знает этой дороги. Не уклоняйтесь, дон Румата. Почему вы не хотите дать нам вашу силу?

— Не будем говорить об этом.

— Нет, мы будем говорить об этом. Я не звал вас. Я никогда никому не молился. Вы пришли ко мне сами. Или вы просто решили позабавиться?

Трудно быть богом, подумал Румата. Он сказал терпеливо:

— Вы не поймете меня. Я вам двадцать раз пытался объяснить, что я не бог, — вы так и не поверили. И вы не поймете, почему я не могу помочь вам оружием...

— У вас есть молнии?

— Я не могу дать вам молнии.

— Я уже слышал это двадцать раз, — сказал Араты. — Теперь я хочу знать: почему?

— Я повторяю: вы не поймете.

— А вы попытайтесь.

— Что вы собираетесь делать с молниями?

— Я выжгу золоченую скворечку, как клопов, всех до одного, весь их проклятый род до двенадцатого

потомка. Я сотру с лица земли их крепости. Я сожгу их армии и всех, кто будет защищать их и поддерживать. Можете не беспокоиться — ваши молнии будут служить только добру, и, когда на земле останутся только освобожденные рабы и воцарится мир, я верну вам ваши молнии и никогда больше не попрошу их.

Арата замолчал, тяжело дыша. Лицо его потемнело от прилившей крови. Наверное, он уже видел охваченные пламенем герцогства и королевства, и груды обгорелых тел среди развалин, и огромные армии победителей, восторженно ревущих: «Свобода! Свобода!»

— Нет, — сказал Румата. — Я не дам вам молний. Это было бы ошибкой. Постарайтесь поверить мне, я вижу дальше вас... (Арата слушал, уронив голову на грудь.) — Румата стиснул пальцы. — Я приведу вам только один довод. Он ничтожен по сравнению с главным, но зато вы поймете его. Вы живучи, славный Арата, но вы тоже смертны; и если вы погибнете, если молнии перейдут в другие руки, уже не такие чистые, как ваши, тогда даже мне страшно подумать, чем это может кончиться...

Они долго молчали. Потом Румата достал из погребца кувшин эсторского и еду и поставил перед гостем. Арата, не поднимая глаз, стал ломать хлеб и запивать вином. Румата ощущал странное чувство болезненной раздвоенности. Он знал, что прав, и тем не менее эта правота странным образом унижала его перед Аратой. Арата явно превосходил его в чем-то, и не только его, а всех, кто незваным пришел на эту планету и, полный бессильной жалости, наблюдал страшное кипение ее жизни с разреженных высот беспристрастных гипотез и чужой здесь морали. И впервые Румата подумал: ничего нельзя приобрести, не утратив, — мы бесконечно сильнее Араты в нашем царстве добра и бесконечно слабее Араты в его царстве зла...

— Вам не следовало спускаться с неба, — сказал вдруг Арата. — Возвращайтесь к себе. Вы только вредите нам.

— Это не так, — мягко сказал Румата. — Во всяком случае, мы никому не вредим.

— Нет, вы вредите. Вы в灌ашаете беспочвенные надежды...

— Кому?

— Мне. Вы ослабили мою волю, дон Румата. Раньше я надеялся только на себя, а теперь вы сделали так, что я чувствую вашу силу за своей спиной. Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой. А теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что вы примете в них участие... Уходите отсюда, дон Румата, вернитесь, к себе на небо и никогда больше не приходите. Либо дайте нам ваши молнии, или хотя бы вашу железную птицу, или хотя бы просто обнажите ваши мечи и встаньте во главе нас...

Арата замолчал и снова потянулся за хлебом. Румата глядел на его пальцы, лишенные ногтей. Ногти специальным приспособлением вырвал два года тому назад лицо дон Рэба. Ты еще не знаешь всего, подумал Румата. Ты еще тепшишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты еще не знаешь, как безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь Орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на Арканарский трон, ты сровняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в Проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести, как великому освободителю, и ты будешь добр и мудр — единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по доброте ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, а на что сподвижникам земли без крепостных? И завернется колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на Земле и на твоей планете.

— Молчите? — сказал Арата. Он отодвинул от себя тарелку и смел рукавом рясы крошки со стола. — Когда-то у меня был друг, — сказал он. —

Вы, наверное, слыхали — Вага Колесо. Мы начинали вместе. Потом он стал бандитом, ночным королем. Я не простил ему измены, и он знал это. Он много помогал мне — из страха и из корысти, — но так и не захотел никогда вернуться: у него были свои цели. Два года назад его люди выдали меня дону Рэб... — Он посмотрел на свои пальцы и сжал их в кулак. — А сегодня утром я настиг его в Арканарском порту... В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг. — Он поднялся и надвинул капюшон на глаза. — Золото на прежнем месте, дон Румата?

— Да, — сказал Румата медленно, — на прежнем.

— Тогда я пойду. Благодарю вас, дон Румата.

Он неслышно прошел по кабинету и скрылся за дверью. Внизу в прихожей слабо лязгнул засов.

ГЛАВА 10

В Пьяной Берлоге было сравнительно чисто, пол тщательно подметен, стол выскощен добела, в углах для благовония лежали охапки лесных трав и лапника. Отец Кабани чинно сидел в углу на лавочке, трезвый и тихий, сложив мытые руки на коленях. В ожидании, пока Будах заснет, говорили о пустяках. Будах, сидевший за столом возле Руматы, с благосклонной улыбкой слушал легкомысленную болтовню благородных донов и время от времени сильно вздрагивал задремывая. Впадные щеки его горели от лошадиной дозы тетралюминала, незаметно подмешанной ему в питье. Старик был очень возбужден и засыпал трудно. Нетерпеливый дон Гуг сгибал и разгибал под столом верблюжью подкову, сохранивая, однако, на лице выражение веселой непринужденности. Румата крошил хлеб и с усталым интересом следил, как дон Кондор медленно наливается желчью: Хранитель больших печатей нервничал, опаздывая на чрезвычайное ночное заседание Конференции двенадцати негоциантов, посвященное перевороту в Арканаре, на котором ему надлежало председательствовать.

— Мои благородные друзья! — звучно сказал, наконец, доктор Будах, встал и упал на Румату.

Румата бережно обнял его за плечи.

— Готов? — спросил дон Кондор.

— До утра не проснется, — сказал Румата, поднял Будаха на руки и отнес на ложе отца Кабани.

Отец Кабани проговорил с завистью:

— Доктору, значит, можно закладывать, а отцу Кабани, значит, нельзя, вредно. Нехорошо получается!

— У меня четверть часа, — сказал дон Кондор по-русски.

— Мне хватит и пяти минут, — ответил Румата, с трудом сдерживая раздражение. — И я так много говорил вам об этом раньше, что хватит и минуты. В полном соответствии с базисной теорией феодализма, — он яростно поглядел прямо в глаза дону Кондору, — это самое заурядное выступление горожан против баронства, — он перевел взгляд на дона Гуга, — вылилось в провокационную интригу Святого Ордена и привело к превращению Арканара в базу феодально-фашистской агрессии. Мы здесь ломаем головы, тщетно пытаясь втиснуть сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером, Токугавой Иэйсу, Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком! Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, насмерть струсил и кинулся спасаться к Святому Ордену. Через полгода его зарежут, а Орден останется. Последствия этого для Запроливья, а затем и для всей Империи я просто боюсь себе представить. Во всяком случае, вся двадцатилетняя работа в пределах Империи пошла насмарку. Под Святым Орденом не развернешься. Вероятно, Будах — это последний человек, которого я спасаю. Больше спасать будет некого. Я кончил.

Дон Гуг сломал, наконец, подкову и швырнул половинки в угол.

— Да, проморгали, — сказал он. — А может быть, это не так уж страшно, Антон?

Румата только посмотрел на него.

— Тебе надо было убрать дона Рэбу, — сказал вдруг дон Кондор.

— То есть как это «убрать»?

На лице дона Кондора вспыхнули красные пятна.

— Физически! — резко сказал он.

Румата сел.

— То есть убить?

— Да. Да! Да!!! Убить! Похитить! Сместить! Заточить! Надо было действовать. Не советоваться с двумя дураками, которые ни черта не понимали в том, что происходит.

— Я тоже ни черта не понимал.

— Ты по крайней мере чувствовал.

Все помолчали.

— Что-нибудь вроде Барканской резни? — вполголоса осведомился дон Кондор, глядя в сторону.

— Да, примерно. Но более организованно.

Дон Кондор покусал губу.

— Теперь его убирать уже поздно? — сказал он.

— Бессмыслицо, — сказал Румата. — Во-первых, его уберут без нас, а во-вторых, это вообще не нужно. Он по крайней мере у меня в руках.

— Каким образом?

— Он меня боится. Он догадывается, что за мною сила. Он уже даже предлагал сотрудничество.

— Да? — проворчал дон Кондор. — Тогда не имеет смысла.

Дон Гуг сказал, чуть заикаясь:

— Вы что, товарищи, серьезно все это?

— Что именно? — спросил дон Кондор.

— Ну все это?.. Убить, физически убрать... Вы что, с ума сошли?

— Благородный дон поражен в пятку, — тихонько сказал Румата.

Дон Кондор медленно отчеканил:

— При чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры.

Дон Гуг, шевеля губами, переводил взгляд с одного на другого.

— В-вы... Вы знаете, до чего вы так докатитесь? —

проговорил он. — В-вы понимаете, до чего вы так докатитесь, а?

— Успокойся, пожалуйста, — сказал дон Кондор. — Ничего не случится. И хватит пока об этом. Что будем делать о Орденом? Я предлагаю блокаду Арканарской области. Ваше мнение, товарищи? И побыстрее, я тороплюсь.

— У меня никакого мнения еще нет, — возразил Румата. — А у Пашки тем более. Надо посоветоваться с Базой. Надо оглядеться. А через неделю встретимся и решим.

— Согласен, — сказал дон Кондор и встал. — Пошли.

Румата взвалил Будаха на плечо и вышел из избы. Дон Кондор светил ему фонариком. Они подошли к вертолету, и Румата уложил Будаха на заднее сиденье. Дон Кондор, гремя мечом и путаясь в плаще, забрался в водительское кресло.

— Вы не подбросите меня до дому? — спросил Румата. — Я хочу, наконец, выснуться.

— Подброшу, — буркнул дон Кондор. — Только быстрее, пожалуйста.

— Я сейчас вернусь, — сказал Румата и побежал в избу.

Дон Гуг все еще сидел за столом и, уставясь перед собой, тер подбородок. Отец Кабани стоял рядом с ним и говорил:

— Так оно всегда и получается, дружок. Старишься, как лучше, а получается хуже...

Румата сгреб в охапку мечи и перевязи.

— Счастливо, Пашка, — сказал он. — Не огорчайся, просто мы все устали и раздражены.

Дон Гуг помотал головой.

— Смотри, Антон, — проговорил он. — Ох, смотри!.. О дяде Саше я не говорю, он здесь давно, не нам его переучивать. А вот ты...

— Спать я хочу, вот что, — сказал Румата. — Отец Кабани, будьте любезны, возьмите вы моих лошадей и отведите их к барону Пампе. На днях я у него буду.

Снаружи мягко взвыли винты. Румата махнул ру-

кой и выскоцил из избы. В ярком свете фар вертолета заросли гигантского папоротника и белые стволы деревьев выглядели причудливо и жутко. Румата вскарабкался в кабину и захлопнул дверцу.

В кабине пахло озоном, органической обшивкой и одеколоном. Дон Кондор поднял машину и уверенно повел ее над Арканарской дорогой. Я бы сейчас так не смог, с легкой завистью подумал Румата. Позади мирно причмокивал во сне старый Будах.

— Антон, — сказал дон Кондор, — я бы... э-э... не хотел быть бес tactным, и не подумай, будто я... э-э... вмешиваюсь в твои личные дела.

— Я вас слушаю, — сказал Румата. — Он сразу догадался, о чем пойдет речь.

— Все мы разведчики, — сказал дон Кондор. — И все дорогое, что у нас есть, должно быть либо далеко на Земле, либо внутри нас. Чтобы его нельзя было отобрать у нас и взять в качестве заложника.

— Вы говорите о Кире? — спросил Румата.

— Да, мой мальчик. Если все, что я знаю о доне Рэбе, — правда, то держать его в руках — занятие нелегкое и опасное. Ты понимаешь, что я хочу сказать...

— Да, понимаю, — сказал Румата. — Я постараюсь что-нибудь придумать.

Они лежали в темноте, держась за руки. В городе было тихо, только изредка где-то неподалеку злобно визжали и бились кони. Время от времени Румата погружался в дремоту и сразу просыпался, оттого что Кира затаивала дыхание — во сне он сильно стискивал ее руку.

— Ты, наверно, очень хочешь спать, — сказала Кира шепотом. — Ты спи.

— Нет-нет, рассказывай, я слушаю.

— Ты все время засыпаешь.

— Я все равно слушаю. Я, правда, очень устал, но еще больше я соскучился по тебе. Мне жалко спать. Ты рассказываешь, мне очень интересно.

Она благодарно потерлась носом о его плечо, и

поцеловала в щеку, и снова стала рассказывать, как нынче вечером пришел от отца соседский мальчик. Отец лежит. Его выгнали из канцелярии и на прощание сильно побили палками. Последнее время он вообще ничего не ест, только пьет — стал весь синий, дрожащий. Еще мальчик сказал, что объявился брат — раненый, но веселый и пьяный, в новой форме. Дал отцу денег, выпил с ним и опять грозился, что они всех раскатают. Он теперь в каком-то особом отряде лейтенантом, присягнул на верность Ордену и собирается принять сан. Отец просил, чтобы она домой пока ни в коем случае не приходила. Брат грозился с ней разделаться за то, что спуталась с благородным, рыжая стерва...

Да, думал Румата, уж, конечно, не домой. И здесь тоже оставаться ей ни в коем случае нельзя. Если с ней хоть что-нибудь случится... Он представил себе, что с ней случилось плохое, и сделался весь как каменный.

— Ты спишь? — спросила Кира.

Он очнулся и разжал ладонь.

— Нет-нет... А еще что ты делала?

— А еще я прибрала твои комнаты. Ужасный у тебя все-таки развал. Я нашла одну книгу, отца Гура сочинение. Там про то, как благородный принц полюбил прекрасную, но диковинную девушку из-за гор. Она была совсем дикая и думала, что он бог, и все-таки очень любила его. Потом их разлучили, и она умерла от горя.

— Это замечательная книга, — сказал Румата.

— Я даже плакала. Мне все время казалось, что это про нас с тобой.

— Да, это про нас с тобой. И вообще про всех людей, которые любят друг друга. Только нас не разлучат.

Безопаснее всего было бы на Земле, подумал он. Но как ты там будешь без меня? И как я здесь буду один? Можно было бы попросить Анку, чтобы дружила с тобою там. Но как я буду здесь без тебя? Нет, на Землю мы полетим вместе. Я сам поведу корабль, а ты будешь сидеть рядом, и я буду все тебе

объяснять. Чтобы ты ничего не боялась. Чтобы ты сразу полюбила Землю. Чтобы ты никогда не жалела о своей страшной родине. Потому что это не твоя родина. Потому что твоя родина отвергла тебя. Потому что ты родилась на тысячу лет раньше своего срока. Добрая, верная, самоотверженная, бескорыстная... Такие, как ты, рождались во все эпохи кровавой истории наших планет. Ясные, чистые души, не знающие ненависти, не приемлющие жестокость. Жертвы. Бесполезные жертвы. Гораздо более бесполезные, чем Гур Сочинитель или Галилей. Потому что такие, как ты, даже не борцы. Чтобы быть борцом, нужно уметь ненавидеть, а как раз этого вы не умеете. Так же, как и мы теперь...

...Румата опять задремал и сейчас же увидел Кири, как она стоит на краю плоской крыши Совета с дегравитатором на поясе, и веселая насмешливая Анка нетерпеливо подталкивает ее к полуторакилометровой пропасти.

— Румата, — сказала Кири. — Я боюсь.

— Чего, маленькая?

— Ты все молчишь и молчишь. Мне страшно...

Румата прятанул ее к себе.

— Хорошо, — сказал он. — Сейчас я буду говорить, а ты меня внимательно слушай. Далеко-далеко за сайвой стоит грозный, неприступный замок. В нем живет веселый, добрый и смешной барон Пампа, самый добрый барон в Арканаре. У него есть жена, красивая, ласковая женщина, которая очень любит Пампу трезвого и терпеть не может Пампу пьяного...

Он замолчал прислушиваясь. Он услышал цокот множества копыт на улице и шумное дыхание многих людей и лошадей. «Здесь, что ли?» — спросил грубый голос под окном. «Вроде здесь...» — «Сто-ой!» По ступенькам крыльца загремели каблуки, и сейчас же несколько кулаков обрушилось на дверь. Кири, вздрогнув, прижалась к Румате.

— Подожди, маленькая, — сказал он, откидывая одеяло.

— Это за мной, — сказала Кири шепотом. — Я так и знала!

Румата с трудом освободился из рук Кири и побежал к окну. «Во имя господа! — ревели внизу. — Открывай! Взломаем — хуже будет!» Румата отдернул штору, и в комнату хлынул знакомый пляшущий свет факелов. Множество всадников толтались внизу — мрачных черных людей в остроконечных капюшонах. Румата несколько секунд глядел вниз, потом осмотрел оконную раму. По обычаю рама была вделана в оконницу намертво. В дверь с треском били чем-то тяжелым. Румата нашарил в темноте меч и ударил рукояткой в стекло. Со звоном посыпались осколки.

— Эй, вы! — рявкнул он. — Вам что, жить надоело?

Удары в дверь стихли.

— И ведь всегда они напугают, — негромко сказали внизу. — Хозяин-то дома...

— А нам что за дело?

— А то дело, что он на мечах первый в мире.

— А еще говорили, что уехал и до утра не вернется.

— Испугались?

— Мы-то не испугались, а только про него ничего не велено. Не пришло бы убить...

— Свяжем. Покалечим и свяжем! Эй, кто там с арбалетами?

— Как бы он нас не покалечил...

— Ничего, не покалечит. Всем известно: у него обет такой — не убивать.

— Перебью как собак, — сказал Румата страшным голосом.

Сзади к нему прижалась Кири. Он слышал, как бешено стучит ее сердце. Внизу скомандовали скрипуче: «Ломай, братья! Во имя господа!» Румата обернулся и взглянул Кири в лицо. Она смотрела на него, как давеча, с ужасом и надеждой. В сухих глазах плясали отблески факелов.

— Ну что ты, маленькая, — сказал он ласково. — Испугалась? Неужели этой швали испугалась? Иди одевайся. Делать нам здесь больше нечего... — Он торопливо натягивал металлопластовую кольчу-

гу. — Сейчас я их прогоню, и мы уедем. Уедем к Камне.

Она стояла у окна, глядя вниз. Красные блики бегали по ее лицу. Внизу трещало и ухало. У Руматы от жалости и нежности сжалось сердце. Погоню, как псов, подумал он. Он наклонился, отыскивая второй меч, а когда снова выпрямился, Кира уже не стояла у окна. Она медленно сползала на пол, цепляясь за портьеру.

— Кира! — крикнул он.

Одна арбалетная стрела пробила ей горло, другая торчала из груди. Он взял ее на руки и перенес на кровать. «Кира...» — позвал он. Она всхлипнула и вытянулась. «Кира...» — сказал он. Она не ответила. Он постоял немного над нею, потом подобрал мечи, медленно спустился по лестнице в прихожую и стал ждать, когда упадет дверь...

ЭПИЛОГ

— А потом? — спросила Анка.

Пашка отвел глаза, несколько раз хлопнул себя ладонью по колену, наклонился и потянулся за земляникой у себя под ногами. Анка ждала.

— Потом... — пробормотал он. — В общем-то никто не знает, что было потом, Анка. Передатчик он оставил дома, и, когда дом загорелся, на патрульном дирижабле поняли, что дело плохо, и сразу пошли в Арканар. На всякий случай сбросили на город шашки с усыпляющим газом. Дом уже догорал. Сначала растерялись, не знали, где его искать, но потом увидели... — Он замялся. — Словом, видно было, где он шел.

Пашка замолчал и стал кидать ягоды в рот одну за другой.

— Ну? — тихонько сказала Анка.

— Пришли во дворец... Там его и нашли.

— Как?

— Ну... он спал. И все вокруг... тоже... лежали... Некоторые спали, а некоторые... так... Дона Рэбу тоже там нашли... — Пашка быстро взглянул на Анку

и снова отвел глаза. — Забрали его, то есть Антона, доставили на Базу... Понимаешь, Анка, ведь он ничего не рассказывает. Он вообще теперь говорит мало.

Анка сидела очень бледная и прямая и смотрела поверх Пашкиной головы на лужайку перед домиком. Шумели, легонько раскачиваясь, сосны, в синем небе медленно двигались пухлые облака.

— А что стало с девушкой? — спросила она.

— Не знаю, — жестко сказал Пашка.

— Слушай, Паша, — сказала Анка. — Может быть, мне не стоило приезжать сюда?

— Нет, что ты! Я думаю, он тебе обрадуется...

— А мне все кажется, что он прячется где-нибудь в кустах, смотрит на нас и ждет, пока я уеду.

Пашка усмехнулся.

— Вот уж нет, — сказал он. — Антон в кустах сидеть не станет. Просто он не знает, что ты здесь. Ловит где-нибудь рыбку, как обычно.

— А с тобой как он?

— Никак. Терпит. Но ты-то другое дело...

Они помолчали.

— Анка, — сказал Пашка. — Помнишь анизотронное шоссе?

Анка наморщила лоб.

— Какое?

— Анизотронное. Там висел «кирпич». Помнишь, мы втроем?..

— Помню. Это Антон сказал, что оно анизотронное.

— Антон тогда пошел под «кирпич», а когда вернулся, то сказал, будто нашел там взорванный мост и скелет фашиста, прикованный к пулемету.

— Не помню, — сказала Анка. — Ну и что?

— Я теперь часто вспоминаю это шоссе, — сказал Пашка. — Будто есть какая-то связь... Шоссе было анизотронное, как история. Назад идти нельзя. А он пошел. И наткнулся на прикованный скелет.

— Я тебя не понимаю. При чем здесь прикованный скелет?

— Не знаю, — признался Пашка. — Мне так кажется.

Анка сказала:

— Ты не давай ему много думать. Ты с ним все время о чем-нибудь говори. Глупости какие-нибудь. Чтобы он спорил.

Пашка вздохнул.

— Это я и сам знаю. Да только что ему мои глупости?.. Послушает, улыбнется и скажет: «Ты, Паша, тут посиди, а я пойду поброжу». И пойдет. А я сижу... Первое время, как дурак, незаметно ходил за ним, а теперь просто сижу и жду. Вот если бы ты...

Анка вдруг поднялась. Пашка оглянулся и тоже встал. Анка не дыша смотрела, как через поляну к ним идет Антон — огромный, широкий, со светлым, не загорелым лицом. Ничего в нем не изменилось, он всегда был немного мрачный.

Она пошла ему навстречу.

— Анка, — сказал он ласково. — Анка, другище...

Он протянул к ней огромные руки. Она робко потянулась к нему и тут же отпрянула. На пальцах у него... Но это была не кровь — просто сок земляники.

Сказка

для
маленьких
рабочих
и
младшего

Понедельник
начинается
в субботу

возраст

СУЕТА ВОКРУГ ДИВАНА

Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты, признаюсь, это уже совсем непостижимо, это точно... Нет, нет совсем не понимаю.

Н. В. Гоголь

ДИВАНЫ

Учитель: *Дети, запишите предложение: «Рыба сидела на дереве».*

Ученик: *А разве рыбы сидят на деревьях?*

Учитель: *Ну... Это была сумасшедшая рыба.*

Школьный анекдот

ИСТОРИИ

ГЛАВА 1

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокой. Солице садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры.

Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немногого старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглую горбоносое лицо и спросил улыбаясь:

— Вы нас не подбросите до Соловца?

Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди.

— Давайте садитесь, — сказал я. — Один вперед, другой назад, а то у меня там баражло, на заднем сиденье.

— Благодетель! — обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной.

Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал:

— А можно, я здесь немножко того?..

Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между коленей.

— Дверцу прикройте получше, — сказал я.

Все шло, как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите, — посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. — У вас плащ защемляется». Минут через пять все, наконец, устроилось. Я спросил: «До Соловца километров десять?» — «Да, — ответил горбоносый. — Или немножко больше. Дорога, правда, неважная — для грузовиков». — «Дорога вполне приличная, — возразил я. — Мне обещали, что я вообще не проеду». — «По этой дороге даже осенью можно проехать». — «Здесь — пожалуй, но вот от Коробца — грунтовая». — «В этом году лето сухое, все подсохло». — «Под Затонью, говорят, дожди», — заметил бородатый на заднем сиденье. «Кто это говорит?» — спросил горбоносый. «Мерлин говорит». Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин, — сказал горбоносый, разглядывая пачку. — Вы из Ленинграда?» — «Да», — «Путешествуете?» — «Путешествую, — сказал я. — А вы здешние?» — «Коренные», — сказал горбоносый. «Я из Мурманска», — сообщил бородатый. «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск — одно и то же: Север», — сказал горбоносый. «Нет, почему же», — сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» — спросил горбоносый. «Конечно, — сказал я. — Я в Соловец и еду». — «У вас там родные или знакомые?» — «Нет, — сказал я.

Просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас — точка randevu».

Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взревывал, камни били в днище. «Бедная машина», — сказал горбоносый. «Что делать...» — сказал я. «Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине». — «Я бы поехал», — сказал я. Россыпь кончилась. «А, так это не ваша машина», — догадался горбоносый. «Ну, откуда у меня машина! Это прокат». — «Понятно», — сказал горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». — «Да, конечно», — вежливо согласился горбоносый. «Глупо, по-моему, делать из машины идола», — заявил я. «Глупо, — сказал бородатый. — Но не все так думают». Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уже покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, но их, к сожалению, не продают. Потом горбоносый спросил: «А где вы работаете?» Я ответил. «Колоссально! — воскликнул горбоносый. — Программист! Нам нужен именно программист. Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам!» — «А что у вас есть?» — «Что у нас есть?» — спросил горбоносый, поворачиваясь. «Алдан-З», — сказал бородатый. «Богатая машина, — сказал я. — И хорошо работает?» — «Да как вам сказать...» — «Понятно», — сказал я. «Собственно, ее еще не отладили, — сказал бородатый. — Оставайтесь у нас, отладите...» — «А перевод мы вам в два счета устроим», — добавил горбоносый. «А чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Как и вся наука, — сказал горбоносый. — Счастьем человеческим». — «Понятно, — сказал я. — Что-нибудь с космосом?» — «И с космосом тоже», — сказал горбоносый. «От добра добра не ищут», — сказал я. «Столичный город и приличная зарплата», — сказал бородатый негромко, но я услышал. «Не надо, — сказал я. — Не надо мерять на деньги». — «Да нет, я

иошутил», — сказал бородатый. «Это он так шутит, — сказал горбоносый. — Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет». — «Почему вы так думаете?» — «Уверен». — «А я не уверен». Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему, — сказал он. — Вы долго пробудете в Соловце?» — «Дня два максимум». — «Вот на второй день и поговорим». Бородатый заявил: «Лично я вижу в этом перст судьбы — шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены». — «Вам действительно так нужен программист?» — спросил я. «Нам позарез нужен программист». — «Я поговорю с ребятами, — пообещал я. — Я знаю недовольных». — «Нам нужен не всякий программист, — сказал горбоносый. — Программисты — народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный». — «Да, это сложнее», — сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы: «Нам нужен программист: а — небалованный, бз — доброволец, цэ — чтобы согласился жить в общежитии...» — «Дэ, — подхватил бородатый, — на сто двадцать рублей». — «А как насчет крыльшечек? — спросил я. — Или, скажем, сияния вокруг головы? Один на тысячу!» — «А нам всего-то один и нужен», — сказал горбоносый. «А если их всего девятьсот?» — «Согласны на девятьдесятых».

Лес расступился, мы переехали через мост и покатали между картофельными полями. «Девять часов, — сказал горбоносый. — Где вы собираетесь ночевать?» — «В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают?» — «Магазины у нас уже закрыты», — сказал горбоносый. «Можно в общежитии, — сказал бородатый. — У меня в комнате свободная койка». — «К общежитию не подъедешь», — сказал горбоносый задумчиво. «Да, пожалуй», — сказал бородатый и почему-то засмеялся. «Машину можно поставить возле милиции», — сказал горбоносый. «Да ерунда это, — сказал бородатый. — Я несус оклесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитие-то пройдет?» — «Да-да, черт, — сказал горбоносый. — Действительно, день не поработаешь — забываешь про все эти штуки». — «А может быть, трансгрессировать

его?» — «Ну-ну, — сказал горбоносый. — Это тебе не диван. Ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже...»

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Переночую в машине, не первый раз.

Мне вдруг страшно захотелось поспать на простираях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке.

— Слушай, — сказал горбоносый, — хо-хо! Изнакурюж!

— Правильно! — воскликнул бородатый. — На Лукоморье его!

— Ей-богу, я переночую в машине, — сказал я.

— Вы переночуете в доме, — сказал горбоносый, — на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить...

— Не полтинник же вам совать, — сказал бородатый.

Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабазы». Улица была прямая и широкая и называлась проспектом Мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками.

— Следующий переулок направо, — сказал горбоносый.

Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький «Запорожец». Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно: «Ул. Лукоморье». Он был неширок и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты.

— Стоп, — сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. — Теперь так, — сказал он, потирая нос. — Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою.

— Право, не стоит, — сказал я в последний раз.

— Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке.

Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, притиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пуд весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами:

НИЧАВО
ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ
ПАМЯТНИК
СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ

На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка: «Ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч», а под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось:

К О Т Н Е Р А Б О Т А Е Т
Администрация

— Какой КОТ? — спросил я. — Комитет Оборонной Техники?

Бородатый хихикнул.

— Вы, главное, не беспокойтесь, — сказал он. — Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке.

Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах уманивался, пристраиваясь поудобнее, гигантский — я таких никогда не видел — черно-серый, разводами кот. Усевшись, он съто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кис-кис-кис», — сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловской звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда, из-за забора, голос горбоносого произнес:

— Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить.

Завизжал засов. Кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо горбоносого.

— Благодетель! — позвал он. — Заезжайте!

Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необыкновенный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом.

Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прикладывать рюкзак.

— Вот вы и дома, — сказал он.

Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота, я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать.

— А вот и хозяйка! — вскричал бородатый. — По здорову ли, баушка Наина свет Киевна!

Хозяйке было, паверное, за сто. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое; из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здравствуй, здравствуй, внучек, — произнесла она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!..

Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями Атомиума и с надписями на разных языках:

«Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье.

— Таким вот образом, Наина Киевна! — сказал горбоносый, подходя и обтирая с ладоней ржавчину. — Надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить... м-м-м...

— А не надо, — сказала старуха, пристально меня рассматривая. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот тридцать восьмой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, бриллиантовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гхм! — громко сказал горбоносый, и бабка осеклась. Водарилось неловкое молчание.

— Можно звать просто Сашей... — выдавил я из себя заранее приготовленную фразу.

— И где же я его положу? — осведомилась бабка.

— В запаснике, конечно, — несколько раздраженно сказал горбоносый.

— А отвечать кто будет?

— Наина Киевна!.. — раскатами провинциального трагика взревел горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят: «Ведь мы же договорились!..» — «...А ежели он что-нибудь стибрит?..» — «Да тише вы! Это же программист, понимаете? Комсомолец! Ученый!..» — «А ежели он цыкать будет?..»

Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал.

— Неловко как-то, — сказал я.

— Не беспокойтесь, все будет отлично...

Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала: «А диван-то, диван!..» Я вздрогнул и сказал:

— Знаете, я, пожалуй, поеду, а?

— Не может быть и речи! — решительно сказал

Володя. — Все уладится. Просто бабке нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных.

— Я заплачу, — сказал я. Теперь мне очень хотелось уехать: терпеть не могу этих так называемых житейских коллизий.

Володя замотал головой.

— Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке.

Горбоносый Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал:

— Ну, все устроилось. Пошли.

— Слушайте, неудобно как-то, — сказал я. — Она в конце концов не обязана...

Но мы уже шли к дому.

— Обязана, обязана, — приговаривал Роман.

Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. Старуха ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. При виде нас она мстительно пробасила:

— А расписочку чтобы сейчас же!.. Так, мол, и так: принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая сдала вышеуказанное нижеподписанное...

Роман тихонько взмыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом:

— Располагайтесь и будьте как дома.

Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась:

— А зубом они не цыкают?

Роман, не оборачиваясь, рявкнул:

— Не цыкают! Говорят вам — зубов нет.

— Тогда пойдем расписочку напишем...

Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но все-таки вышел. Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом — колченогий табурет. Возле головы бревенчатой стены помещался обширный диван,

на другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью (ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки). В комнату вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскошен и покрыт полосатыми половиками.

За стеной бубнили в два голоса: старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался. «Скатерть, инвентарный номер двести сорок пять...» — «Вы еще каждую половицу запишите!..» — «Стол обеденный...» — «Печь вы тоже запишете?..» — «Порядок нужен... Диван...»

Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб, больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая, а чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником. «И еще дуб запишите!» — сказал за стеной Роман. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга, я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину четырнадцать часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться, что спина у меня болит, а в голове все путается, что плевать мне в конце концов на эту нудную старуху; и скорее бы все кончилось и можно было бы лечь и заснуть...

— Ну вот, — сказал Роман, появляясь на пороге. — Формальности окончены. — Он помотал рукой с растопыренными пальцами, измазанными в чернилах. — Наши пальчики устали: мы писали, мы писали... Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?

— Жду, — вяло ответил я.

— Где?

— Здесь. И около почтамта.

— Завтра вы, наверное, не уедете?

— Завтра вряд ли... Скорее всего — послезавтра.

— Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди, — он улыбнулся, махнул рукой и вышел. Я ле-

ниво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей, и лег. Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела.

— Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь, — сказала она с беспокойством.

— Не стану я цыкать, — сказал я утомленно. — Я спать стану.

— И ложись, и спи... Денежки только вот заплати и спи...

Я полез в задний карман за бумажником.

— Сколько с меня?

Старуха подняла глаза к потолку.

— Рубль положим за помещение... Полтинничек за постельное белье — мое оно, не казенное. За две ночи выходит три рубли... А сколько от щедрот накинешь — за беспокойство, значит, — я уж и не знаю...

Я протянул ей пятерку.

— От щедрот пока рубль, — сказал я. — А там видно будет.

Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу и на белье, но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медяков.

— Вот тебе и сдача, батюшка, — сказала она. — Ровно рублик, можешь не пересчитывать.

— Не буду пересчитывать, — сказал я. — Как насчет белья?

— Сейчас постелью. Ты выди во двор, прогуляйся, а я постелью.

Я вышел, на ходу вытаскивая сигареты. Солнце, наконец, село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом на вросшую в землю скамеечку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюоресцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову мне посыпался мусор. «Чтоб тे-

бя...» — сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дому вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова, и вернулся в комнату.

Вредная бабка постелила мне на полу. Ну, уж нет, подумал я, запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот. Я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный: крупная сухая рыбья чешуя. Колко спать будет, подумал я, повалился на подушку и сразу заснул.

...Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки.

A. Уэда

Я проснулся посреди ночи оттого, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение.

— Не храни, — шептал раздраженный. — Ты можешь не храниТЬ?
— Могу, — отозвался сдавленный и заперхал.
— Да тише ты... — прошипел раздраженный.
— Хрипунец, — объяснил сдавленный. — Утренний кашель курильщика... — Он снова заперхал.
— Удались отсюда, — сказал раздраженный.
— Да все равно он спит...
— Кто он такой? Откуда свалился?
— А я почему знаю?

— Вот досада... Ну просто феноменально не везет. Опять соседям не спится, подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата-физика, которые обожают работать ночью. К двум часам пополуночи у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стучая мебелью и переругиваясь.

Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось, и стало тихо.

— Подушку верните, — сказал я, — и убирайтесь вон. Сигареты на столе.

Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки, за стеной грозно хранила старуха. Я, наконец, вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барабан, рухнувшее с вешалки. Бабка голову оторвет, подумал я и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храниТЬ. Я замер. Потрескивали половицы, что-то хрюстало и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храниТЬ, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. В суп тебя, подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать, — отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок. — Плескаться больше не будешь сегодня?» — «Холодно что-то. Давай банишки». Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. Утром встану пораньше и все поправлю как следует...

Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется — хочется есть. Ай-яй-яй, подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял.

Вот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики; обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БЭСМе... Я вспомнил нашу БЭСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный

сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» — «У меня с сыром и колбасой». С польской полукопченой, кружочками. «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты, с чесноком, домашние. И соленый огурчик». Нет, два огурчика... Четыре котлеты и для ровного счета четыре крепких соленых огурчика. И четыре куска хлеба с маслом...

Я откинул одеяло и сел. Может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как это там... Соус пикан. Полстакана уксусу, две луковицы... и перчик. Подается к мясным блюдам... Как сейчас помню: к маленьким бифштексам. Вот подłość, подумал я, ведь не просто к бифштексам, а к ма-а-аленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло ма-а-аленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло: «Подавались ему обычные в трактирах блюда, как-то: кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый (я глотнул) и вечный слоеный сладкий пирожок...» Отвлечься бы, подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой, «Хмурое утро». Я открыл наугад. «Махно, сломав сардиночный нож, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами (плохо дело, подумал я), французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло по комнате». Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах: должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не попробовал омаров. Или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом... Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштессы с соусом пикан. Большие и средние бифштессы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом... Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом.

Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила:

— Откусай-ко, батюшка, Александр Иванович. Откусай, чем бог послал, со мной переслал...

— Что вы, что вы, Наина Киевна, — забормотала я, — зачем же было так беспокоить себя...

Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть, а бабка стояла рядом, кивала и приговаривала:

— Кушай, батюшка, кушай на здоровьеце...

Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом.

— Наина Киевна, — сказал я истово, — вы меня спасли от голодной смерти.

— Поел? — сказала Наина Киевна как-то неприветливо.

— Великолепно поел. Огромное вам спасибо! Вы себе представить не можете...

— Чего уж тут не представить, — перебила она уже совершенно раздраженно. — Поел, говорю? Ну и давай сюда тарелку... Тарелку, говорю, давай!

— По... пожалуйста, — проговорил я.

— «Пожалуйста, пожалуйста»... Корми тут вас за пожалуйста...

— Я могу заплатить, — сказал я, начиная сердиться.

— «Заплатить, заплатить»... — Она попла к двери. — А ежели за это и не платят вовсе? И нечего врать было...

— То есть как это — врать?

— А так вот и врать! Сам говорил, что цыкать не будешь... — Она замолчала и скрылась за дверью.

Что это она? — подумал я. Странная какая-то бабка... Может быть, она вешалку заметила? Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати

и недовольно ворчала. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив: «Покатаюся, плаваясь, Ивашкиного мяса поевши...» Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощущаю холодное бревно стены.

Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал вполголоса:

— Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом потому, что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки...

Холода от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно:

— Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка; но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вызывали...

Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть.

— Тинктура экс витро антимонии, — провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул. — Магифтериум антимон ангелий салаэ. Бафилий олеум витри антимонии алекситериум антимониалэ! — Послышалось явственное хихиканье. — Вот ведь бред какой! — сказал голос и продолжал с завыванием: — Вскоре очи сии, еще не отверзаемые, не узрят более солнца, но не попустят

закрыться оным без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... Сие есть «Дух или Нравственные Мысли Славного Юнга, извлеченные из нощных его размышлений». Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по два рубля в папке. — Кто-то всхлипнул. — Тоже бредятина, — сказал голос и произнес с выражением:

Чины, краса, богатства,
Сей жизни все приятства,
Летят, слабеют, исчезают,
О тлен, и щастъе ложно!
Заразы сердце угрывают,
А славы удержать не можно...

Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало.

— А теперь, — сказал голос, — следующее. «Все — единое Я, это Я — мировое Я. Единение с неведением, происходящее от затмения света, Я исчезает с развитием духовности».

— А эта бредятина откуда? — спросил я. Я не ждал ответа. Я был уверен, что сплю.

— Изречения из «Упанишад», — ответил с готовностью голос.

— А что такое «Упанишады»? — Я уже не был уверен, что сплю.

— Не знаю, — сказал голос.

Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще многое вещей. Но меня в нем не было.

— В чем дело? — спросил голос. — Есть вопросы?

— Кто это говорит? — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В. В. Битнера «Верить или не верить?». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы — в отличие от галлюцинаций — раздвоются. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение — заспанная, встревоженная физиономия. По

ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул.

За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. Все-таки сплю, успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был третий том «Хождений по мукам», теперь на обложке я прочитал: «П. И. Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал «Стих № 2»:

В кругу облаков высоко
Чернокрылый воробей
Трепеща и одиноко
Парит быстро над землей.
Он летит ночной порой,
Лунным светом освещенный,
И, ничем не удрученный,
Все он видит под собой.
Гордый, хищный, разъяренный
И летая, словно тень,
Глаза светятся как день.

Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип, затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось рокочущее: «Ко-о... Ко-о... Ко-о...» Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполнинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашивался.

— Ну-с, так... — сказал хорошо поставленный мужской голос. — В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь, по имени... мнэ-э... ну,

в конце в концов неважно. Скажем, мнэ-э... Полуэкт... У него было три сына-царевича. Первый... мнэ-э-э... Третий был дурак, а вот первый?..

Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиною к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул: «Мнэ-э-э...» Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и, слегка сутулясь, как доцент Дубино-Княжицкий на лекции, плавным шагом пошел в сторону от дуба.

— Хорошо... — говорил кот сквозь зубы. — Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын... мнэ-э... дурак, естественно...

Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб.

— Отчаянное положение, — проговорил он. — Ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец — на ужин...» Откуда бы это? А Иван, сами понимаете — дурак, отвечает: «Эх ты, поганое чудище, не уловивши бела лебедя, да кушаешь!» Потом, естественно — каленая стрела, все три головы долой, Иван вынимает три сердца и призывает, кретин, домой матери... Каков подарочек! — Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. — Есть еще такая болезнь — склероз, — сообщил он.

Он снова вздохнул, повернулся обратно к дубу и запел: «Кря-кря, мои деточки! Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э... я слезой вас отпаивала... вернее — выпаивала...» Он в третий раз вздохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал: «Сладок кус не доедала!..»

В лапах у него вдруг оказались массивные гусли — я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударили по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку:

Дасс им таннвалльд финстер ист,
Дасс махт дас хольтс,
Дасс... мнэ-э... майн шатц... или катц?..

Он замолк и некоторое время шагал, молча стуча по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел:

Ой, бував я в тим садочку,
Та скажу вам всю правдочку:
Ото так
Копают мак.

Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом.

— Труд, труд и труд, — сказал он. — Только труд!

Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормоча:

— Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной, по имени... — Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел. — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... Кто-то ибн чей-то... Ну хорошо, скажем, Полуэкт. Полуэкт ибн... мнэ-э... Полуэктович... Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним, начнем другую...

Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево, бормочет, откашливается, подыывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки — словом, мучается несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной сказки и ни одной песни он не знал больше чем наполовину, но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, по-моему, даже японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство, несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями, он шипел и плевался, и глаза его при этом горели как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик», а единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был «Дом, который построил Джек» в переводе Маршака, да и то с некоторыми купюрами. Постепенно — видимо, от утомления — речь

его обретала все более явственный кошачий акцент. «А в поли, поли, — пел он, — сам плужок ходэ, а... мнэ-э... а... мнэ-а-а-у!.. а за тым плужком сам... мья-а-у-а-у!.. сам господь ходэ... или бродэ?..» В конце концов он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по росистой траве.

Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было «Творчество душевнобольных», я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник «Раскрытие преступлений» А. Свенсона и О. Венделя. Я тупо раскрыл ее, пробежал наудачу несколько абзацев, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка.

Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал попрек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце.

Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусственным использованием положений науки.

Г. Д. Уэллс

Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно (дуб был на месте), посмотрел на вешалку (вешалка тоже была на месте). Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь (щеколда была на месте) и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой — очень современный аппарат белой пластмассы, такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку.

— Алло...

— Это кто? — спросил пронзительный женский голос.

— А кого вам надо?

— Это Изнакурноож?

— Что?

— Я говорю, это изба на курногах или нет? Кто говорит?

— Да, — сказал я. — Изба. Кого вам нужно?

— О дьявол, — сказал женский голос. — Примите телефонограмму.

— Давайте.

— Записывайте.

— Одну минутку, — сказал я. — Возьму карандаш и бумагу.

— О дьявол, — сказал женский голос.

Я принес записную книжку и цанговый карандаш.

— Слушаю вас.

— Телефонограмма номер двести шесть, — сказал женский голос. — Гражданке Горыныч Наине Киевне...

— Не так быстро... Киевне... Дальше?

— «Настоящим... предлагается вам... прибыть сегодня... двадцать седьмого июля... сего года... в полночь... на ежегодный республиканский слет...» Записали?

— Записал.

— «Первая встреча... состоится... на Лысой Горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом... за свой счет. Подпись... начальник канцелярии... Ха... Эм... Вий».

— Кто?

— Вий! Ха Эм Вий.

— Не понимаю.

— Вий! Хрон Монадович! Вы что, начальника канцелярии не знаете?

— Не знаю, — сказал я. — Говорите по буквам.

— Дьявольщина! Хорошо, по буквам: Вервольф-Инкуб — Ибикус краткий... Записали?

— Кажется, записал, — сказал я. — Получилось — Вий.

— Кто?

— Вий!

— У вас что, полипы? Не понимаю!

— Владимир! Иван! Иван краткий!

— Так. Повторите телефонограмму.
Я повторил.

— Правильно. Передала Онучкина. Кто принял?

— Привалов.

— С приветом, Привалов! Давно служишь?

— Собачки служат, — сердито сказал я. — Я работаю.

— Ну-ну, работай. На слете встретимся.

Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночных событиями, хотя я представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено.

Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым, о подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно, раздражающее нелепым. Вместо того чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже зажинал читателей держаться подальше от занавесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них.

Бродя по комнатах в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. Эти пугливые люди, думал я, похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и

фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории... Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем (она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь «Последним изгнаниником» Олдриджа), с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям... хотя, с другой стороны, чешуя?..

Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко. Где-то гудели машины, послышался милиционерский свисток, в небе с солидным гулом прошмыгнул вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестянную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой «Москвич». У машины был усталый, запыленный вид, ветровое стекло было заляпано разбившейся о него вдребезги мошкой. Надо будет воды долить в радиатор, подумал я. И вообще...

Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил.

— Опять на рынок поволочешь? — сильно окая, сказала щука. Я ошарашенно молчал. — Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать — ташпит! Я ведь не молодая уже, постарше тебя буду... жабры тоже не в порядке...

Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно скав челюсти.

— И воздух мне вреден, — продолжала она. —

Вот подохну, что будешь делать? Все скопость твоя бабья да дурья... Все копишь, а для чего копишь — сама не знаешь... На последней реформе-та как погорела, а? То-то! А екатериновками? Сундуки оклеивала! А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками...

— Видите ли, — сказал я, немного оправившись.

— Ой, кто это? — испугалась щука.

— Я... Я здесь случайно... Я намеревался слегка помыться.

— Помыться! А я думала, опять старуха. Не вижу я: старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было себе заказала, да потеряла, не найду... А кто ж ты будешь?

— Турист, — коротко сказал я.

— Ах, турист... А я думала, опять бабка. Ведь что она со мной делает! Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь покупателю: так и так, отпусти меня к малым детушкам — хотя какие у меня там малые детушки — не детушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу, скажи только «по щучьему велению, по моему, мол, хотению». Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности... Вот поплаваешь в реке, поплаваешь — холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут как тут... — Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. — Ну что просить-то будешь, служивый? Только попроще чего, а то просят телевизоры какие-то, транзисторы... Один совсем обалдел: «Выполни, — говорит, — за меня годовой план на лесопилке». Года мои не те — дрова шилить...

— Ага, — сказал я. — А телевизор вы, значит, все-таки можете?

— Нет, — честно призналась щука. — Телевизор не могу. И этот... комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку... А?

Возникшая было у меня надежда отвертесь сегодня от смазки «Москвича» погасла.

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Мне ничего в общем не надо. Я вас сейчас отпущу.

— И хорошо, — спокойно сказала щука. — Люблю таких людей. Давеча вот тоже... Купил меня на рынке какой-то, пообещала я ему царскую дочь. Плыну по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну сослену и въехала в сети. Тащат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец, свярят. Ах нет. Защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во! — Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр в Солове-реке 1854 года. Доставить в Е. И. В. Академию наук, СПБ». — Старухе не говори, — предупредила щука. — С плавником оторвет. Жадная она, скupая.

«Что бы у нее спросить?» — лихорадочно думал я.
— Как вы делаете ваши чудеса?
— Какие такие чудеса?
— Ну... исполнение желаний...

— Ах, это? Как делаю... Обучена сызмальства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю... Золотая Рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь.

Мне показалось, что щука вздохнула.

— От старости? — спросил я.

— Какое там от старости! Молодая была, крепкая... Бросили в нее, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой... Вот ведь как оно бывает. — Она помолчала. — Так отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет...

— Конечно, конечно, — сказал я, встрепенувшись. — Вас как — бросить или в бадью?..

— Бросай, служивый, бросай.

Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку — было в ней килограммов восемь. Щука бормотала: «Ну, а ежели там скатерь-самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду... за мной не

пропадет...» — «До свидания», — сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск.

Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота.

Я неторопливо шел по улице Лукоморье, засунув руки в карманы серой гэдээрской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных «молниями», брякали старухины медяки. Я размышлял. Тощие брошюрки общества «Знание» приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрами, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных. Даже попугаев. Я знал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь — Щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его, прадеда, точки зрения, говорящий кот — веять куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрюпит, воет, музирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женя Скоромахов полагает даже, что эта функция неясная совершенно, и, когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюр общества «Знание», Женя рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи... У меня такое впечатление, что о возможностях жи-

вотных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах. Или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработали рефлекс: зеленый свет — банан, красный свет — электрический шок. И все было хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый свет одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женяка, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окопечке, за которым сидел экспериментатор, и принял, визжа и рыча, плеваться в это окопечко. И вообще есть анекдот — одна обезьяна говорит другой: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квазиобезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами». Конечно, все это чрезвычайно непросто. Терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но, с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше. А поэтому главное — думать. Как Паскаль: «Будем же учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали».

Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флагами в руках. За ним, шагах в десяти, с натужным ревом медленно полз большой белый МАЗ с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «Огнеопасно», справа и слева от нее так же медленно катились красные пожарные «газики», ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки.

Они пронзительно вопили: «Тишиши-тишиши, а дракона повезли!» Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений.

— Повезли родимого, — произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас.

Я обернулся. Позади стояла, пригорюнившись, Наина Киевна с кошелькой, наполненной синими пакетами сахарного песку.

— Повезли, — повторила она. — Каждую пятницу возят...

— Куда? — спросил я.

— На полигон, батюшка. Всё экспериментируют... Делать им больше нечего.

— А кого повезли, Наина Киевна?

— То есть как это — кого? Сам не видишь, что ли?..

Она повернулась и пошла прочь, но я догнал ее.

— Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали.

— Это от кого же?

— От Ха Эм Вия.

— А насчет чего?

— У вас слет какой-то сегодня, — сказал я, пристально глядя на нее. — На Лысой Горе. Форма одежды — парадная.

Старуха явно обрадовалась.

— Вправду? — сказала она. — Вот хорошо-то!.. А где телефонограмма?

— В прихожей на телефоне.

— А насчет членских взносов там ничего не говорится? — спросила она, понизив голос.

— В каком смысле?

— Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с одна тысяча семьсот... — Она замолчала.

— Нет, — сказал я. — Ничего такого не говорилось.

— Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?

— Дайте я вам кошельку поднесу, — предложил я.

Старуха отпрянула.

— Это тебе зачем? — спросила она подозритель-

но. — Ты это оставь — не люблю... Кошелку ему!..
Молодой, да, видно, из ранних...

Не люблю старух, подумал я.

— Так как же с транспортом? — повторила она.

— За свой счет, — сказал я злорадно.

— Ах, скопидомы! — застонала старуха. — Метлу в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по пять рубликов на ассигнации, а на Лысую Гору за свой счет! Счет-то не малый, батюшка, да пока такси ждет...

Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги.

На проспекте Мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стая ребятишек — играли, по-моему, в чижка. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недобро, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной послышалась сдавленный восторженный возглас: «Стиляга!» Я ускорил шаг. «Стиляга!» — завопили сразу несколько голосов. Я почти побежкал. Позади визжали: «Стиляга! Тонконогий! Шапина «Победа»!..» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом, походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть, выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось!.. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишеск не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы-редуты кончились, пошли современные двухэтажные дома с открытыми сквериками. В сквериках копошились младенцы, пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино.

В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух- и трехэтажными зданиями. Площадь

была асфальтирована, посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтamt я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на курногах. Затем я решил позавтракать.

Обойдя площадь, я обнаружил: кинотеатр, где шла «Козара»; книжный магазин, закрытый на переучет; горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных «газиков»; гостиницу «Студеное море» — как обычно, без свободных мест; два киоска с газированной водой и мороженым; магазин (промтоварный) № 2 и магазин (хозтоваров) № 18; столовую № 11, открывающуюся с двенадцати часов, и буфет № 3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где же ваша машина?» — осведомился милиционер, озирая площадь. «У знакомых», — ответил я. «Ах, у знакомых...» — сказал милиционер значительно. По-моему, он взял меня на заметку. Я робко откланялся.

Рядом с трехэтажной громадой Солрыбснабпромпотребсоюза ФЦУ я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную № 16/27. В чайной было хорошо. Народу было не очень много, пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных: что под Коробцом завалился, наконец, мостик и ехать теперь приходится вброд; что пост ГАИ уже неделю как с пятнадцатого километра убрали; что «искра — зверь, слона убьет, а ни шиша не схватывает...». Пахло бензином и жареной рыбой. Не занятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно — позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом.

Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, три

стакана чаю и три бутерброда с балыком, расплатился кучей старухиных медяков («На паперти стоял...» — проворчала буфетчица), устроился в укромном углу и принялся за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми, прожуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, всё повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной душоты кабины, пыли и солнца. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером и уж работал бы не на плюгавенькой легковушке, и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудовище, и чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана.

За соседним столиком сидели два молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал второй стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес: «...А тогда непонятно, зачем она вообще существует, эта Изнакурнож...» — и я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной, так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми: «...никаких тезисов... только диван...», «...такому волосатому?..», «...диван... шестнадцатая степень...», «...при трансгрессии только четырнадцать порядков...», «...легче смоделировать транслятор...», «...мало ли кто хихикает!..», «...бритву подари...», «...не можем без дивана..» Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся, но они ужешли к выходу — два здоровенных парня с крутыми плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно, они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доел бутерброды и тоже вышел. Диван их, видите ли, волнует, думал я. Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут...

Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван, но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван. Удобный. Только странная действительность на нем снится.

Теперь хорошо было бы вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную. Поэкспериментировать с книгой-перевертышем, поговорить с котом Василием начистоту и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой «Москвич» и необходимость делать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться, это всего-навсего Ежедневный Уход, всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением, какой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО... Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как Техническое Обслуживание, а техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи... Короче говоря, мне не очень хотелось домой.

*Кто позволил себе эту дьявольскую шутку?
Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы
знали, кого нам поутру повесить на крепостной
стене!*

Э. П о

ГЛАВА 4

Я купил позавчерашнюю «Правду», выпил газированной воды и устроился на скамье в садике, в тени Доски почета. Было одиннадцать часов. Я внимательно просмотрел газету. На это ушло семь минут. Тогда я прочитал статью о гидропонии, фельетон о хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего-навсего двадцать две минуты. Неходить ли в кино, подумал я. Но «Козару» я уже ви-

дел — один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды, сложил газету и встал. Из всей старухиной меди в кармане у меня остался всего один пятак. Пропью, решил я, выпил воды с сиропом, получил копейку сдачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел куда глаза глядят — в неширокую улицу между магазином № 2 и столовой № 11.

Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув в окно локоть и голову, устало смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо, у поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки, дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем, затем перешел на другую сторону и побрел обратно.

Интересно, куда девался тот грузовик? — подумал вдруг я. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы, и тут обнаружил небольшой, но очень странный дом, стиснутый между двумя угрюмыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. Я заметил это сразу потому, что вывеска, которую обычно помещают рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано: «АН СССР НИИЧАВО». Я отошел на середину улицы: да, два этажа по десяти окон и ни одной двери. А справа и слева, вплотную, лабазы. НИИЧАВО, подумал я. Научно-исследовательский институт... Чаво? В смысле — чего? Чрезвычайно Автоматизированной Вооруженной Охраны? Черных Ассоциаций Восточной Океании? Иriba на курногах, подумал я, — музей этого самого НИИЧАВО. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те, в чайной, тоже... С крыши здания поднялась стая ворон и с карканьем закружилась над улицей. Я повернулся и пошел назад, на площадь.

Все мы наивные материалисты, думал я. И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов. И ни у кого из нас ни на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными фактами и каким-то новым явлением может лежать море неизвестного, и тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным. Вот, например, как бы метр Монтескье принял сообщение об оживлении мертвеца через сорок пять минут после зарегистрированной остановки сердца? В штыки бы, наверное, прыгнул. Так сказать, в багинеты. Объявил бы это обскурантизмом и поповщиной. Если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас, только я привычнее. А ему пришлось бы либо счастье это воскрешение жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо дажे отречься от материализма. Скорее всего он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу... Но мы — дети другого века. Мы всякое повидали: и живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки; и искусственную почку величиной со шкаф; и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами; и людей, которые могут небрежно заметить: «Это было уже после того, как я скончался в первый раз...» Да, в наше время у Монтескье было бы немного шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся, и ничего! Правда, иногда бывает трудно — когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные лепестки с необозримых материиков непознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные, первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы давно уже ждем этих животных, мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы

были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую слепо), заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам, и психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным, — какая-нибудь дыра в четвертое измерение, или биологическая радиосвязь, или живая планета... Или, скажем, изба на куриных ногах... А ведь прав был горбонский Роман: здесь у них очень, очень и очень интересно...

Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменять бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги, как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО и заняться рационально-диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, на нем было написано «5 копеек 1961», и цифра «6» была замята неглубокой выщербинкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне — будто я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло.

Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак (он падал на ладонь все время «решкой») и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами,

я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман.

Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там — влажный, 1961 года, с выщербинкой на цифре «6». Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на три коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив три коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать.

Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я десять раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков и газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он остается там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на «молнию», он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле (в моем случае он обнаружился в ботинке). Исчезновение пятака из тарелочки с медью на прилавке заметить не удается: среди прочей меди пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит.

Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупате-

лю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль-транспортировки, хорошо известной любителям научной фантастики также под псевдонимами: гиперпереход, репагулярный скачок, феномен Тарантоги... Открывающиеся перспективы были ослепительны.

У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу: «Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и по возможности препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода». Однако эксперимент был прерван в самом начале.

Когда я приблизился к продавщице Мане, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта.

— Так, — сказал он профессиональным голосом.

Я искательно посмотрел на него, предчувствуя нехорошее.

— Попрошу документики, гражданин, — сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня.

— А в чем дело? — спросил я, доставая паспорт.

— И пятак попрошу, — сказал милиционер, принимая паспорт.

Я молча отдал ему пятак. Маня смотрела на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением: «Ага...», раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет.

— Придется пройти, — сказал, наконец, милиционер.

Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинающееся у всех на глазах следствие.

В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес: «Сдайте мелочь», и тоже углубился в изучение паспорта. Я выгреб из кармана медяки. «Пересчитай, Ковалев», — сказал лейтенант и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза.

— Много накушили? — спросил он.

— Много, — ответил я.

— Тоже сдайте, — сказал лейтенант.

Я выложил перед ним на стол четыре номера по завчерашней «Правды», три номера местной газеты «Рыбак», два номера «Литературной газеты», восемь коробков спичек, шесть штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ерщик для чистки примуса.

— Воду сдать не могу, — сказал я сухо. — Пять стаканов с сиропом и четыре без сиропа.

Я начинал понимать, в чем дело, и мне было чрезвычайно невыгодно и муторно при мысли, что придется оправдываться.

— Семьдесят четыре копейки, товарищ лейтенант, — доложил юный Ковалев.

Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет и спичечных коробков.

— Развлекались или как? — спросил он меня.

— Или как, — сказал я мрачно.

— Неосторожно, — сказал лейтенант. — Неосторожно, гражданин. Расскажите.

Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на «Запорожец». Уши мои горели. Лейтенант усмехнулся.

— А почему бы и не рассматривать? — осведомился он. — Были случаи, когда накапливали.

Я пожал плечами.

— Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти

мне в голову... То есть что я говорю — не могла бы, она действительно не приходила!..

Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принялся его рассматривать.

— Даже как-то странно предположить... — сказал я растерянно. — Совершенно бредовая затея... Копить по копейке... Я снова пожал плечами. — Тогда уж лучше, как говорится, на паперти стоять...

— С нищетством мы боремся, — значительно сказал лейтенант.

— Ну правильно, ну естественно... Я только не понимаю, при чем тут я, и... — Я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами, и дал себе слово впредь этого не делать.

Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак.

— Придется составить протокол, — сказал он наконец.

Я пожал плечами.

— Пожалуйста, конечно... хотя... — Я не знал, что, собственно, «хотя».

Некоторое время лейтенант смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я как раз соображал, под какую статью уголовного кодекса подходят мои действия, и тогда он придинул к себе лист бумаги и принялся писать.

Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. Я сидел, тупо рассматривая плакаты, развешанные на стенах, и вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскочил в окно. В чем, собственно, суть? — думал я. Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виновным. В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективная. И факт остается фактом: вся эта медь в количестве семидесяти четырех копеек юридически является результатом хищения, произведенного с помощью технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак.

— Прочтите и подпишите, — сказал лейтенант.

Я прочел. Из протокола явствовало, что я, неподписавшийся Привалов А. И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею; что я, неподписавшийся Привалов А. И., утверждаю, будто действия свои производил с целью научного эксперимента, без каких-либо корыстных намерений; что я готов возместить причиненные государству убытки в размере одного рубля пятидесяти пяти копеек; что я, наконец, в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года, передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергиенко У. У. и получил взамен пять копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался.

Лейтенант сверил мою подпись с подписью в паспорте, еще раз тщательно пересчитал медяки, позвонил куда-то с целью уточнить стоимость ирисок и примусного ершика, выписал квитанцию и отдал ее мне вместе с пятью копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички, конфеты и ершик, он сказал:

— А воду вы, по собственному вашему признанию, выпили. Итого с вас восемьдесят одна копейка.

С гигантским облегчением я рассчитался. Лейтенант, еще раз внимательно пролистав, вернул мне паспорт.

— Можете идти, гражданин Привалов, — сказал он. — И впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец?

— Завтра уеду, — сказал я.

— Вот до завтра и будьте осторожнее.

— Ох, постараюсь, — сказал я, пряча паспорт. Затем, повинувшись импульсу, спросил, понизив голос: — А скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в Соловце, не странно?

Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги.

— Я здесь давно, — сказал он рассеянно. — Привык.

— А вы сами-то верите в привидения? — спросил лектора один из слушателей.
— Конечно, нет, — ответил лектор и медленно растяял в воздухе.

Правдивая история

До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я направился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко. С запада медленно ползла грозная черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую Гору. «Говорят, батюшка, машине вредно стоять, — скрипуче ворковала она, заглядывая под передний бампер. — Говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся...» Ехать на Лысую Гору мне не хотелось. Во-первых, в любую минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее, как выяснилось, до Лысой Горы было девяносто верст в одну сторону, а когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился, — дорога гладкая, а в случае чего она, бабка, будет сама машину вытаскивать. («Ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая».) После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий. С минуту он внимательно следил за моими руками, а потом произнес вполголоса, но явственно: «Не советую, гражданин... мнэ-э... не советую. Съедят», после чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным, и поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом со всем покончить, запросил с нее пятьдесят рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением.

Я сделал ЕУ и ТО, с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке, пообедал в столовой № 11 и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести

я спросил у него, какова дорога до Лысой Горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал: «Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги». Домой я вернулся уже под проливным дождиком.

Старуха отбыла. Кот Василий исчез. В колодце кто-то пел на два голоса, и это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождем. Стало темно.

Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем. Однако в ней что-то застопорило. Может быть, я делал что-нибудь не так или влияла погода, но она как была, так и оставалась «Практическими занятиями по синтаксису и пунктуации» Ф. Ф. Кузьмина, сколько я ни ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно, и я попытал счастья с зеркалом. Но зеркало отражало все, что угодно, и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать.

От скуки и шума дождя я уже начал было дремать, когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку.

— Алло...

В трубке молчало и потрескивало.

— Алло, — сказал я и подул в трубку. — Нажмите кнопку.

Ответа не было.

— Постучите по аппарату, — посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал: — Перезвоните с другого автомата.

Тогда в трубке грубо осведомились:

— Это Александр?

— Да. — Я был удивлен.

— Ты почему не отвечаешь?

— Я отвечаю. Кто это?

— Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил.

— Какому мастеру?

— Ну, кто там сегодня у тебя?

— Не знаю...

— Что значит — не знаю? Это Александр?

— Слушайте, гражданин, — сказал я. — По какому номеру вы звоните?

— По семьдесят второму... Это семьдесят второй? Я не знал.

— По-видимому, нет, — сказал я.

— Что же вы говорите, что вы Александр?

— Я в самом деле Александр!

— Тьфу!.. Это комбинат?

— Нет, — сказал я. — Это музей.

— А... Тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать, не можете...

Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было пять дверей: в мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет и еще одна, обитая железом, с громадным висячим замком. Скучно, подумал я. Одиноко. И лампочка тусклая, пыльная... Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге.

Дивана не было.

Все остальное было совершенно по-прежнему: стол, и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка. И книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой.

— Только что здесь был диван, — вслух сказал я. — Я на нем лежал.

Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сени и открыл дверь.

Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеаль-

ной чистоты, с поднятым воротником. Он снял шляпу и с достоинством произнес:

— Прошу прощения, Александр Иванович. Не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора?

— Конечно, — сказал я растерянно. — Заходите...

Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал, — наверное, потому, что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу.

— Извините, — пролепетал я, — может быть, здесь... А то у меня беспорядок. И сесть негде...

Незнакомец резко вскинул голову.

— Как — негде? — сказал он негромко. — А диван?

С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван? — спросил я почему-то шепотом.

Незнакомец опустил веки.

— Ах, вот как? — медленно произнес он. — Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините...

Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета.

— Куда вы? — закричал я. — Вы не туда!

Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал: «Ах, это безразлично», — и скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь, затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. Диван, подумал я. При чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет. Была скатерть-самобранка. Были: шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце. А чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат, диван — это нечто прочное, очень обыкновенное... В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном?..

Вернувшись в комнату, я сразу увидел Маленького Человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчив-

шись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши.

— Здравствуйте, — сказал я утомленно.

Маленький Человечек страдальчески скривил длинные губы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Извините, пожалуйста, занесло меня сюда — сам не понимаю как... Я насчет дивана.

— Насчет дивана вы опоздали, — сказал я, садясь к столу.

— Вижу, — тихо сказал Человечек и неуклюже заворочался. Посыпалась известка.

Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький Человечек неуверенно заглядывал вниз.

— Вам помочь? — спросил я, делая движение.

— Нет, спасибо, — сказал Человечек уныло. — Я лучше сам...

Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня екнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокре лицо.

— Совсем старик стал, — сообщил он хрипло. — Лет сто назад или, скажем, при Гоизасте за такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович.

— А что вы кончали? — осведомился я, закуривая вторую сигарету.

Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно:

— Раньше я левитировал, как Зекс. А теперь, прощите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно... Но если нет таланта? Огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, а таланта нет! У нас многие обращают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жиан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киррин Федор Симеонович... Никаких следов растительности! — Он торжествующе посмотрел

на меня. — Ни-ка-ких! Гладкая кожа, изящество, стройность...

— Позвольте, — сказал я. — Вы сказали — Джузеппе Бальзамо... Но это то же самое, что граф Калиостро! А по Толстому, граф был жирен и очень неприятен на вид...

Маленький Человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся.

— Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович, — сказал он. — Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это... как бы вам сказать... Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости... Побыстрее, посмешнее — тяп-ляп, и так сойдет... Да-с... Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко.

Мне стало неловко.

— Да, — сказал я. — Я, конечно, не специалист. Но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился?

Маленький Человечек вздрогнул.

— Непростительная самонадеянность, — сказал он громко и поднялся. — Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты... А тут еще наглые мальчишки... — Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. — Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил... Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю. — Он приблизился к печке и боязливо поглядел вверх. — Старый я, Александр Иванович, — сказал он, тяжело вздохнув. — Старенький...

— А может быть, вам было бы удобнее... через... э-э... Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался.

— И-и, батенька, так это же был Кристобаль Хунта! Что ему — просочиться через канализацию на десяток лье... — Маленький Человечек горестно махнул рукой. — Мы попроще... Диван он с собой взял или трансгрессировал?

— Н-не знаю, — сказал я. — Дело-то в том, что он тоже опоздал.

Маленький Человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе.

— Опоздал? Он? Невероятно... Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, простите великодушно.

Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее — какая-то драма. Может быть, даже драма идей. А ведь, пожалуй, придут еще... опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник?

Веник стоял рядом с кадкой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, и он снова затрещал. Я повернулся, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я пребольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые слепы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел.

— Однако, — подумал я вслух. — Не просочиться бы в канализацию!..

Я поиском глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик кач-

нулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клекот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол. На печке аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом.

— Здравствуйте, — сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий.

Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искааться у себя под мышкой, щелкая клювом. Цилиндрик все покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату.

Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы: было двадцать минут первого. Я немного постоял над цилиндром, размышляя над законом сохранения энергии, и заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф (не обязательно данный) исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. Лучше его не трогать, подумал я. Лучше его чем-нибудь прикрыть и пусть стоит. Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндр. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в известку. От него медленно распространялся запах гнили.

— Напрасно вы это сделали, Александр Иванович, — сказал приятный мужской голос.

— Что именно? — спросил я, оглянувшись на зеркало.

— Я имею в виду умклайдет...

Говорило не зеркало. Говорил кто-то другой.

— Не понимаю, о чём речь, — сказал я. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение.

— Я говорю про умклайдет, — произнес голос. — Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или как вы его называете — волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения.

— Потому я и накрыл... Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Благодарю вас, — сказал голос.

Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову набок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью:

— Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас?

— Отнюдь, — сказал я, поднимаясь. — Прощу вас, садитесь и будьте как дома. Угодно чайку?

— Благодарю вас, — сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штаны. — Что же касается чаю, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал.

Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза. Я тоже улыбался.

— Вы, вероятно, насчет дивана? — сказал я. — Дивана, увы, нет. Мне очень жаль, и я даже не знаю...

Незнакомец всплеснул руками.

— Какие пустяки! — сказал он. — Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит... Посудите сами, Александр Иванович, устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического — я не боюсь этого слова, — именно мифического Белого Тезиса... Каждый трезво мыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о Белом Тезисе... Нет, я и говорить не желаю об этом диване.

— Как вам будет благоугодно, — сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. — Поговорим о чем-нибудь другом.

— Суеверия... Предрассудки... — рассеянно прогово-

рил незнакомец. — Леность ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть... — Он прервал самого себя. — Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически не прозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...

Я поднял руки.

— Ради бога, все, что вам угодно! Убирайте ковшник... Убирайте даже этот самый... ум... ум... эту волшебную палочку... — Тут я остановился, с изумлением обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндр стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась.

— Так будет лучше, уверяю вас, — сказал незнакомец. — Что же касается вашего великолепного предложения убрать умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно... Условности так сильны! Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к умклайдету. Я вижу, вы ушиблись, и этот орел... Я думаю, вы чувствуете... э-э... некоторое амбрё...

— Да, — сказал я с чувством. — Воняет гадостно. Как в обезьяннике.

Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал.

— Искусство управлять умклайдетом, — сказал незнакомец, — это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления умклайдетом занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист вы, вероятно, без особого труда освоили бы умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17... Но квантовый умклайдет... гиперполя... трансгрессивные воплощения... обобщенный закон Ломоносова — Лавуазье... — Он виновато развел руками.

— О чём разговор! — поспешно сказал я. — Я ведь и не претендую... Конечно же, я абсолютно не подготовлен.

Тут я спохватился и предложил ему закурить.

— Благодарю вас, — сказал незнакомец. — Не употребляю, к великому моему сожалению.

Тогда, попшевлив от вежливости пальцами, я осведомился — не спросил, а именно осведомился:

— Не позволено ли мне будет узнать, почему я обязан приятностию нашей встречи?

Незнакомец опустил глаза.

— Боюсь показаться нескромным, — сказал он, — но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но, я думаю, даже вам, как вы ни далеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета, назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности... Не будем далеко ходить за примерами. Некто — повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более что это сотрудник, достойный всяческого уважения, а говоря об уважении, я имею в виду если не манеры, то большой талант и самоотверженность, — так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь умклайдет, и умклайдет становится центром сферы событий, в которые оказывается вовлеченный человек, совершенно к оным не причастный... — Он поклонился в мою сторону. — А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредные влияния... — Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем улыбнулся мне. — Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора... Впрочем, я не намерен более мешать вам, и поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться.

Он поднялся.

— Ну что вы! — вскричал я. — Не уходите! Мне так приятно беседовать с вами, у меня к вам тысяча вопросов!..

— Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александ

р Иванович, но вы утомлены, вам необходимо отдохнуть...

— Нисколько! — горячо возразил я. — Наоборот!

— Александр Иванович, — произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза. — Но ведь вы действительно утомлены. И вы действительно хотите отдохнуть.

И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались. Говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать.

— Было исключительно приятно познакомиться с вами, — сказал незнакомец негромко.

Я видел, как он начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул.

Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клекот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке навыпуск. Он парил над цилиндром и, не прикасаясь к нему, плавно помавал огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — спросил я.

Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся.

— Не слышу ответа, — сказал я зло. Мне все еще очень хотелось спать.

— Тихо, ты, смертный, — сипло произнес детина. Он прекратил свои пассы и взял цилиндр с пола. Голос его показался мне знакомым.

— Эй, приятель! — сказал я угрожающе. — Положи эту штуку на место и очисти помещение.

Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинулся на спину и встал.

— А ну, положи умклайдет! — сказал я в полный голос.

Детина опустился на пол и, прочно упервшись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела.

— Детка, — сказал детина, — ночью надо спать. Лучше ляг сам.

Парень был явно не дурак подраться. Я, впрочем, тоже.

— Может, выйдем во двор? — деловито предложил я, подтягивая трусы.

Кто-то вдруг произнес с выражением:

— «Устремив свои мысли на высшее Я, свободный от вожделения и себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!»

Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул.

— «Бхагават-Гита!» — сказал голос. — Песнь третья, стих тридцатый.

— Это зеркало, — сказал я машинально.

— Сам знаю, — проворчал детина.

— Положи умклайдет, — потребовал я.

— Чего ты орешь, как больной слон? — сказал парень. — Твой он, что ли?

— А может быть, твой?

— Да, мой!

Тут меня осенило.

— Значит, диван тоже ты уволок?

— Не суйся не в свои дела, — посоветовал парень.

— Отдай диван, — сказал я. — На него расписка написана.

— Пошел к черту! — сказал детина, озираясь.

И тут в комнате появились еще двое: Тощий и Толстый, оба в полосатых пижамах, похожие на узников Синг-Синга.

— Корнеев! — завопил Толстый. — Так это вы воруете диван?! Какое безобразие!

— Идите вы все... — сказал детина.

— Вы грубиян! — закричал Толстый. — Вас гнать надо! Я на вас докладную подам!

— Ну и подавайте, — мрачно сказал Корнеев. — Займитесь любимым делом.

— Не смейте разговаривать со мной в таком тоне!

Вы мальчишка! Вы дерзец! Вы забыли здесь умклайдет! Молодой человек мог пострадать!

— Я уже пострадал, — вмешался я. — Дивана нет, сплю как собака, каждую ночь разговоры... Орел этот вонючий...

Толстый немедленно повернулся ко мне.

— Неслыханное нарушение дисциплины, — заявил он. — Вы должны жаловаться... А вам должно бытьстыдно! — Он снова повернулся к Корнееву.

Корнеев угрюмо запихивал умклайдет за щеку. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе:

— Вы сняли Тезис, Корнеев?

Детина мрачно ухмыльнулся.

— Да нет там никакого Тезиса, — сказал он. — Что вы все сепетите? Не хотите, чтобы мы диван воровали — дайте нам другой транслятор...

— Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника? — грозно осведомился Тощий.

Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок.

— Вам известно постановление Ученого совета? — осведомился Тощий.

— Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу, — угрюмо сказал Корнеев.

— Не разводите демагогию, — сказал Тощий. — Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться.

— Не верну я диван, — сказал Корнеев. — Эксперимент закончим — вернем.

Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство!.. — визжал он. — Хулиганство!..» Гриф опять взволнованно заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком: «Нет, вы вернете диван!» Тощий сказал мне:

— Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось.

Он кивнул и тоже двинулся к стене.

— Погодите! — вскричал я. — Орла! Орла заберите! Вместе с запахом!

Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся

и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк, стало темно, в окно снова за барабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок.

— Прозрачное масло, находящееся в корове, — с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало, — не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом.

Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холдом. Будет мне завтра от старухи, подумал я.

— Нет, — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз, — я не член клуба, я — призрак.

— Хорошо, но это не дает вам права рассказывать по клубу.

Г. Дж. Уэллс

Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего: диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышил о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, неспособных удивляться. Правда, я был далек от психологии «подумаешь эканевидаль», скорее мое состояние напоминало состояние Алисы в Стране Чудес: я был словно во сне и принимал и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами.

Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь, зашаркали и застучали каблуки, кто-то закашлял, что-то загремело и упало, и начальственный голос позвал: «Товарищ Горыныч!» Старуха не отзывалась, и в проходе начали разговаривать: «Что это за дверь?.. А, понятно. А это?» — «Тут вход в музей». — «А здесь?.. Что это — все заперто, замки...» — «Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон?» — «А где же знаменитый диван? В музее?» — «Нет. Тут должен быть запасник».

— Это здесь, — сказал знакомый угрюмый голос.

Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня (я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч), он приостановился и звучным голосом произнес:

— Так.

Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал: «Прошу прощения», — и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я знал: угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все в той же легкомысленной гавайке, и смуглого, горбоносого Романа, который подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласого я не знал. Не знал я и полного, рослого мужчину в черном, лоснящемся со спины костюме и с широкими хозяйственными движениями.

— Вот этот диван? — спросил лоснящийся мужчина.

— Это не диван, — угрюмо сказал Корнеев. — Это транслятор.

— Для меня это диван, — заявил лоснящийся, глядя в записную книжку. — Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер одиннадцать двадцать три. — Он наклонился и пощупал. — Вот он у вас влажный, Корнеев, таскали под дождем. Теперь считайте: пружины проржавели, обшивка гнила.

— Ценность данного предмета, — как мне показалось, издевательски произнес горбоносый Роман, — заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет.

— Вы это прекратите, Роман Петрович, — предложил лоснящийся с достоинством. — Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться...

— Это прибор, — сказал Корнеев безнадежно. — С ним работают...

— Этого я не знаю, — заявил лоснящийся. — Я не знаю, что это за работа с диваном.

— А мы вот знаем, — тихонько сказал Роман.

— Вы это прекратите, — сказал лоснящийся, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду?

— Я имею в виду, что это не есть диван, — сказал Роман. — Или, в доступной для вас форме, это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана.

— Я попросил бы прекратить эти намеки, — решительно сказал лоснящийся. — Насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делать свое дело. Мое дело — прекратить разбазаривание, и я его прекращаю.

— Так, — звучно сказал седовласый. Сразу стало тихо. — Я беседовал с Кристобалем Хозевичем и с Федором Симеоновичем. Они полагают, что этот диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу Второму, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор... Кто его выписывал, вы не помните, Модест Матвеевич?

— Одну минутку, — сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку. — Одну минуточку... Транслятор двухходовой ТДХ-80Е Китеяградского завода... По заявке товарища Бальзамо.

— Бальзамо работает на нем круглосуточно, — сказал Роман.

— И барахло этот ТДХ, — добавил Корнеев. — Избирательность на молекулярном уровне.

— Да-да, — сказал седовласый. — Я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кричавая солективности не гладкая... Да. А этот... э... диван?

— Ручной труд, — быстро сказал Роман. — Безотказен. Конструкции Льва бен Бецалеля. Бен Бецалель собирал и отлаживал его триста лет...

— Вот! — сказал лоснящийся Модест Матвеевич. — Вот как надо работать! Старик, а все делал сам.

Зеркало вдруг прокашлялось и сказало:

— Все оне помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в двадцать лет.

— Вот именно, — сказал Модест Матвеевич. Зеркало говорило голосом седовласого.

Седовласый досадливо поморщился.

— Не будем решать этот вопрос сейчас, — произнес он.

— А когда? — спросил грубый Корнеев.

— В пятницу на Ученом совете.

— Мы не можем разбазаривать реликвии, — вставил Модест Матвеевич.

— А мы что будем делать? — спросил грубый Корнеев.

Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом:

Видел я сам, как, подобравши черные платья,
Шла босая Канидия, простоволосая, с воем,
С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе.
Страшны были на вид. Тут начали землю ногтями
Обе рвать и черного рвать зубами ягненка...

Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало.

— Так, — сказал седовласый. — Вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы... — По лицу его было видно, что он забыл имя-отчество Корнеева, — вы пока воздержитесь... э... от посещения музея.

С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь.

— Добились своего, — сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича.

— Разбазаривать не дам, — коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку.

— Разбазаривать! — сказал Корнеев. — Плевать вам на все это. Вас отчетность беспокоит. Лишию графу вводить неохота.

— Вы это прекратите, — сказал непреклонный Модест Матвеевич. — Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия...

— Инвентарный номер одиннадцать двадцать три, — вполголоса добавил Роман.

— В таком вот аксепте, — величественно произнес Модест Матвеевич, повернулся и увидел меня. — А вы что здесь делаете? — осведомился он. — Почеку мы это вы здесь спите?

— Я... — начал я.

— Вы спали на диване, — провозгласил ледяным тоном Модест, сверля меня взглядом контрразведчика. — Вам известно, что это прибор?

— Нет, — сказал я. — То есть теперь известно, конечно.

— Модест Матвеевич! — воскликнул горбоносый Роман. — Это же наш новый программист, Саша Привалов!

— А почему он здесь спит? Почему не в общежитии?

— Он еще не зачислен, — сказал Роман, обнимая меня за талию.

— Тем более!

— Значит, пусть спит на улице? — злобно спросил Корнеев.

— Вы это прекратите, — сказал Модест. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда?

— Из Ленинграда, — сказал я мрачно.

— Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

— Пожалуйста, — сказал я, пожимая плечами.

Роман все держал меня за талию.

— Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок, но сегодня он будет ночевать у меня.

— Это другое дело. Это пожалуйста, — великолепно разрешил Модест. Он хозяйственным взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком. — В таком вот аксепте, — сказал он, поправил рухлянь на вешалке и вышел.

— Д-дубина, — выдавил из себя Корнеев. — Пень. — Он сел на диван и взялся за голову. — Ну их всех к черту. Сегодня же ночью опять утащу.

— Спокойно, — ласково сказал Роман. — Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус?

— Ну? — сказал Корнеев безнадежно.

— Это же А-Янус.

Корнеев поднял голову.

— И какая разница?

— Огромная, — сказал Роман и подмигнул. — Потому что У-Янус улетел в Москву. И в частности — по поводу этого дивана. Понял, расхититель музейных ценностей?

— Слушай, ты меня спасаешь, — сказал Корнеев, и я впервые увидел, как он улыбается.

— Дело в том, Саша, — сказал Роман, обращаясь ко мне, — что у нас идеальный директор. Он один в двух лицах. Есть А-Янус Полуэктович и У-Янус Полуэктович. У-Янус — это крупный ученый международного класса. Что же касается А-Януса, то это довольно обыкновенный администратор.

— Близнецы? — осторожно спросил я.

— Да нет, это один и тот же человек. Только он один в двух лицах.

— Ясно, — сказал я и стал надевать ботинки.

— Ничего, Саша, скоро все узнаешь, — сказал Роман ободряюще.

Я поднял голову.

— То есть?

— Нам нужен программист, — проникновенно сказал Роман.

— Мне очень нужен программист, — сказал Корнеев, оживляясь.

— Всем нужен программист, — сказал я, возвращаясь к ботинкам. — И прошу без гипноза и всяких там заколдованных мест.

— Он уже догадывается, — сказал Роман.

Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики.

— Это не наш пятак! — кричал Модест.

— А чей же это пятак?

— Я не знаю, чей это пятак! Это не мое дело! Это ваше дело — ловить фальшивомонетчиков, товарищ сержант!..

— Пятак изъят у некоего Привалова, каковой проживает здесь у вас, в Изнакурноже!..

— Ax, у Привалова? Я сразу подумал, что он ворюга!

Укоризненный голос А-Януса произнес:

— Ну-ну, Модест Матвеевич!..

— Нет, извините, Янус Полуэктович! Этого нельзя так оставить! Товарищ сержант, пройдемте!.. Он в доме... Янус Полуэктович, встаньте у окна, чтобы он не выскоцил! Я докажу! Я не позволю бросать тень на товарища Горыныч!..

У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши.

Я исчез.

Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте, все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями.

— Это кепка-невидимка, — прошипел он. — Отойди в сторонку и помалкивай.

Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату ворвался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева.

— Где он? — завопил Модест, озираясь.

— Вот, — сказал Роман, показывая на диван.

— Не беспокойтесь, стоит на месте, — добавил Корнеев.

— Я спрашиваю, где этот ваш... программист?

— Какой программист? — удивился Роман.

— Вы это прекратите, — сказал Модест. — Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок.

— Ax, вот что вы имеете в виду, — сказал Роман. — Но мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто... — Он сделал какое-то движение руками, и посередине комнаты возник человек в майке и в джинсах. Я видел его со спины и ничего о нем сказать не могу, но юный Ковалев покачал головой и сказал:

— Нет, это не он.

Модест обошел призрак кругом, бормоча:

— Майка... штаны... без ботинок... Он! Это он.

Призрак исчез.

— Да нет же, это не тот, — сказал сержант Ковалев. — Тот был молодой, без бороды...

— Без бороды? — переспросил Модест. Он был сильно сконфужен.

— Без бороды, — подтвердил Ковалев.

— М-да... — сказал Модест. — А по-моему, у него была борода...

— Так я вручаю вам повестку, — сказал юный Ковалев и протянул Модесту листок бумаги казенного вида. — А вы уж сами разбирайтесь со своим Приваловым и со своей Горыныч...

— А я вам говорю, что это не наш пятак! — зардал Модест. — Я про Привалова ничего не говорю, может быть, Привалова и вообще нет как такового... Но товарищ Горыныч наша сотрудница!..

Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать.

— Я требую разобраться немедленно! — орал Модест. — Вы мне это прекратите, товарищи милиция! Данная повестка бросает тень на весь коллектив! Я требую, чтобы вы убедились!

— У меня приказ... — начал было Ковалев, но Модест с криком: «Вы это прекратите! Я настаиваю!» — бросился на него и поволок из комнаты.

— В музей повлек, — сказал Роман. — Саша, где ты? Снимай кепку, пойдем посмотрим...

— Может, лучше не снимать? — сказал я.

— Снимай, снимай, — сказал Роман. — Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит — ни администрация, ни милиция...

Корнеев сказал:

— Ну, я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машин и вообще...

Я снял кепку.

— Вы это прекратите, — сказал я. — Я в отпуске.

— Пойдем, пойдем, — сказал Роман.

В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отпирал мощный висячий замок. «Сейчас я вам покажу наш пятак! — кричал он. — Все заприходовано... Все на месте». — «Да я ничего не говорю, — слабо защищался Ковалев. — Я только говорю, что пятаков может быть не один...» Модест распахнул дверь, и мы все вошли в обширное помещение.

Это был вполне приличный музей — со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики: много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу уволок сержанта куда-то за стены, и там они вдвоем загудели как в бочку: «Вот наш пятак...» — «А я ничего и не говорю...» — «Товарищ Горыныч...» — «А у меня приказ!..» — «Вы мне это прекратите!..»

— Полюбопытствуешь, полюбопытствуешь, Саша, — сказал Роман, сделал широкий жест и сел в кресло у входа.

Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было просто очень интересно. «Вода живая. Эффективность 52%. Допустимый осадок 0,3» (старинная прямоугольная бутыль с водой, пробка залита цветным воском). «Схема промышленного добывания живой воды». «Макет живоводоперегонного куба». «Зелье приворотное Бешковского-Траубенбаха» (аптекарская бапочка с ядовито-желтой мазью). «Кровь порченая обыкновенная» (запаянная ампула с черной жидкостью)... Над всем этим стендом висела табличка: «Активные химические средства. XII—XVIII вв.». Тут было еще много бутылочек, баночек, реторт, ампул,

пробирок, действующих и недействующих моделей установок для возгонки, перегонки и сгущения, но я пошел дальше.

«Меч-кладенец» (очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием, прикован цепью к железной стойке, витрина тщательно опечатана). «Правый глазной (рабочий) зуб графа Дракулы Задунайского» (я не Кювье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным). «След обыкновенный и след вынутый. Гипсовые отливки» (следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной). «Ступа на стартовой площадке. IX век» (мощное сооружение из серого пористого чугуна)... «Змей Горыныч, скелет, 1/25 nat. vel.» (похоже на скелет диплодока с тремя шеями)... «Схема работы огнедышащей железы средней головы»... «Сапоги-скороходы гравитационные, действующая модель» (очень большие резиновые сапоги)... «Ковер-самолет гравизащитный. Действующая модель» (ковер примерно полтора на полтора, с черкесом, обнимающим младую черкешенку на фоне соплеменных гор)...

Я дошел до стенд «Развитие идеи философского камня», когда в зале вновь появились сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по всему, им так и не удалось сдвинуться с мертвой точки. «Вы это прекратите», — вяло говорил Модест. «У меня приказ», — так же вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте...» — «Вот пусть старуха явится и даст показания...» — «Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики?..» — «А я этого и не говорил...» — «Тень на весь коллектив...» — «Разберемся...» Ковалев меня не заметил, а Модест остановился, мутно осмотрел с головы до ног, а затем поднял глаза, вяло прочитал вслух: «Го-мунку-лус лабораторный, общий вид», — и пошел дальше.

Я двинулся за ним, предчувствуя нехорошее. Роман ждал нас у дверей.

— Ну как? — спросил он.

— Безобразие, — вяло сказал Модест. — Бюрократы.

— У меня приказ, — упрямко повторил сержант Ковалев, уже из прихожей.

— Ну, выходите, Роман Петрович, выходите, — сказал Модест, позывая ключами.

Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня.

— Я извиняюсь, — сказал он. — А вы куда?

— Как — куда? — сказал я упавшим голосом.

— На место, на место идите.

— На какое место?

— Ну, где вы там стоите? Вы, извиняюсь, это... хам-мункулс? Ну и стойте, где положено...

Я понял, что погиб. И я бы наверное погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся, но в эту минуту в прихожую с топотом и стуком ввалилась Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла. При виде сержанта милиции козел взмежкнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала. Модест кинулся в прихожую, и поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Роман схватил меня за руку и, прошептав: «Ходу, ходу!..» — бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее, тяжело дыша. В прихожей кричали:

— Предъявите документы!

— Батюшки, да что же это!

— Почему козел?! Почему в помещении козел?!

— Мэ-э-э-э...

— Вы это прекратите, здесь не пивная!

— Не знаю я ваших пятаков и не ведаю!

— Мэ-э-э!..

— Гражданка, уберите козла!

— Прекратите, козел заприходован!

— Как заприходован?

— Это не козел! Это наш сотрудник!

— Тогда пусть предъявит!..

— Через окно — и в машину! — приказал Роман.

Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих с мяном шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже откатывал воротину. Мотор не заво-

дился. Терзая стартер, я увидел, как дверь избы распахнулась, из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за угол. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул из калитки и с размаху сел рядом со мной.

— Ходу! — сказал он бодро. — В центр!

Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил:

— Ну, как тебе у нас?

— Нравится, — сказал я. — Только очень шумно.

— У Наины всегда шумно, — сказал Роман. — Вздорная старуха. Она тебя не обижала?

— Нет, — сказал я. — Мы почти и не общались.

— Подожди-ка, — сказал Роман. — Притормози.

— А что?

— А вон Володька идет. Помнишь Володю?

Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и, радостно улыбаясь, пожал нам руки.

— Вот здорово! — сказал он. — А я как раз к вам иду!

— Только тебя там и не хватало, — сказал Роман.

— А чем все кончилось?

— Ничем, — сказал Роман.

— А куда вы теперь едете?

— В институт, — сказал Роман.

— Зачем? — спросил я.

— Работать, — сказал Роман.

— Я в отпуске.

— Это неважно, — сказал Роман. — Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле!

— Меня ребята ждут, — сказал я умоляюще.

— Это мы берем на себя, — сказал Роман. — Ребята абсолютно ничего не заметят.

— С ума сойти, — сказал я.

Мы проехали между магазином № 2 и столовой № 11.

— Он уже знает, куда ехать, — заметил Володя.

— Отличный парень, — сказал Роман. — Гигант!

— Он мне сразу понравился, — сказал Володя.

— Видимо, вам позарез нужен программист, —
сказал я.

— Нам нужен далеко не всякий программист, —
возразил Роман.

Я затормозил возле странного здания с вывеской
«НИИЧАВО» между окнами.

— Что это означает? — спросил я. — Могу я по
крайней мере узнать, где меня вынуждают работать?

— Можешь, — сказал Роман. — Ты теперь все
можешь. Это Научно-Исследовательский Институт
Чародейства и Волшебства... Ну, что же ты стал?
Загоняй машину!

— Куда? — спросил я.

— Ну неужели ты не видишь?

И я увидел.

Но это уже совсем другая история.

С У Е Т А С У Е Т

Б

*Среди героев рассказа выделяются один-два
главных героя, все остальные рассматриваются
как второстепенные.*

А

«Методика преподавания литературы»

Р

Около двух часов дня, когда в «Алдане»
снова перегорел предохранитель вводного
устройства, раздался телефонный звонок.
Звонил заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной части Модест
Матвеевич Каменоедов.

ГЛАВА 1

— Привалов, — сурово сказал он, —
почему вы опять не на месте?

Т

— Как это не на месте? — обиделся я.
День сегодня выдался хлопотливый, и я все
позабыл.

И

— Вы это прекратите, — сказал Модест
Матвеевич. — Вам уже пять минут назад над-
лежало явиться ко мне на инструктаж.

Н

— Елки-палки, — сказал я и повесил
трубку.

Р

Я выключил машину, снял халат и велел
девочкам не забыть вырубить ток. В большом
коридоре было пусто, за полузамерзшими окна-
ми мела пурга. Надевая на ходу куртку, я по-
бежжал в хозяйственный отдел.

О

Модест Матвеевич в лоснящемся костюме
величественно ждал меня в собственной прием-
ной. За его спиной маленький гном с волоса-
тыми ушами уныло и старательно возил паль-
цами по обширной ведомости.

С

— Вы, Привалов, как какой-нибудь этот...
хам-мункулс, — произнес Модест. — Никогда
вас нет на месте.

И

С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул: «Слушаюсь!» — и щелкнул каблуками.

— Все должны быть на своих местах, — продолжал Модест Матвеевич. — Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.

— Больше не повторится! — сказал я, выкатив глаза.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. — Так вот, Привалов, — сказал он наконец, — сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых — противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и растраиваниями. Без этих ваших дублей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды... — Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. — А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но их все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте чтобы ни одной живой души. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прецедент; сбежал черт и украл луну. Широко известный прецедент, даже в кино отражен. — Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы.

Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернулся и произнес:

— Все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать

ночь-ночь в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай — прекратите. Были сигналы: не чай он там пьет. В таком вот акцепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдохнуть. Завтра в шестнадцать ночь-ночь вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?

— Вполне, — сказал я.

— Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкарами.

— Вас понял, — сказал я и проглядел список.

Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невстроев с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим — товарищ завкарами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал.

— Что-нибудь недоступно? — осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.

— Вот тут, — сказал я вскользь, тыча пальцем в список, — наличествуют товарищи в количестве... м-м-м... двадцати одного экземпляра, лично мне не известные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать. — Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: — Во избежание.

Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.

— Все верно, — сказал он снисходительно. — Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночных работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?

Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно.

— Занимайте свой пост, — величественно сказал Модест Матвеевич. — Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.

Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.

Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчет для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. Первым делом заговорю демонов, подумал я.

У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витьяка Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.

— Ну? — сказал грубый Корнеев, останавливаясь.

— Я сегодня дежурю, — сообщил я.

— Ну и дурак, — сказал Корнеев.

— Грубый ты все-таки, Витьяка, — сказал я. — Не буду я с тобой больше общаться.

Витьяка оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.

— А что же ты будешь? — спросил он.

— Да уж найду что, — сказал я, несколько растерявшись.

Витьяка вдруг ожиился.

— Постой-ка, — сказал он. — Ты что, в первый раз дежуришь?

— Да.

— Ага, — сказал Витьяка. — И как ты намерен действовать?

— Согласно инструкции, — ответил я. — Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?

— Да собирается там одна компания, — неопределенно сказал Витьяка. — У Верочки... А это у тебя что? — Он взял у меня список. — А, мертвые души...

— Никого не пущу, — сказал я. — Ни живых, ни мертвых.

— Правильное решение, — сказал Витьяка. — Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.

— Чай дубль?

— Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный. Я взял ключ.

— Слушай, Витьяка, часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.

— Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?

— Не встречал, — сказал я. — И не забивай мне баки. В десять часов я все обесточу.

— А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город.

Тут дверь приемной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.

— Так, — произнес он, увидев нас.

Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.

— Прощу, — сказал он, подавая мне ключи. — Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь... Кстати... — он поколебался. — Я с вами не беседовал вчера?

— Да, — сказал я, — вы заходили в электронный зал. Он покивал.

— Да-да, действительно... Мы говорили о практикантах...

— Нет, — возразил я почтительно, — не совсем так. Это насчет нашего письма в Центракадемснаб. Про электронную приставку.

— Ах, вот как, — сказал он. — Ну хорошо, желаю вам спокойного дежурства... Виктор Павлович, можно вас на минутку?

Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так», — и снова принялся позываяивать ключами. Это был А-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У-Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А-Янус и У-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность.

А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался — видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.

В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче — царе Грозном опричники Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревян-

ной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче — царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче — царе Великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князь-кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувственно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибыл к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом.

— П-приветствуя вас! — пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. — Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позовню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежурю...

Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся.

— Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, п-никогда не п-помню т-телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...

— Что вы, Федор Симеонович, спасибо! — вскричал я. — Не надо! Я тут как раз поработать собрался!

— Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Эт' х-хорошо, эт' здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-черт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старье, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив... Д-дедовские п-приемчики...

Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принял сочно хрустеть.

— П-проклятье, опять ч-червивое сделал... У вас как, х-хорошее? Эт' хорошо... Я к в-вам, Саша, п-позже еще загляну, а то я н-не совсем п-понимаю все-таки систему к-команд... В-водки только выпью и з-зайду... Д-девятая д-девятая к-команда у вас там

в м-машине... Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю... Д-детективчик вам п-принесу, Г-гарднера. В-вы ведь читаете по-аглики? Х-хорошо, щельма, пишет, з-здраво! П-перри Мейсон у него там, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом еще что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикашн и к-какую-нибудь... А-азимова дам или Б-брэдбери...

Он подошел к окну и сказал восхищенно:

— П-пурга, черт возьми, л-люблю!..

Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Симеонович обернулся.

— А, К-кристо! — воскликнул он. — П-полюбуйся, Камноедов этот, д-дурак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоем останемся, в-вспомним старину, в-выпьем, а? Ч-что он тут будет мучиться?.. Ему п-плясать надо, с д-девушками...

Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:

— Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий...

— Н-ну еще бы! — загремел Федор Симеонович. — М-много крови, много п-песен за п-прелестных льется дам... К-как это там у вас?.. Только тот д-достигнет цели, кто не знает с-слова «страх»...

— Именно, — сказал Хунта. — И потом — я не терплю благотворительности.

— Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпросил Одихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборанта... Ставь теперь б-бутилку шампанского, п-не меньше... С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?

— Нас ждут, Теодор, — напомнил Хунта.

— Д-да, верно... Надо еще г-галстук найти... и валенки, такси же не д-достанешь... Мы пошли, Саша, п-не скучайте тут.

— В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, — негромко сказал Хунта. — Особенно новички.

Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плонул через левое плечо.

Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был Великим Инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались — на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного стального знакомого Кристобала Хозевича, штандартенфюрера СС в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобала Хозевича, — тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше — всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат: «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек.

Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчиком тулуше, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей.

— Это... — сказал он, приближаясь. — У меня там, может, сегодня кто вылупится. В лаборатории, значит. Надо бы, эта, присмотреть. Я ему там запасов наложил, эта, хлебца, значит, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну, а как все, эта, поест, кидаться начнет, значит. Так ты мне, мон шер, того, брякни, милый.

Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

Очень я его не любил. Был он циник, и был он дурак. Работу, которой он занимался за триста пятьдесят рублей в месяц, можно было смело назвать евгеникой, но никто ее так не называл — боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды, эта, от неудовольствия происходят, и ежели, значит, дать человеку все — хлебца, значит, отрубей пареных, — то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время Ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло заложил три экспериментальные модели: модель Человека, неудовлетворенного полностью, модель Человека, неудовлетворенного желудочно, модель Человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым — он вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серии печенораз-

дельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить и не лечить, то он, эта, будет, значит, несчастлив и даже, может, помрет. Как вот этот номер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшийся, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и, во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода (в порядке связи с производством) четыре грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

— Брякнуть-та? А домой, куда же еще в Новый год-та. Мораль должна быть, милый. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему, нес па? *

— Я знаю, что домой. По какому телефону?

— А ты, эта, в книжку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значит, в книжку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Аи масс **.

— Хорошо, — сказал я. — Брякну.

— Брякни, мон шер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по сусалам, не стесняйся. Се ля ви ***.

Я набрался храбрости и буркнул:

— А ведь мы с вами на брудершафт не пили.

* Не так ли? (франц.).

Выбегалло обожает вкраивать в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он выражается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, мы взяли на себя труд обеспечить перевод. (Прим. авторов.)

** В массе, у большинства.

*** Такова жизнь.

— Пардон?

— Ничего, это я так, — сказал я.

Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:

— А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя с наступающим. Бывай здоров. Аривуар*, значить.

Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барацковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился:

— Выбегалло забегалло?

— Забегалло, — сказал я.

— Ну-да, — сказал он. — Это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету.

Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил.

— А ну-ка, зайдись, — сказал он. — Дано: запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микротонов, кубатура... — Он оглядел комнату. — Ну, сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии Весов... Удаляй!

Я почесал за ухом.

— Сатурн... Что ты мне про Сатурн... А вектор магистратум какой?

— Ну, брат, — сказал Ойра-Ойра, — это ты сам должен...

Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие (принес заклинание). Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска (ужасно больно и глупо) и поляризовал вектор. Запах опять усилился.

— Плохо, — с упреком сказал Ойра-Ойра. — Что ты делаешь, ученик чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?

— А, — сказал я, — верно. — Я учел диверген-

цию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.

— Посредственно, — сказал он. — Зайдемся материализацией.

Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное», — говорил он. — А это отдашь Модесту. Он у нас Каменоед». В конце концов я сотворил настоящую грушу — большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.

Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело, и брюки, вместо того чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация Белого Тезиса, как аргумента достаточно произвольной функции Σ не вполне представимого человеческого счастья».

Тут он достиг значительных и важных результатов,

* До свидания.

из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам Белый Тезис, а главное — понять, что это такое и где его искать.

Упоминание о Белом Тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил Белый Тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить? Тот Белый Тезис не оправдал-таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза — я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, — я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, остались ими по сей день. Ко мне, как к представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с «этим плагиатором». В общем-то Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения («Не в деньгах счастье»), простейшие позитивные определения («Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача»), определения казуистические («Счастье есть отсутствие несчастья») и парадоксальные («Счастливее всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»).

Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:

— Я еще одно определение нашел.

— Какое? — спросил я.

— Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?

— Конечно, хотим, — сказал Роман.

Магнус Федорович вынул записную книжку и, зашинаясь, прочел:

Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пенини выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.

— Ничего не понял, — сказал Роман. — Дайте я прочту глазами.

Редькин отдал ему записную книжку и пояснил:

— Это Кристофер Лог. С английского.

— Отличные стихи, — сказал Роман.

Магнус Федорович вздохнул.

— Одни одно говорят, другие — другое.

— Тяжело, — сказал я сочувственно.

— Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?

— Вряд ли, — сказал я. — Я бы не взялся.

— Вот видите! — подхватил Магнус Федорович. — А вы у нас заведующий вычислительным центром! Кому же тогда?

— А может, его вообще нет? — сказал Роман голосом кинопровокатора.

— Чего?

— Счастья.

Магнус Федорович сразу обиделся.

— Как же его нет, — с достоинством сказал он, — когда я сам его неоднократно испытывал?

— Выменяв пени на шиллинг? — спросил Роман.

Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку.

— Вы еще молодой... — начал он.

Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшись от неожиданности к окну, сказал: «Тьфу на вас!» — и выбежал вон.

— Good God! — сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза. — Canst thou not come in by usual way as decent people do? Sir... * — добавил он.

— Beg thy pardon **, — сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что очень испугался соловозгования.

Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес:

— Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?

— Предсказанные, — сказал Роман.

— Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!

— Полезная вещь — радио, — сказал Роман.

— Я радио не слушаю, — сказал Мерлин. — У меня свои методы.

Он потряс подолом мантии и поднялся на метр от пола.

— Люстра, — сказал я, — осторожнее.

Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал:

— Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским...

* Ужель обычный путь тебе заказан, путь достойного человека? Сэр... (англ.).

** Прошу прощения (англ.).

Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалло, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом Предсказаний и Пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений — и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в двадцатые годы с соловецкой выставки юных техников. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с нею занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие вочных бдениях на Лысой Горе с Ха Эм Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами.

Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель Соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершили инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.

— Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, Герою Труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и

знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар... председатель сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал ему Мерлин, — я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука...

Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку.

— Алло, — сказал я. — Алло, вас слушают.

В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин: «И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинона, однако Мерлин сделал так, что Пеллион не заметил председателя...»

— Сэр гражданин Мерлин, — сказал я. — Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу.

Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент.

— Алло, — снова сказал я в трубку.

— Кто у аппарата?

— А вам кого нужно? — сказал я по старой привычке.

— Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов.

— Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает.

— Вот так. Докладывайте.

— Что докладывать?

— Слушайте, Привалов. Вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему в институте после окончания рабочего дня находятся люди?

— Это Мерлин, — сказал я.

— Гоните его в шею!

— С удовольствием, — сказал я. (Мерлин, несомненно подслушавший, покрылся пятнами, сказал: «Гр-рубиян!» — и растворился в воздухе.)

— С удовольствием или без удовольствия — это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вве-

ренные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того чтобы запирать их в ящик.

Выбегалло донес, подумал я.

— Вы почему молчите?

— Будет исполнено.

— В таком вот акцепте, — сказал Модест Матвеевич. — Бдительность должна быть на высоте. Доступно?

— Доступно.

Модест Матвеевич сказал: «У меня все», — и дал отбой.

— Ну ладно, — сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто. — Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу позже.

Я шел, спускаясь в темные коридоры и потом опять поднимаясь наверх. Я был один; я кричал, мне не отвечали; я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме.

Ги де Мопассан

ГЛАВА 2

Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслаждениями архитектурных излишеств, и заглянул в оконечко швейцарской. Там в фосфоресцирующем тумане маячили два макролемона Максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр — в орлянку. Они занимались этим все свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомиелита под электронным микроскопом, одетые в поноженные ливреи. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пен-

сионного возраста, сравнимого с возрастом Галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела Технического Обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство.

Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сырьо, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали мастихинские старцы, в их лицах усматривались знакомые черты Федора Симеоновича, товарища Жиана Жиакомо и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубы дневного света, но все было заприходовано, заинвентаризовано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено.

На капителях колонн и в лабиринтах исполнинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри и летучие собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и креозотом, опрыскивал гексахлораном, они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч. Они мутировали, среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы, потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно пиретрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды

ды нетопыря, как две капли воды похожего на товарища завкадрами.

В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите, — строго сказал я. — Что еще за мистика! Как не стыдно!..» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице.

Как известно, спаужи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее двенадцати этажей. Выше двенадцатого я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр, и тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойре-Ойре, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что через десять-пятнадцать лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени, нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным.

Весь первый этаж был занят отделом Линейного Счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича, здесь пахло яблоками и хвойными лесами, здесь работали самые хорошенъкие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии, здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос, никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки, не варил за живо жаб и ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купалу, по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, что-

бы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех; разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь; возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты.

Я отомкнул дверь центрального зала, и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор Детского Смеха, похожий чем-то на генератор Van de Граафа. Только в отличие от генератора он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно, — короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но я даже колебаться не стал, попятился в коридор и запер за собою дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Симеоновича представлялось мне просто кощунством.

Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженощно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то пропинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную... Федор Симеонович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле Бидструпа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением.

Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзоратель вивария, пожилой вольноотпущенний вурдалак Альфред,

пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко.

— С наступающим, — сказал я, сделав вид, что ничего не заметил.

Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил:

— Благодарствуйте. И вас тоже.

— Все в порядке? — спросил я, оглядывая ряды клеток и стойл.

— Бриарей палец сломал, — сказал Альфред.

— Как так?

— Да так уж. На восемнадцатой правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко — они же неуклюжие, гекатонхейры, — и сломал.

— Так ветеринара надо, — сказал я.

— Обойдется! Что ему, впервые, что ли...

— Нет, так нельзя, — сказал я. — Пойдем посмотрим.

Мы прошли в глубь вивария мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными со сна глазами, мимо клетки с Лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года... Гекатонхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-близнецы, первенцы Неба и Земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и Котт спали, свернувшись в узлы, из которых торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решетке и выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными девяноста двумя руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали.

— Что? — сказал я жалостливо. — Болит?

Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык.

— Страсть как болит, — сказала она. Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня.

Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вы-

вихнут. У нас в спортзале такие травмы вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя что было силы. Бриарей взревел всеми пятью-десятью глотками и повалился на спину.

— Ну-ну-ну, — сказал я, вытирая руки носовым платком. — Все уже, все...

Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся.

— Кровь бы ему пустить полезно, — сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил: — Да только какая в нем кровь — видимость одна. Одно слово — нежить.

Бриарей поднялся. Все пятьдесят голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощяя Бессмертного я задержался. Великий негодий обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развесаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджиа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги, перед огромным пюпитром и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинными пальцами неприятные движения: не то что-то завинчивал, не то что-то вонзal, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычом. (Сам З. Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое хранилище и взревывания спросонок.) Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке времени Кощяя и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении: смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл...

Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос произнес:

— А ну, урки, с кем на троих?

Мне удалось вырваться. Троє вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в две ста вольт.

— Руку отдавил, дылда очкастая! — сказал один.

— А ты не хватай, — сказал я. — Осины захотел?

Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вурдалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и плевать самодельными картами.

Я сказал Альфреду:

— Ну хорошо. По-моему, все в порядке. Пойду дальше.

— Путь добрый, — отвечал Альфред с готовностью.

Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он гримит чайником и булькает.

Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное Колесо Фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнении радиуса кривизны Колеса Фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, до десяти мегапарсеков, Ученый совет института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности.

Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у Колеса — вскакивали на обод, проезжали до

стены, соскачивали и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите, — сказал я, — это вам не балаган». Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жеваной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошелся вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж.

Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремневое ружье, старый, дряхлый солдат в мундире Преображенского полка и треуголке. Здесь размещался отдел Оборонной Магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Федора Симеоновича, в свое время отдали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецальель успешно использовал Голема при дворцовых переворотах: глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолетный эскадрон на помехах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался: часть ведьм повыходила замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркитанток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину Карлу Великому китайского, натасанного на мавров дракона, но, узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, расквирапел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров (для ночной разведки боем), василисков (для поражения противника ужасом до полной окаменелости), ковры-самолеты (для сбрасывания нечистот на неприятельские города), мечи-кладенцы различных достоинств (для компенсации малочисленности) и многое другое. Однако уже после первой мировой войны, после Длинной Берты, танков, иприта и хлора оборонная магия начала хиреть. Из отдела

началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Питирим Шварц, бывший монах и изобретатель подзорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джинн-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джиннами, выдержаными в заточении не менее трех тысяч лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержаный джинн (рассуждал Питирим Шварц), освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туга. Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла являлось недостаточное количество бутылок с джиннами, но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким тралением Красного и Средиземного морей. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Питирим потерял душевное равновесие, роздал имевшихся у него джиннов по отделам и ушел исследовать смысл жизни к Кристобалю Хунте. Больше его никто никогда не видел.

Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом, прохрипел: «Не велено, проходи дальше...» — и снова задремал. Я оглядел пустую захламленную комнату с обломками диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей, пошевелил носком ботинка валявшуюся у входа папку со смызанным грифом «Совершенно секретно». Перед прочтением сжечь и пошел прочь. Обесточивать здесь было нечего, а что касается самовозгорания, то все, что могло самовозгореться, самовозгорело здесь много лет назад.

На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине, в полукилометре от входа, идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, освещенное верстовыми столбами. Ойра-Ойра доходил до отметки «19», а настырный Витьяка Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки

«124». Он продвинулся бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада данаид в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Ученый совет неоднократно поднимал вопрос о постройке вдоль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам, однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов.

Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории, от языка атлантов до пиджин-инглиш включительно. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание Книги Судеб. Книга Судеб печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73 619 024 511 людях разумных. Первый том начался питекантропом Азыых. («Род. 2 авг. 965543 г. до н. э., ум. 13 ян. 965522 г. до н. э. Родители рамапитеки. Жена рамапитек. Дети: самец Ад-Амм, самка Э-Уа. Кочевал с трибой рамапитеков по Арагатской долине. Ел, пил, спал в свое удовольствие. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерный медведь во время охоты».) Последним в последнем томе регулярного издания, вышедшем в прошлом году, числился Франсиско-Каэтано - Августин - Лусия - и - Мануэль-и - Хосефа-и-Мигель-Лука-Карлос-Педро Тринидад. («Род. 16 июля 1491 г. н. э., ум. 17 июля 1491 г. н. э. Родители: Педро-Карлос-Лука-Мигель-и-Хосефа-и-Мануэль-и-Лусия-Августин-Каэтано-Франсиско Тринидад и Мария Тринидад (см.) Португалия. Анацефал. Кавалер Ордена Святого Духа, полковник гвардии».)

Из выходных данных явствовало, что Книга Судеб выходит тиражом в 1 (один) экземпляр и этот последний том подписан в печать еще во время полетов братьев Монгольфье. Видимо, для того, чтобы как-то удовлетворить потребности современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких выпусков я нашел и свое имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкраплялась

масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восемьмитомнике же замеченных опечаток до моей фамилии еще не добрались.

Консультировала издание Книги Судеб специальная группа в отделе Предсказаний и Пророчеств. Отдел был захудалый, запущенный, но никак не мог оправиться после кратковременного владычества сэра гражданина Мерлина, и институт неоднократно объявлял конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом, и каждый раз на конкурс подавал заявление один-единственный человек — сам Мерлин.

Ученый совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно проваливал его — сорока тремя голосами «против» при одном «за». (Мерлин по традиции тоже был членом Ученого совета.)

Отдел Предсказаний и Пророчеств занимал весь третий этаж. Я прошелся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гуси», «Группа авгуротов», «Группа пифий», «Синоптическая группа», «Группа пасьянсов», «Соловецкий Оракул». Обесточивать мне ничего не пришлось, поскольку отдел работал при свечах. На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом: «Темна вода во облацах». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой и каждую ночь она возобновлялась. Вообще на чем держался авторитет отдела, мне было совершенно непонятно. Время от времени сотрудники делали доклады на странные темы, вроде: «Очень сильно выражения глаз авгура» или «Предикторские свойства гуси из-под кофе мокко урожая 1926 года». Иногда группе пифий удавалось что-нибудь правильно предсказать, но каждый раз пифии казались такими удивленными и напуганными своим успехом, что весь эффект пропадал даром. У-Янус, человек деликатнейший, не мог, как было неоднократно отмечено, сдерживать неопределенной улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара пифий и авгуротов.

На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа: я погасил свет в кельях отдела Вечной Молодости. Молодежи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали га-

сить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой.

В лаборатории сублимаций между длинных столов бродила, зевая — руки в карманы, — унылая модель вечно молодого юнца. Ее седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф стоявшую на табуретке бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал.

Здесь стоял мой «Алдан». Я немножко полюбовался на него, какой он компактный, красивый, таинственно-блескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распластанными объятиями, и главный бухгалтер, скромно улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жиан Жиакомо, заведующий отделом Универсальных Превращений, вначале тоже обрадовался, но, убедившись, что «Алдан» не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электроннике и удостаивал нас только редкими случайными заданиями. Зато от его подчиненного и любимого ученика Витьки Корнеева спасу не было. И Ойра-Ойра постоянно сидел у меня на шее со своими зубодробительными задачами из области иррациональной метматематики. Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе, так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щекало, а сбитый с толку «Алдан», вместо того чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю шестидесятеричную, да еще менял логику, начисто отрицая принципы исключенного третьего. Федор же Симеонович Киврил забавлялся с машиной, как ребенок с игрушкой. Он мог часами играть с нею в чет-нечет, обучил ее японским шахматам, а чтобы было интереснее, вселил в машину чью-то бесмертную душу — впрочем, довольно жизнерадостную

и работающую. Янус Полуэктович (не помню уже, А или У) воспользовался машиной только один раз. Он принес с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую подсоединил к «Алдану». Примерно через десять секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел.

Но, несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на то, что одушевленный теперь «Алдан» иногда печатал на выходе: «Думаю. Прошу не мешать», несмотря на недостаток запасных блоков и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требовалось произвести логический анализ «неконгруэнтной трансгрессии в пси-поле инкуб-преобразования», — несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я провел все расчеты в работе Ойра-Ойры о механизме наследственности биполярных гомункулусов. Я составил для Витьки Корнеева таблицы напряженности М- поля дивана-транслятора в девятимерном магопространстве. Я вел рабочую калькуляцию для подшефного рыбозавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного транспортирования эликсира Детского Смеха. Я даже сосчитал вероятности решения пасьянсов «Большой слон», «Государственная дума» и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянсов и проделал все квадратуры численного метода Кристобала Хозевича, за что тот научил меня впадать в нирвану. Я был доволен, дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла.

Было еще рано — всего седьмой час. Я включил «Алдан» и немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на пятый этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах, она наметала сугробы под окнами, бешено дергала и раскачивала редкие уличные фонари.

Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича

был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками, а по сторонам, сабли наголо, стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого, красный и распухший от насморка, был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Вокруг пахло серой, паленой шерстью и стрептоцидовой мазью. Я задержался на некоторое время, рассматривая, их, потому что ифриты в наших широтах существа редкие. Но тот, что стоял справа, небритый и с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, будто он бывший людоед, и я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной.

В помещениях отдела Абсолютного Знания были открыты все форточки, потому что сюда просачивался запах селедочных голов профессора Выбегаллы. На подоконниках намело, под батареями парового отопления темнели лужи. Я закрыл форточки и прошелся между девственно чистыми столами работников отдела. На столах красовались новенькие чернильные приборы, не знавшие чернил, из чернильниц торчали окurки. Станный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай — все едино». И в интересах неувеличения энтропии вселенной они не работали. По крайней мере, большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло. По сути, задача их сводилась к анализу кривой относительного познания в области ее асимптотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники все время занимались делением нуля на нуль на настольных «мерседесах», а другие отрашивались в командировке на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретками на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии не-

определенностей методом Лопиталя. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали «Алдану» всего одну задачу, которая сводилась все к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал.

В половине одиннадцатого я вступил на этаж Амвросия Амbruазовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как «Родильный Дом». Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, значит. Компрене ву? *

В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами Эскулапа, Парацельса и самого Амвросия Амbruазовича. Амвросий Амbruазович был изображен в черной шапочке на благородных кудрях, и на его груди неразборчиво сияла какая-то медаль.

В центре лаборатории стоял автоклав, в углу — другой, побольше. Около центрального автоклава прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с паяренными отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы, но я так и не смог понять где. В лаборатории царила тишина, из недр автоклава доносились ритмичные щелкающие звуки.

Почему-то на цыпочках, я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Меня и так мутило от запаха, а тут стало совсем плохо, хотя ничего особенного я не увидел: нечто белое и бесформенное медленно колыхалось в зеленоватой полутиме. Я выключил свет, вышел и старательно запер дверь. По сусалам его, вспомнил я. Меня беспокоили смутные предчувствия. Только теперь я заметил, что вокруг порога проведена толстая магическая чер-

* Понимаете? (франц.).

та, расписанная корявыми кабалистическими знаками. Присмотревшись, я понял, что это было заклинание против гаки — голодного демона ада.

С некоторым облегчением я покинул владения Выбегаллы и стал подниматься на шестой этаж, где Жиан Жиакомо и его сотрудники занимались теорией и практикой Универсальных Превращений. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала местному, стихи были мои:

Раскопай своих подвалов
И шкафов перетряси,
Разных книжек и журналов
По возможности неси.

Я покраснел и пошел дальше. Вступив на шестой этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я крауничью подобрался к двери.

Хочу тебя прославить,
Тебя, пробивающегося сквозь метель зимним вечером.
Твое сильное дыхание и мерное биение твоего сердца...

У. Уитмен

ГЛАВА 3 Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль — это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук — он создает себе дубля безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента — он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что ходить по потолку или принимать телепатемы, но зато уж умеющего хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить

зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело — даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются, и сигарету спросить не у кого.

Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой «Москвич», ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката.

Одно время я думал, что А-Янус и У-Янус — это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего оба директора имели паспорта, дипломы, профуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством дублей долго занимался Магнус Редъкин, но задача оказалась ему явно не по силам.

Далее, Янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор еще не прекратился спор между философами и кибернетиками: считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собою кремнийорганические структуры, были дубли и на германиевой основе, а последнее время вопли в моду дубли на алюмополимерах.

И наконец, самое главное — ни А-Януса, ни У-Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями.

близнецами, они были одним человеком — Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались.

Витькин дубль стоял, упервшись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив:

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,
Для нас наука — темный лес
Чудес.
А мы нормальные астрономы — да!
Хватаем звездочки с небес...

Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался препираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже сотворенные мною чучела без рук, без ног боялись до судорог, по-видимому инстинктивно.

Справа от дубля, в углу, стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80Е, убыточное изделие Китеижградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом, в свете трех рефлекторов, блестел штопаной кожей мой старый знакомец — диван. На диван была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плывал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая, зеленого стекла четырехсторонняя бутыль, покрытая пылью. В бутыли находился опечатанный джинн, можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками.

Витькин дубль перестал рассматривать гомеостат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбку, пропел следующий куплет:

В целях природы обуздания,
В целях рассеять неученья
Тьму

Берем картину мироздания — да!
И тупо смотрим, что к чему...

Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя, что-то там с трудом проворачивать.

Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны, и спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, иначе я проснулся бы каким-нибудь малчиком с пальчик в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого Белого Тезиса. Для Модеста Матвеевича — музеинным экспонатом инвентарный номер 1123, к разбазариванию запрещенным. Для Витьки это был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь, Магнус Федорович из ревности доносил об этом завкарами товарищу Демину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы все это прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Полуэктович, которому в тесном взаимодействии с Федором Симеоновичем и при активной поддержке Жиана Жиакомо, опираясь на официальное письмо Президиума Академии наук за личными подписями четырех академиков, удалось-таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить с занимаемых позиций Модеста Матвеевича. Модест Матвеевич объявил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чем слышать и что желает он, чтобы диван инвентарный номер 1123 находился в специально отведенном для него, дивана, помещении. А ежели этого не будет, сказал Модест Матвеевич грозно, то пусть все, до академиков включительно, пеняют на себя. Янус Полуэктович согласился пенять на себя, Федор Симеонович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию.

Витька был серьезный работник, не то что шалопай из отдела Абсолютного Знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей плане-

ты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента.

Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину.

— С-скотина, — сказал дубль с выражением.

Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился:

— Работаем?

Дубль тупо глядел на меня.

— Ну брось, брось, — сказал я. — Все ясно.

Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал.

— Ну, вот что, — сказал я. — Сейчас пол-одиннадцатого. Даю тебе десять минут. Все прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам.

Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание, на столе появился «мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал:

— Н-н-ну?

— Чего ты ко мне пристал? — осведомился Витька. — Видишь ведь, что человек работает.

— Ты же дубль, — сказал я. — Не смей со мной разговаривать.

— Убери клещи, — сказал он.

— А ты не валяй дурака, — сказал я. — Тоже мне дубль.

Витька сел на край стола и устало потер уши.

— Ничего у меня сегодня не получается, — сообщил он. — Дурак я сегодня. Дубля сотворил — получился какой-то уже совершенно безмозглый. Все ронял, на умклайдет сел, животное... Треснул я его по шее, руку отбил... И окунь дохнет систематически.

Я подошел к дивану и заглянул в ванну.

— А что с ним?

— А я откуда знаю?..

— Где ты его взял?

— На рынке.

Я поднял окуня за хвост.

— А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка.

— Дубина, — сказал Витька. — Вода-то живая...

— А-а, — сказал я и стал соображать, что бы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иване-царевиче и Сером Волке.

Джинн в бутыли двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи.

— Протер бы бутыль, — сказал я, ничего не придумав.

— Что?

— Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там.

— Черт с ним, пусть скучает, — рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова проторнул там что-то. Окунь ожила.

— Видал? — сказал Витька. — Когда даю максимальное напряжение — все в порядке.

— Экземпляр... неудачный, — сказал я наугад.

Витька вынул руку из дивана и уставился на меня.

— Экземпляр... — сказал он. — Неудачный... —

Глаза его стали как у дубля. — Экземпляр экземпляру люпус эст... *

— Потом он, наверное, мороженый, — сказал я, осмелев.

Витька меня не слушал.

— Где бы рыбку взять? — сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. — Рыбочку бы...

— Зачем? — спросил я.

— Верно, — сказал Витька. — Зачем? Раз нет другой рыбы, — рассудительно произнес он, — почему бы не взять другую воду? Верно?

— Э, нет, — возразил я. — Так не пойдет.

— А как? — жадно спросил Витька.

— Выметайся отсюда, — сказал я. — Покинь помещение.

— Куда?

— Куда хочешь.

Он перелез через диван и сгреб меня за грудки.

— Ты меня слушай, понял? — сказал он угрожающе.

— На свете нет ничего одинакового. Все распределется по гауссианс. Вода воде рознь... Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств...

— Эй, милый, — позвал я его. — Новый год скоро! Не увлекайся так.

Он отпустил меня и засуетился:

— Куда же я его дел?.. Вот лапоть!.. Куда я его сунул?.. А, вот он...

Он бросился к стулу, на котором торчком стоял умклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляющее:

— Опомнись! Двенадцатый же час! Тебя же ждут! Верочка ждет!

— Не, — отвечал он. — Я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый... Дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол...

Он крутил в руках умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз.

* Перифраз латинской поговорки «человек человеку — волк».

— Выметайся, говорят тебе! — заорал я в отчаянии.

Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джинном и стал смотреть.

Витька замер в классической позе для материального заклинания (позиция «мартихор»), над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез «мерседес», исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный акавитометр. Я устроился было поудобнее и протер джинну окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории.

Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то сломя голову мчался по лестнице, кто-то кричал: «Валька! Напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!», кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жиан Жиакомо, за ним с его огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах семенил гном. Мы раскланялись. От великого прести-диктатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном пропустил ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления.

— Какого дьявола? — вскричал я и побежал на лестницу.

Институт был битком набит сотрудниками. Каза-

лось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул: треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук «мерседесов» и «рейнметаллов». И над всем этим раскатистый и победительный рык Федора Симеоновича: «Эт' хорошо, эт' здо-о-рово! Вы молодец, голубчик! Но к-какой дурак выключил г-генератор?» Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это были Володя Почкин и Эдик Амперян, они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтоны.

— А, Саша? — приветливо сказал Эдик. — Здравствуй, Саша.

— Сашка, посторонись с дороги! — крикнул Володя Почкин, пятясь задом. — Заноси, заноси!..

Я схватил его за ворот:

— Ты почему в институте? Ты как сюда попал?

— Через дверь, через дверь, пustи... — сказал Володя. — Эдика, еще правее! Ты видишь, что не проходит?

Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу, — бормотал я, прыгая через четыре ступеньки. — Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пускать без разбору!..» МакроДемоны Вход и Выход, вместо того чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфоресцируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности Вход сорвал банк примерно в семьдесят миллиардов молекул у забывшего свои обязанности Выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерили ее для одной вечеринки и держал ее за шкафом в электронном зале, и знал об этом один только Витька Корнеев. Заговор, решил я. Всех разнесу. А через вестибюль все шли и шли покрытые снегом краснолицые веселые сотрудники.

— Ну и метет! Все уши забило...

— А ты тоже ушел?

— Да ну, скучотища... Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушел...

— Ты знаешь, танцуя я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки — не помогает...

— А если пучок электронов? Масса большая? Ну тогда фотонов...

— Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну, давай хоть газовый...

— Галка, как же это ты мужа оставила?

— Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня...

Я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов, оставалось пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич.

По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джинна. Джинн, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джейн бен Джяна и закрытом сверху мощным магнитным полем. Джинна стегали высоковольтными разрядами, он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрывал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл:

— Ну хватит, ну отстаньте, ну я больше не буду... Ой-йой-йой... Ну я уже совсем тихий...

У пульта разрядника стояли спокойные немигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столовившиеся около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки.

Я подошел к ним.

— А, Сашка!

— Сашенция, ты, говорят, дежурный сегодня... Я к тебе потом забегу в зал.

— Эй, кто-нибудь сотворите ему стакан, у меня руки заняты....

Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джинн бен Джяна, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, джинн перестал скулить и начал принюхиваться. В ту же секунду кремлевские часы принялись бить двенадцать.

— Ребята! Да здравствует понедельник!

Стаканы свинулись. Потом кто-то сказал, осматривая бутылку:

— Кто творил вино?

— Я.

— Не забудь завтра заплатить.

— Ну что, еще бутылочку?

— Хватит, простудимся.

— Хороший джинн попался... Нервный немножко.

— Дареному коню...

— Ничего, полетит как миленьевский. Сорок витков продержится, а там пусть катится со своими нервами.

— Ребята, — робко сказал я, — ночь на дворе... и праздник. Шли бы вы по домам...

На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали: «Ничего, это пройдет», — и гурьбой двинулись к вольеру... Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джинна, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростендсу. Джинн трусливо причитал и неуверенно сузил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял в сторонке и смотрел, как они пристегивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжелый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джинн бен Джяна были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отцеубийцы, и рассчитаны на прямое попадание молний. К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестянные инвентарные номера. Теоретически на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней — всех великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял,

виднелось что-то вроде реактивного самолета, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину.

Джинна стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал: «Ой, щекотно!.. Ой, не могу!..» Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями. Под потолком крутились штухи, стучали о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую инкунабулу с медными застежками, двух дублей Романа Ойры-Ойры, изнемогавших под тяжеленным швеллером, потом самого Романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела Недоступных Проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела Смысла Жизни, конвойрующего на допрос к Хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев... Все были заняты и деловиты.

Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и девизом их было — «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла че-

ловеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну.

В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно (хотя круг тем у них сужается до предела). Что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определять степень обезьяноподобия, то довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов.

В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт представлял неограниченные возможности для превращения человека в мага. Но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь все зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек — переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой («Живем один раз», «Надо брать от жизни все», «Все человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остается одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может

остаться по крайней мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая,уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно еще надеяться вернуть им человеческий облик...

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбирают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле — в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой...

Я вернулся на свой пост в приемную директора, свалил бесполезные ключи в ящик и прочел несколько страниц из классического труда Я. П. Невструева «Уравнения математической магии». Эта книга читалась, как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешенными проблемами. Мне жгуче захотелось работать, и я совсем было уже решил начать на дежурство и уйти к своему «Алдану», как позвонил Модест Матвеевич.

С хрустом жуя, он сердито осведомился:

— Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню, безобразие!

— С Новым годом, Модест Матвеевич, — сказал я. Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже:

— Соответственно. Как дежурство?
— Только что обошел помещение, — сказал я. —

Все нормально.

— Самовозгораний не было?
— Никак нет.
— Везде обесточено?
— Бриарей палец сломал, — сказал я.
Он встревожился.
— Бриарей? Постойте... Ага, инвентарный номер 1489... Почему?

Я объяснил.

— Что вы предприняли?

Я рассказал.

— Правильное решение, — сказал Модест Матвеевич. — Продолжайте дежурить. У меня все.

Сразу после Модеста позвонил Эдик Амперян из отдела Линейного Счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через два часа. Потом зашел дубль Ойры-Ойры и бесцветным голосом попросил ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Я отказал. Он стал настаивать. Я выгнал его вон.

Через минуту примчался сам Роман.

— Давай ключи.

Я помотал головой.

— Не дам.

— Давай ключи!

— Иди ты в баню. Я лицо материально ответственное.

— Сашка, я сейф унесу!

Я ухмыльнулся и сказал:

— Прошу.

Роман уставился на сейф и весь напрягся, но сейф был либо заговорен, либо привинчен к полу.

— А что тебе там нужно? — спросил я.

— Документация на РУ-16, — сказал Роман. — Ну дай ключи!

Я засмеялся и протянул руку к ящику с ключами. И в то же мгновение пронзительный вонь донесся откуда-то сверху. Я вскочил.

*Горе! Малый я не сильный;
Свест упырь меня совсем...*

А. С. Пушкин

ГЛАВА 4

— Вылупился, — спокойно сказал Роман, глядя в потолок.

— Кто? — Мне было не по себе: крик был женский.

— Выбегаллов упырь, — сказал Роман. — Точнее, кадавр.

— А почему женщина кричала?

— А вот увидишь, — сказал Роман.

Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытия, как нож в замерзшее масло, затем с чмокающим звуком высекивали в воздух и снова врезались в перекрытия. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы вперемежку с мышами с испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх.

В «Родильном Доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прищ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.

Профессор Выбегалло кашал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная пареными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрюстал, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придви-

гал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьма-практиканка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скибками и, отворачиваясь, подносила их Выбегалло на вытянутых руках. Центральный автоклав был открыт, опрокинут, и вокруг него растеклась обширная зеленоватая лужа.

Выбегалло вдруг произнес неразборчиво:

— Эй, девка... эта... молока давай! Лей, значит, прямо сюда, в отрубя... Силь ву пле, значит...

Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат.

— Эх! — воскликнул профессор Выбегалло. — Посуда мала, значит! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей. Будем, значит, из чана кушать...

Стелла стала опрокидывать ведра в чан с отрубями, а профессор, ухвативши кювету, как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, раскрывшуюся вдруг невероятно широко.

— Да позвоните же ему! — жалобно закричала Стелла. — Он же сейчас все доест!

— Звонили уже, — сказали в толпе. — Ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда.

— Ну, он придет? Придет?

— Сказал, что выходит. Галоши, значит, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят.

Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель человека, неудовлетворенного желудочно. И слава богу, а то я уж подумал, что профессора хватил мозговой паралич. Как следствие напряженных занятий.

Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории, полной народа, стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрюстит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись.

Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Амперяна произнес:

— Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб. А потом?

В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском:

— Еще селедочные головы есть...

— Много?

— Две тонны.

— М-да, — сказал Эдик. — И где же они?

— Они должны подаваться по конвейеру, — сказала Стелла. — Но я попробовала, а конвейер слома...

— Между прочим, — сказал Роман громко, — уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно...

— Я тоже, — сказал Эдик.

— Поэтому, — сказал Роман, — было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиатив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев! Виктор Павлович, ты здесь?

— Нет его. Может быть, за Федором Симеоновичем сбегать?

— Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно.

— В каком режиме?

— В режиме торможения. Вплоть до тетануса. Ребята, помогайте все, кто умеет.

— Одну минутку, — сказал Эдик. — А если мы его повредим?

— Да-да-да, — сказал я. — Вы уж лучше не надо. Пусть уж он лучше меня сожрет.

— Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание.

— Начали, — сказал Эдик.

Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, вошедшие с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг

ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцепил последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнулся и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бесмысленно улыбался. Он был несомненно счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добрившийся, наконец, до желанной постели.

— Подействовало, кажется, — с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе.

Роман с сомнением поджал губы.

— У меня нет такого впечатления, — вежливо сказал Эдик.

— Может быть, у него завод кончился? — сказал я с надеждой.

Стелла жалобно сообщила:

— Это просто релаксация... Пароксизм довольства. Он скоро опять проснется.

— Слабаки вы, магистры, — сказал мужественный голос. — Пустите-ка меня, пойду Федора Симеоныча позвону.

Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча: «Что ж это будет? Саша, я боюсь!» Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бес силен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упира: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» — как упырь немедленно бы прекратил.

— Роман, — сказал я небрежно, — я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать?

Роман засмеялся и похлопал меня по плечу.

— Не трусь, — сказал он. — Это все игрушки. С Выбегаллой только связываться неохота... Этого ты не бойся, ты вон того бойся! — Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу.

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился.

Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом погремел пустыми ведрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

— Ну, держись, ребята... — прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд — оценивающий, выбирающий какую то. Володя Почкин непроизвольно произнес: «Но-но, тихо, ты...» И тут пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смущило: он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.

В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбуразович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом.

— Милай! — закричал он. — Что же это, а? Кельсетуасъен!* Стелла, что же ты, эта, смотришь!.. Где селедка? У него же потребности!.. У него же они расрут!.. Мои труды читать надо!

Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему зипун.

— Потребности надо удовлетворять! — говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвей-

* Ну и дела! (франц.).

ера. — Почему сразу не дала? Ох уж эти ле-фам, ле-фам!.. * Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорен. Чтоб, значит, не всяк мог пользоваться, потому что, эта, потребность у всех, а селедка — для модёли...

В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло, стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом.

Толпа облегченно вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые — Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая бликами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке, Г. Проницательный был прославлен фразой: «Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что Галактика вращается». Ему же принадлежали: литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое (по неграмотности) у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами: «Как всякий истинный ученый, он был немногословен...» Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающе-самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов.

Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки

на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать:

— Главное — что? — с готовностью провозгласил Выбегалло. — Главное, чтобы человек был счастлив. Замечу это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, все, что хочет, а хочет все, что может. Несна, товарищи? Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи перед собою имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, ексви, шармант *. И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она... он, значит, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Вот оно сейчас просыпается... Оно хочет. И потому оно пока несчастно. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! Минут десять-пятнадцать оно может... Вы, товарищ Питомник, там свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент... Вы, товарищ Проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я пригложу и ссылки вставлю... Вот теперь оно дремлет, но это еще не все. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значит, будет единственно верный процесс. Он да, ке **. Выбе-

* Чудесно, превосходно, прелестно (франц.).

** Говорят, что... (франц.).

галло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатур вентур, как известно, non studit libentur*. Что мы, применительно к данному случаю, переведем так: голодной куме все хлеб на уме...

— Наоборот, — сказал Ойра-Ойра.

Некоторое время Выбегалло пусто смотрел на него, затем сказал:

— Эту реалику из зала мы, товарищи, сейчас отмечаем с негодованием. Как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного — от практики. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому, и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету... Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особенных способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти духспособности мы сейчас у нее вычленим.

Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что духспособности модели спонтанно не проявятся. Тогда Выбегалло приказал начать, как он выразился, насильтвенное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел: «Мы с милым расставались, клялись в любви своей...» Радиоприемник засвистел и зауллююкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро

козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух...

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопатить, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопатить и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана (из радиоприемника) и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.

— Ногу! — закричал он, хватая за рукав Б. Питомника. — Снимайте ногу! Крупным планом! Ля вибрасье са моле гош этюн гранд синь! * Эта нога отмечает все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешиваются! Уи сан дот **, человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно — только одной потребности и, называя вещи своими именами, прямо, по-нашему, без всех этих вуалей — модель потребности желудочной. Поэтому у нее такое ограничение и в духпотребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься пами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка — надо ее слушать или там танцевать... А что, товарищи, есть слуша-

* Дрожание его левой икры есть великий признак (франц.).

** Разумеется (франц.).

* Сытое брюхо к учению глухо (латин.).

нье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Компране ву?

Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксаций у него все сокращалось и сокращалось, так что к концу речи Выбегаллы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.

— Разрешите вопрос, — вежливо сказал Эдик. — Чем вы объясняете прекращение пароксизмов довольства?

Выбегалло замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегалло посмотрел на Эдика.

— Отвечаю, — самодовольно сказал он. — Вопрос, товарищи, верный. И, я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли, теперь ему надо все время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать, — это тоже прекрасно. Понятно, товарищ Амперян?

Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича. Головы их, с широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.

— Еще вопрос можно? — сказал Роман.

— Прошу, — сказал Выбегалло с устало-снисходительным видом.

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — а что будет, когда оно все потребит?

Взгляд Выбегаллы стал гневным.

— Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизмом,

экзистенци...оа...нализмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра! Не подумали вы! А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.

Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос:

— Я, конечно, не специалист. Но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно. Но очень уж активно она потребляет.

Выбегалло горько усмехнулся.

— Вот видите, товарищ Ойра-Ойра, — сказал он. — Так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит. Не на тот идеал смотрите, товарищ Проницательный! — обратился он прямо к корреспонденту. — Данная модель есть уже проденный этап! Вот идеал, на который нужно смотреть! — Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. — Вот наш идеал! — провозгласил он. — Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря, по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из

окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.

— Простите, — вежливо сказал Эдик, — и все ее потребности будут материальными?

— Ну разумеется! — вскричал Выбегалло. — Духовные потребности разовьются в соответствии! Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей!

Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда, не могу, уйду...» Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую, брошенные магической силой, сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца...

Б. Питомник снова обратился к Выбегалле:

— А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели Амвросий Амбуразович?

— Ответ, — сказал Выбегалло. — Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена дополнительно.

— Но это будет в ближайшие дни?

— Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать.

Тут дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича, словно по команде, повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал:

— Вам не кажется, Амвросий Амбуразович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно?

— Нам опасаться нечего, — веско сказал Выбегалло. — Пусть наши враги, эта, опасаются.

— Помните, я говорил вам, что возможна...

— Вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значить, подкованы. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще...

— Все-таки, может быть, на полигоне...

— Я испытываю не бомбу, — высокомерно сказал Выбегалло. — Я испытываю модель идеального человека. Какие будут еще вопросы?

Какой-то умник из отдела Абсолютного Знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегалло с охотой пустился в объяснения. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения духовных потребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расплзаясь по швам. Ойра-Ойра изучающее глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:

— Есть предложение. Всем лично не заинтересованным немедленно покинуть помещение.

Все обернулись к нему.

— Сейчас здесь будет очень грязно, — пояснил он. — До невозможности грязно.

— Это провокация, — с достоинством сказал Выбегалло.

Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегалле — нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.

— В чем дело? — спрашивали Романа. — Что будет? Почему грязно?

— Сейчас он рванет, — отвечал Роман, не сводя глаз с двери.

— Кто рванет? Выбегалло?

— Корреспондентов жалко, — сказал Эдик. — Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?

Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал: «Давайте, ребята, давайте, я помогу, тяжело ведь...»

— Двери закройте, — посоветовал Роман.

Суетящийся лаборант поспешно захлопнул дверь и

подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.

— Ну, сейчас будет... — сказал он. — Проницательный дурак, я ему подмигивал... Как он жрет!.. С ума сойти, как он жрет...

— Сейчас двадцать пять минут третьего... — начал Роман.

И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоапарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись, Стелла опять взвизгнула.

— Спокойно, — сказал Роман. — Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше.

Лаборант, белый как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил:

— Надо посмотреть, что ли.

Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом: «Он дежурный сегодня, понял?.. Надо же кому-то идти выгребать...»

Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегалло.

Господи, в каком они были виде!..

Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Растиликая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых-ассенизаторов.

Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете.

Ф. Рабле

Больше всего меня поразило то, что Выбегалло нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вешал фальшетом:

— Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить... Есть, есть в вас, товарищи, этакий

нездоровий, значить, скентицизм. Я бы сказал, этакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло! Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы...

Пресса потеряно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Г. Проницательного била крупная дрожь. Б. Питомник мотал головой и непроизвольно облизывался.

Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало: кучка пуговиц с надписью «фор джентльмен» *, рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая искошенную челюсть гигантопитеха. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегалло осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке. «Прессу прошу ко мне, — сказал он. — Прочим предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегалло рассказывает».

Зрители разошлись. Ушел Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегалло отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпою теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше восьми утра.

Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегалло или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех

* «Мужские» (англ.).

его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больший интерес, чем карточные фокусы или шлагглотание. Можно было, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к помойке. Поэтому что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенным возможности (да и желания) разобраться в сути вопроса. Если не считать двух-трех изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой: это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование.

Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо-непонятными. Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее чуда и только чуда и практически не способны отличить настояще научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-мортале. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и фи-

логическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием Великой проблемы Ауэрса! Ее решил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегаллу. («Как, вы работаете в НИЧАВО? Ну как там Выбегалло? Что он еще новенького сотворил?») Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего двести-триста человек на всем земном шаре, и среди этих двух-трех сотен довольно много членов-корреспондентов и — увы! — нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», набитый демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б. Питомника изрядный шум. (Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости.)

Время было позднее. Я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть: многоногие гигантские комары, бородатые, как Выбегалло, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собою мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру.

«Брысь!» — заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу.

Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом «Уравнений математической магии», открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. Вот так возникают нездоровые сенсации, подумал я.

Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить вместо себя дубль.

Вообще я пока еще очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колеса фортуны — не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак.

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на об-

разы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом — сливочным, из хрустальной масленки — и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталия, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различил воожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тулица, — сказал я себе, — ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольная и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и, по мере того как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от

меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно.

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением брови ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним проследовали Федор Симеонович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто. Я принял завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета.

— Начнем с того, — с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич, — что ваш, простите «Родильный Дом» находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят выплетевые стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь, — отвечал Выбегалло фальцетом. — Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время беспечерь течет живая вода. Она у меня весь потолок замо-

чила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего.

— Г-голубчик, — пророкотал Федор Симеонович, — Амвросий Амбуазович! Надо же принять во внимание в-возможные осложнения... В-ведь никто же не занимается, скажем, д-драконом в здании, х-хотя есть и огнеупоры, и...

— У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киррин, странные у вас аналогии, чужие! Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!..

— Г-голубчик, да дело же не в том, ч-что он внеклассовый, а в том, что он п-пожар может устроить...

— Вот, опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о д-драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между городом и деревней... между мужчиной и женщиной, наконец... Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Симеонович!

— К-какую пропасть? Что за ч-чертовщина, Р-роман, в конце концов?.. Вы же ему при мне об-объясняли! Я г-говорю, Амвросий Амб-бруазович, что ваш эксперимент оп-пасен, понимаете?.. Г-город можно повредить, п-понимаете?

— Я-то все понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылуциваться среди чистого поля на ветру!

— Амвросий Амбуазович, — сказал Роман, — я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен потому...

— Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен!

Тут Роман, видимо по молодости лет, потерял терпение.

— Да не Идеальный человек! — заорал он. — А ваш гений-потребитель!

Воцарилось зловещее молчание.

— Как вы сказали? — страшным голосом осведомился Выбегалло. — Повторите. Как вы назвали идеально-го человека?

— Янус Полуэктович, — сказал Федор Симеонович, — так, друг мой, нельзя все-таки...

— Нельзя! — воскликнул Выбегалло. — Правиль-но, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного звучания! Исполин духа долж-ен появиться здесь, в стенах нашего института! Это символично! Товарищ Ойра-Ойра с его pragmatическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме! И товарищ Хунта тоже смотрит узкобо! Не смотрите на меня, товарищ Хунта; царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!

— П-прекратите д-демагогию! — взорвался, наконец, и Федор Симеонович. — К-как вам не с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за слово такое — п-простой? Это д-дубли у нас простые!..

— Я могу сказать только одно, — равнодушно со-общил Кристобаль Хозевич. — Я простой бывший Великий Инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что экспе-римент будет производиться на полигоне.

— Н-не ближе пяти к-километров от г-города, — до-бавил Федор Симеонович. — Или д-даже десяти.

По-видимому, Выбегалле ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была выюга и не было достаточного освещения для ки-нохроники.

— Так, — сказал он, — понятно. Отгораживаете нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на десять километров, а прямо уж на десять тысяч километров, Федор Симеонович? Где-нибудь по ту сторону? Где-нибудь на Аляске, Кристобаль Хозевич,

или откуда вы там? Так прямо и скажите. А мы за-шипем.

Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— Лет триста назад, — холодно произнес Хунта, — за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за го-род, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насеквоздь.

— Ничего, ничего, — сказал Выбегалло. — Это вам не Португалия. Критики не любите. Лет триста назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный.

Меня скрутило от ненависти. Почему молчит Янус? Сколько же можно? В тишине раздались шаги, в при-емную вышел бледный, оскверненный Роман и, щелкнув пальцами, создал дубль Выбегаллы. Затем он с наслаж-дением взял дубля за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успоко-ился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет.

— А ведь в-вас гнать надо, В-выбегалло, — неожи-данно спокойным голосом произнес Федор Симеоно-вич. — Вы, оказывается, н-неприятная фигура.

— Критики, критики не любите, — отвечал, отду-ваясь, Выбегалло.

И вот тут, наконец, заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у джек-лондо-новских капитанов.

— Эксперимент, согласно просьбе Амвросия Амбу-разовича, будет произведен сегодня в десять ноль-ноль. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться зна-чительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в пятнадцати кило-метрах от городской черты. Пользуюсь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество.

Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки, несомненно, странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно ве-рили, что ему виднее. Были уже precedents.

— Я пойду вызову машину, — сказал вдруг Роман и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился.

Федор Симеонович и Хунта, наверное, согласно кивали головами, а оправившийся Выбегалло вскричал:

— Правильное решение, Янус Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжелый, значит, пять тонн все-таки...

— Конечно, — сказал Янус. — Распорядитесь.

В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе.

В течение последующего часа я вместе с теми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, броненщиты и зипуны на всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное.

Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак Альфред привел грузчиков-гекатонхейров. Котт и Гиес шли охотно, оживленно галдя в сотню глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарей тащился следом, выставив перед корявый палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружатся, что он ночь не спал. Котт взял автоклав, Гиес — все остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принял распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая внизу, кричал: «Пошли! Пошли!» или «Правее бери! Зацепляешься!» В конце концов ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в виварий.

В грузовик набилось порядочно народу. Выбегалло залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал, который час. Грузовик уехал было, но через пять минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Котт и Гиес затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили два стекла. Потом Гиес сцепился с каким-то ран-

ним пьяным, который кричал: «Все на одного, да?» Гиеса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие со сна Г. Проницательный и Б. Питомник, и грузовик, наконец, уехал.

Институт опустел. Было половина девятого. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но делать было нечего, я вздохнул и пустился во второй обход.

Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька Выбегалловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как Выбегалло, нужно беспощадно передавать Хунте в качестве подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они лептательными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком Амперяном, Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь.

— С Новым годом, — сказал я.

— С Новым годом, — приветливо отозвался Эдик.

— Вот пусть Сашка скажет, — предложил Корнеев. — Саша, бывает небелковая жизнь?

— Не знаю, — сказал я. — Не видел. А что?

— Что значит — не видел? М-поле ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитывается.

— Ну и что? — сказал я. Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпущен. — Витька, — сказал я, — получилось все-таки?

— Саша не хочет говорить про небелковую жизнь, — сказал Эдик. — И он прав.

— Без белка жить можно, — сказал я, — а вот как он живет без потрохов?

— А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя, — сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате, огибая предметы.

— Я говорю, что жизнь — это белок, — возразил Эдик.

— Не ощущаю разницы, — сказал Витька. — Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни.

— Да.

— Ну, а это что? — спросил Витька. Он слабо помахал рукой.

На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и на паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол.

— Ах, — сказал он и снова лег. — Это не жизнь. Это нежить. Разве Кончей Бессмертный — это небелковое существо?

— А что тебе надо? — спросил Корнеев. — Двигается? Двигается. Питается? Питается. И размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится?

Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Еж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно.

— Нежить не есть жизнь, — сказал Эдик. — Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее: поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов.

— Хорошо, — сказал Витька.

Еж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микродубль еще меньшего размера. Тот тоже щелкнул пальцами. Появился дубль величиной с авторучку. Потом величиной со спичечный коробок. Потом — с наперсток.

— Хватит? — спросил Витька. — Каждый из них маг. Ни в одном нет и молекулы белка.

— Неудачный пример, — сказал Эдик с сожалением. — Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способна ли дать эволюция саморазмножающиеся станки с программным управлением.

— Много ты знаешь об эволюции, — сказал грубый

Корнеев. — Тоже мне Дарвин! Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность. У тебя тоже не все предки белковые. Прапрапраматерь твоя была, готов признать, достаточно сложной, но все же не белковой молекулой. И может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы — создать товарища Амперяна? Может быть, цель природы — это создание нежити руками товарища Амперяна. Может быть.

— Понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ Амперян, а потом вся планета заселяется нежитью.

— Именно, — сказал Витька.

— А мы все за ненадобностью вымерли.

— А почему бы и нет? — сказал Витька.

— У меня есть один знакомый, — сказал Эдик. — Он утверждает, будто человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.

— А почему бы в конце концов и нет?

— А потому, что мне не хочется, — сказал Эдик. — У природы свои цели, а у меня свои.

— Антропоцентрист, — сказал Витька с отвращением.

— Да, — гордо сказал Эдик.

— С антропоцентристами дискутировать не желаю, — сказал грубый Корнеев.

— Тогда давай рассказывать анекдоты, — спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один леденец.

Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький дубль был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль.

— Ребята-печки, — сказал я с искусственным оживлением. — Что же это вы не пошли на полигон?

— А зачем? — спросил Эдик.

— Ну, все-таки интересно...

— Я никогда не хожу в цирк, — сказал Эдик. — Кроме того: уби нил валес, иби нил велис*.

* Где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть (латин.).

— Это ты о себе? — спросил Витька.

— Нет. Это я о Выбегалле.

— Ребятишечки, — сказал я, — я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты?

— То есть? — сказал Витька.

— Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон.

— Холодно, — напомнил Витька. — Мороз. Выбегалло.

— Очень хочется, — сказал я. — Очень все это таинственно.

— Отпустим ребенка? — спросил Витька у Эдика.

Эдик покивал.

— Идите, Привалов, — сказал Витька. — Это будет вам стоить четыре часа машинного времени.

— Два, — сказал я быстро. Я ждал чего-нибудь подобного.

— Пять, — нахально сказал Витька.

— Ну три, — сказал я. — Я и так все время на тебя работаю.

— Шесть, — хладнокровно сказал Витька.

— Витя, — сказал Эдик, — у тебя на ушах отрастет шерсть.

— Рыжая, — сказал я злорадно. — Может быть, даже с прозеленью.

— Ладно уж, — сказал Витька. — Иди даром. Два часа меня устроят.

Мы вместе прошли в приемную. По дороге магистры затеяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел, и, спеша от меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперед.

На полигоне уже все было готово. Публика пряталась за бронеплиты. Выбегалло торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Симеонович и Кристобаль Хунта с сорокакратными биноклями в руках тихо переговаривались по-латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Б. Питомник сидел на корточках возле траншеи с рас-

крытой книжечкой и авторучкой наготове. А Г. Пропицательный, увешанный фото- и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной.

Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа, среди звезд и исчезали вновь. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотне метров от нас.

Выбегалло оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал:

— Товарищи! То-ва-ри-щи! Что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи, мы, обуреваемые сложными чувствами, замирая от ожидания, наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться... Пишите, пишите, — сказал он Б. Питомнику. — И поточнее пишите... Автоматически, значит, отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека — шевалье, значит, сан пёр э сан-репрош... *

Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и беззвучно упала в снег. Из автоклава ударила длинная, до самых звезд, струя пара.

— Даю пояснение для прессы... — начал было Выбегалло, но тут раздался страшный рев.

Земля поплыла и зашевелилась. Взвилась огромная снежная туча. Все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался, и, когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел, как жутко, гигантской чашей в мертвом свете луны ползет, заворачиваясь внутрь, край горизонта, как угрожающе раскачиваются бронеплиты, как бегут врассыпную, падают и снова вскакивают вывалившиеся в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеонович и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под патинским урагана, как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочки несутся над равниной подобно ог-

* Рыцарь без страха и упрека (*франц.*).

ромным мыльным пузырям и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Полуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру,прочно упервшись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красным, тугое облако пара, и горизонт стремительно загибался все круче и круче, и казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным блеском, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака вынырнула безобразная, искаженная бешенством физиономия джинна, глаза его крутились от ярости. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью, над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслась и опали, а джинн, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Меня подбросило высоко вверх, и, приди в себя, я обнаружил, что сижу, упираясь руками в землю, неподалеку от грузовика. Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад стоял автоклав, зияла большая воронка. Из нее поднимался белый дымок и пахло паленым.

Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постанивали. Начали чиститься, и тут обнаружилось, что некоторые раздеть до белья. Послышался ропот, затем крики: «Где брюки? Почему я без брюк? Я же был в брюках!», «Товарищи! Никто не видел моих часов?», «И моих!», «И у меня тоже пропали!», «Зуба нет, платинового! Летом только вставил...», «Ой, а у меня колечко пропало... И браслет», «Где Выбегалло? Что за безобразие? Что все это значит?», «Да черт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы? Сколько нас было?», «А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв... Джинн... А где же исполин духа?», «Где потребитель?», «Где Вы-

бегалло, наконец?», «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?», «На свертку пространства, я эти штуки знаю...», «Холодно в майке, дайте что-нибудь...», «Г-где же этот Вы-выбегалло? Где этот д-дурак?»

Земля зашевелилась, и из траншеи вылез Выбегалло. Он был без валенок.

— Поясняю для прессы, — сипло сказал он.

Но ему не дали пояснить. Магнус Федорович Редкин, пришедший специально, чтобы узнать наконец, что же такое настояще счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками, и завопил:

— Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?

— В полном соответствии с программой... — бормотал Выбегалло, озираясь. — Наш дорогой исполин...

На него надвинулся Федор Симеонович.

— Вы, м-милейший, за-зарываете свой талант в землю. В-вами надо отдел Об-оборонной Магии у-усилить. В-ваших идеальных людей н-на неприятельские б-базы сбрасывать надо. Н-на страх а-аггрессору.

Выбегалло попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошел Кристобаль Хозевич, молча, меряя его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жиан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали:

— Это же феноменально, сеньоры. Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного представить себе не мог...

Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к Выбегалле и, тронув его за плечо, сказал железным голосом:

— Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? Три фотоаппарата и один киноаппарат.

— И мое обручальное кольцо, — добавил Б. Питомник.

— Пардон, — сказал Выбегалло с достоинством. —

Он ву демандера қанд оп ура безуан де ву *. Подождите объяснений.

Корреспонденты оробели. Выбегалло повернулся и пошел к воронке. Над воронкой уже стоял Роман.

— Чего здесь только нет... — сказал он еще издали.

Исполина-потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще много сверх того. Там были фото- и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля «Москвич», три автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шарами.

Натянув валенки, Выбегалло, снисходительно улыбаясь, заявил, что теперь можно начать дискуссию. «Задавайте вопросы», — сказал он. Но дискуссии не получилось. Взбешенный Магнус Федорович вызвал милицию. Примчался на «газике» юный сержант Ковалев. Всем нам пришлось записаться в свидетели. Сержант Ковалев ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над нею. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понес демагогическую ахинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно, я мерз.

— Пошли домой, — сказал Роман.

— Пошли, — сказал я. — Откуда ты взял джинна?

— Выписал вчера со склада. Совсем для других целей.

— А что все-таки произошло? Он опять обожрался?

— Нет, просто Выбегалло дурак, — сказал Роман.

— Это понятно, — сказал я. — Но откуда катаклизм?

* Когда будет нужно, вас позовут (*франц.*).

— Все отсюда же, — сказал Роман. — Я говорил ему тысячу раз: «Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и остановит время». А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует.

— Это все зола, — продолжал он, когда мы подлетели к институту. — Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда У-Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел. И огромные разрушения, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыше.

— Действительно, — сказал я. — Он даже благодарность тебе вынес. Авансом.

— Странно, верно? — сказал Роман. — Надо бы все это тщательно продумать.

И мы стали тщательно продумывать. Это заняло у нас много времени. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться.

Но это уже совсем другая история.

ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА

Когда бог создавал время, — говорят ирландцы, — он создал его достаточно.

Г. Бёль

Восемьдесят три процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник. Этот звон влиается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового перфоратора, то гневными раскатами баса Федора Симеоновича, то скрежетом когтей василиска, играющего в термостате.

В то утро мне снился Модест Матвеевич Камноедов. Будто он стал заведующим вычислительного центра и учит меня работать на «Алдане». «Модест Матвеевич, — говорил я ему, — ведь все, что вы мне советуете, — это какой-то болезненный бред». А он орал: «Вы мне это пр-рекратите! У вас тут все др-рребедень! Бели-бер-р-рда!» Тогда я сообразил, что это не Модест Матвеевич, а мой будильник «Дружба» на одиннадцати камнях, с изображением слоника с подъятым хоботом, забормотал: «Слыши, слышу», — и забил ладонью по столу вокруг будильника.

Окно было раскрыто настежь, и я увидел ярко-синее весеннее небо и почувствовал острый весенний холодок. По карнизу, постукивая, бродили голуби. Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи — должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они вдруг принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскоить

из плоскости, через них проходящей, и я посочувствовал этому безнадежному занятию. Две мухи сели на плафон, а третья исчезла, и тогда я окончательно проснулся.

Прежде всего я отбросил одеяло и попытался воспользоваться над кроватью. Как всегда, без зарядки, без душа и завтрака это привело лишь к тому, что реактивный момент с силой вдавил меня в диван-кровать, и где-то подо мной соскочили и жалобно задребезжали пружины. Потом я вспомнил вчерашний вечер, и мне стало очень обидно, потому что сегодня я весь день буду без работы. Вчера в одиннадцать часов вечера в электронный зал пришел Кристобаль Хозевич и, как всегда, подсоединился к «Алдану», чтобы вместе с ним разрешить очередную проблему смысла жизни, и через пять минут «Алдан» загорелся. Не знаю, что там могло гореть, но «Алдан» вышел из строя надолго, и поэтому сегодня я, вместо того чтобы работать, должен буду, подобно всем волосатоухим тунеядцам, бесцельно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты.

Я сморгнулся, сел на постели и для начала набрал полную грудь праны, смешанной с холодным утренним воздухом. Некоторое время я ждал, пока прана усвоится, и в соответствии с рекомендацией думал о светлом и радостном. Затем я выдохнул холодный утренний воздух и принялся выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики. Мне рассказывали, что старая школа предписывала гимнастику йогов, но йога-комплекс, так же как и почти ныне забытый майя-комплекс, отнимал пятнадцать-двадцать часов в сутки, и с назначением на пост нового Президента АН СССР старой школе пришлось уступить. Молодежь НИИЧАВО с удовольствием ломала старые традиции.

На сто пятнадцатом приyжке в комнату впорхнул мой сожитель Витька Корнеев. Как всегда с утра, он был бодр, энергичен и даже благодушен. Он хлестнул меня по голой спине мокрым полотенцем и принялся летать по комнате, делая руками и ногами движения, как будто плывет брасом. При этом он рассказывал свои сны и тут же толковал их по Фрейду, Мерлину и

по девице Ленорман. Я сходил умылся, мы прибрались и отправились в столовую.

В столовой мы заняли свой любимый столик под большим, уже выцветшим плакатом: «Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями! Г. Флобер», откупорили бутылки с кефиром и стали есть, слушая местные новости и сплетни.

Вчерашней ночью на Лысой Горе состоялся традиционный весенний слет. Участники вели себя крайне безобразно. Вий с Хомой Брутом в обнимку пошли пляться по улицам ночного города, пьяные, приставали к прохожим, сквернословили, потом Вий наступил себе на левое веко и совсем озверел. Они с Хомой подрались, повалили газетный ларек и попали в милицию, где каждому дали за хулиганство по пятнадцать суток.

Кот Василий взял весенний отпуск — жениться. Скоро в Соловце опять объявятся говорящие котята с наследственносклеротической памятью.

Луи Седловой из отдела Абсолютного Знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет докладывать об этом на семинаре.

В институте снова появился Выбегалло. Везде ходит и хвастается, что осенен титанической идеей. Речь многих обезьян, видите ли, напоминает человеческую, записанную, значит, на магнитофонную пленку и пущенную задом наперед с большой скоростью. Так он, эта, записал в Сухумском заповеднике разговоры павианов и прослушал их, пустив задом наперед на малой скорости. Получилось, как он заявляет, нечто феноменальное, но что именно — не говорит.

В вычислительном центре опять сгорел «Алдан», но Сашка Привалов не виноват, виноват Хунта, который последнее время из принципа интересуется только такими задачами, для которых доказано отсутствие решения.

Престарелый колдун Перун Маркович Неунывой-Дубино из отдела Атеизма взял отпуск для очередного перевоплощения.

В отделе Вечной Молодости после долгой и продол-

жительной болезни скончалась модель бессмертного человека.

Академия наук выделила институтуенную сумму на благоустройство территории. На эту сумму Модест Матвеевич собирается обнести институт узорной чугунной решеткой с аллегорическими изображениями и с цветочными горшками на столбах, а на заднем дворе, между трансформаторной будкой и бензохранилищем, организовать фонтан с девяностометровой струей. Спортбюро просило у него денег на теннисный корт — отказал, объяснив, что фонтан необходим для научных размышлений, а теннис есть драконожество и рукомашество...

После завтрака все разошлись по лабораториям. Я тоже заглянул к себе и горестно побродил около «Алдана» с распахнутыми внутренностями, в которых копались неприветливые инженеры из отдела Технического Обслуживания. Разговаривать со мной они не хотели и только угрюмо рекомендовали пойти куда-нибудь и заняться своим делом. Я побрел по знакомым.

Витька Корнеев меня выгнал, потому что я мешал ему сосредоточиться. Роман читал лекцию практикан там. Володя Почкин беседовал с корреспондентом. Увидев меня, он нехорошо обрадовался и закричал: «А-а, вот он! Познакомьтесь, это наш заведующий вычислительным центром, он вам расскажет, как...» Но я очень ловко притворился собственным дублем и, сильно напугав корреспондента, сбежал. У Эдика Амперяна меня угостили свежими огурцами, и совсем было завязалась оживленная беседа о преимуществах гастрономического взгляда на жизнь, но тут у них лопнул перегонный куб и про меня сразу забыли.

В совершенном отчаянии я вышел в коридор и столкнулся с У-Янусом, который сказал: «Так», — и, помедлив, осведомился, не беседовали ли мы вчера. «Нет, — сказал я, — к сожалению, не беседовали». Он пошёл дальше, и я услышал, как в конце коридора он задает все тот же стандартный вопрос Жлану Жиакомо.

В конце концов меня занесло к абсолютникам. Я попал перед самым началом семинара. Сотрудники, позе-

вывая и осторожно поглаживая уши, рассаживались в малом конференц-зале. На председательском месте, покойно сплести пальцы, восседал завотделом магистр-академик всея Белыя, Черныя и Серыя магии многоизнанец Морис-Иоганн-Лаврентий Пупков-Задний и благосклонно взирал на суетящегося докладчика, который с двумя неумело выполненными волосатоухими дублями устанавливал на экспозиционном стенде некую машину с седлом и педалями, похожую на тренажер для страдающих ожирением. Я присел в уголке подальше от остальных, вытащил блокнот и авторучку и принял заинтересованный вид.

— Ну же-с, — произнес магистр-академик, — у вас готово?

— Да, Морис Иоганнович, — отозвался Л. Седловской. — Готово, Морис Иоганнович.

— Тогда, может быть, приступим? Что-то я не вижу Смогулия...

— Он в командировке, Иоганн Лаврентьевич, — сказали из зала.

— Ах, да, припоминаю. Экспоненциальные исследования? Ага, ага... Ну хорошо. Сегодня у нас Луи Иванович сделает небольшое сообщение относительно некоторых возможных типов машин времени... Я правильно говорю, Луи Иванович?

— Э... Собственно... Собственно, я бы назвал свой доклад таким образом, что...

— А, ну вот и хорошо. Вот вы и назовите.

— Благодарю вас. Э... Назвал бы так: «Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно».

— Очень интересно, — подал голос магистр-академик. — Однако мне помнится, что уже был случай, когда наш сотрудник...

— Простите, я как раз с этого хотел начать.

— Ах, вот как... Тогда прошу, прошу.

Сначала я слушал довольно внимательно. Я даже увлекся. Оказывается, некоторые из этих ребят занимались прелюбопытными вещами. Оказывается, некоторые из них и по сей день бились над проблемой перे-

движения по физическому времени, правда, безрезультирующе. Но зато кто-то, я забыл фамилию, кто-то из старых, знаменитых, доказал, что можно производить переброску материальных тел в идеальные миры, то есть в миры, созданные человеческим воображением. Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой Римана, принципом неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей Брутом существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существуют: мир космологических представлений человечества; мир, созданный живописцами, и даже полуабстрактный мир, нечувствительно сконструированный поколениями композиторов.

Несколько лет назад, оказывается, ученик того самого, знаменитого, собрал машину, на которой отправился путешествовать в мир космологических представлений. В течение некоторого времени с ним поддерживалась односторонняя телепатическая связь, и он успел передать, что находится на краю плоской Земли, видит внизу извивающийся хобот одного из трех слонов-атлантов и собирается спуститься вниз, к черепахе. Больше сведений от него не поступало.

Докладчик, Луи Иванович Седловой, неплохой, по-видимому, ученый, магистр, сильно страдающий, однако, от пережитков палеолита в сознании и потому вынужденный регулярно брить уши, сконструировал машину для путешествий по описываемому времени. По его словам, реально существует мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон-Кихот, Шерлок Холмс, Григорий Мелехов и даже капитан Немо. Этот мир обладает своими весьма любопытными свойствами и закономерностями, и люди, населяющие его, тем более ярки, реальны и индивидуальны, чем более талантливо, страстью и правдиво описали их авторы соответствующих произведений.

Все это меня очень заинтересовало, потому что Седловой, увлекшись, говорил живо и образно. Но потом он спохватился, что получается как-то ненаучно, понавешал на сцене схемы и графики и стал нудно, чрезвычайно специализированным языком излагать про

нические декрементные шестерни, полиходовые темпоральные передачи и про какой-то проницающий руль. Я очень скоро потерял нить рассуждений и принялся рассматривать присутствующих.

Магистр-академик величественно спал, изредка, чисто рефлекторно, поднимая правую бровь, как бы в знак некоторого сомнения в словах докладчика. В задних рядах резались в функциональный морской бой в банаховом пространстве. Двое лаборантов-заочников старательно записывали все подряд — на лицах их застыло безнадежное отчаяние и совершенная покорность судьбе. Кто-то украдкой закурил, пуская дым между колен под стол. В переднем ряду магистры и бакалавры с привычной внимательностью слушали, готовя вопросы и замечания. Одни саркастически улыбались, у других на лицах выражалось недоумение. Научный руководитель Седлового после каждой фразы докладчика одобрительно кивал. Я стал смотреть в окно, но там был все тот же осточертевший лабаз да изредка побегали мальчишки с удочками.

Я очнулся, когда докладчик заявил, что вводную часть он закончил и теперь хотел бы продемонстрировать машину в действии.

— Интересно, интересно, — сказал проснувшийся магистр-академик. — Нуте-ка? Сами отправитесь?

— Видите ли, — сказал Седловой, — я хотел бы остаться здесь, чтобы давать пояснения по ходу путешествия. Может быть, кто-нибудь из присутствующих?..

Присутствующие начали жаться. Очевидно, все вспомнили загадочную судьбу путешественника на край плоской Земли. Кто-то из магистров предложил отправить дубля. Седловой ответил, что это будет неинтересно, потому что дубли маловосприимчивы к внешним раздражениям и потому будут плохими передатчиками информации. Из задних рядов спросили, какого рода могут быть внешние раздражения. Седловой ответил, что обычные: зрительные, обонятельные, осязательные, акустические. Тогда из задних рядов опять спросили, какого рода осязательные раздражения будут превалировать. Седловой развел руками и сказал, что это зависит от поведения путешественника

в тех местах, куда он попадет. В задних рядах произнесли: «Ага...» — и больше вопросов не задавали. Докладчик беспомощно озирался. В зале смотрели кто куда и все в сторону. Магистр-академик добродушно приговаривал: «Ну? Ну что же? Молодежь! Ну? Кто?» Тогда я встал и молча пошел к машине. Терпеть не могу, когда докладчик агонизирует: стыдное, жалкое и мучительное зрелище.

Из задних рядов крикнули: «Сашка, ты куда? Опомнись!» Глаза Седлового засверкали.

— Разрешите мне, — сказал я.

— Пожалуйста, пожалуйста, конечно! — забормотал Седловой, хватая меня за палец и подтаскивая к машине.

— Одну минуточку, — сказал я, деликатно вырываясь. — Это надолго?

— Да как вам будет угодно! — вскричал Седловой. — Как вы мне скажете, так я и сделаю... Да вы же сами будете управлять! Тут все очень просто. — Он снова схватил меня и снова потащил к машине. — Вот это руль. Вот это педаль сцепления с реальностью. Это тормоз. А это газ. Вы автомобиль водите? Ну и прекрасно! Вот клавиша... Вы куда хотите — в будущее или в прошлое?

— В будущее, — сказал я.

— А, — произнес он, как мне показалось, разочарованно. — В описываемое будущее... Это, значит, всякие там фантастические романы и утопии. Конечно, тоже интересно. Только учтите, это будущее, наверное, дискретно, там должны быть огромные провалы времени, никакими авторами не заполненные. Впрочем, все равно... Так вот, эту клавишу вы нажмете два раза. Один раз сейчас, при старте, а второй раз — когда захотите вернуться. Понимаете?

— Понимаю, — сказал я. — А если в ней что-нибудь сломается?

— Абсолютно безопасно! — Он замахал руками. — Как только в ней что-нибудь испортится, хоть одна пылинка попадет между контактами, вы мгновенно вернетесь сюда.

— Дерзайте, молодой человек, — сказал магистр-

академик. — Расскажете нам, что же там, в будущем, ха-ха-ха...

Я взгромоздился в седло, стараясь ни на кого не глядеть и чувствуя себя очень глупо.

— Нажимайте, нажимайте... — страстно шептал докладчик.

Я надавил на клавишу. Это было, очевидно, что-то вроде стартера. Машина дернулась, захрюкала и стала равномерно дрожать.

— Вал погнут, — шептал с досадой Седловой. — Ну ничего, ничего... Включайте скорость. Вот так. А теперь газу, газу...

Я дал газу, одновременно плавно выжимая сцепление. Мир стал меркнуть. Последнее, что я услышал в зале, был благодушный вопрос магистра-академика: «И каким же образом мы будем за ним наблюдать?..» И зал исчез.

Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется вдоль него.

Г. Дж. Уэллс

ГЛАВА 2

Сначала машина двигалась скачками, и я был озабочен тем, чтобы удержаться в седле, обвившись ногами вокруг рамы и изо всех сил цепляясь за рулевую дугу. Краем глаза я смутно видел вокруг какие-то роскошные призрачные строения, мутно-зеленые равнины и холодное, негреющее светило в сером тумане неподалеку от зенита. Потом я сообразил, что тряска и скачки происходят оттого, что я убрал ногу с акселератора, мощности двигателя (совсем как это бывает на автомобиле) не хватает, и машина, двигаясь неравномерно, то и дело настывает на развалины античных и средневековых утопий. Я подавил газу, и движение сразу стало плавным, и я смог, наконец, устроиться поудобнее и оглядеться.

Меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами,

ми, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Вокруг в полном безветрии колыхались хлеба. Тучные прозрачные стада паслись на травке, на пригорках сидели благообразные седые пастухи. Все, как один, они читали книги и старинные рукописи. Потом рядом со мной возникли два прозрачных человека, встали в позы и начали говорить. Оба они были босы, увенчаны венками и закутаны в складчатые хитоны. Один держал в правой руке лопату, а в левой скимал свиток пергамента. Другой опирался на киркомотыгу и рассеянно играл огромной медной чернильницей, подвешенной к поясу. Говорили они строго по очереди, и, как мне сначала показалось, друг с другом. Но очень скоро я понял, что обращаются они ко мне, хотя ни один из них даже не взглянул в мою сторону. Я прислушался. Тот, что был с лопатой, длинно и монотонно излагал основы политического устройства прекрасной страны, гражданином коей он являлся. Устроитьство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов. Когда он останавливался, чтобы передохнуть и облизать губы, вступал тот, что с чернильницей. Он хвастался, будто только что отработал свои три часа перевозчиком на реке, не взял ни с кого ни копейки, потому что не знает, что такое деньги, а сейчас направляется под сень струй предаться наслаждению.

Говорили они долго — судя по спидометру, в течение нескольких лет, — а потом вдруг сразу исчезли, и стало пусто. Сквозь призрачные здания просвещивало неподвижное солнце. Неожиданно невысоко над землей медленно проплыли тяжелые летательные аппараты с перепончатыми, как у птеродактилей, крыльями. В первый момент мне показалось, что все они горят, но затем я заметил, что дым у них идет из больших конических труб. Грузно размахивая крыльями, они летели надо мной, посыпалась зола, и кто-то уронил на меня сверху суковатое полено.

В роскошных зданиях вокруг меня начали происходить какие-то изменения. Колонн у них не убавилось, и архитектура осталась по-прежнему роскошной и нелепой, но появились новые расцветки, и мрамор, помоему, сменился каким-то более современным материалом, а вместо слепых статуй и бюстов на крышах возникли поблескивающие устройства, похожие на антенны радиотелескопов. Людей на улицах стало больше, появилось огромное количество машин. Исчезли стада с читающими пастухами, однако хлеба все колыхались, хотя ветра по-прежнему не было. Я нажал на тормоз и остановился.

Оглядевшись, я понял, что стою с машиной на ленте движущегося тротуара. Народ вокруг так и кишел — самый разнообразный народ. В большинстве своем, правда, эти люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие, сложные, почти бесшумные механизмы. Так что, когда такой механизм случайно наезжал на человека, столкновения не происходило. Машины мало меня заинтересовали, наверное, потому, что на лобовой броне у каждой сидел вдохновенный до полуопознанности изобретатель, простиранно объяснявший устройство и назначение своего детища. Изобретателей никто не слушал, да они, кажется, никому в особенности и не обращались.

На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ребят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немелодичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в желтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде «дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках». Попадались и люди нормально одетые, правда, в костюмах странного покроя, и то тут, то там проталкивался сквозь толпу загорелый бородатый муж-

чина в незапятнанно-белой хламиде с кетменем или каким-нибудь хомутом в одной руке и с мольбертом или пеналом в другой. У носителей хламид вид был растерянный, они шатались от многоногих механизмов и затравленно озирались.

Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помалкивало. На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем. Вопреки бюрократам вроде Чинушкина и консерваторам вроде Твердолобова». Другой юноша нес свое: «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.

Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и уставленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошел с тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно капали скучные мужские, горькие женские и светлые детские слезы. Суровые мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопали друг друга по спинам. Поскольку многие были не одеты, хлопание это напоминало аплодисменты. Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспи-

ра, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их не замечала.

Скоро я понял, что одна половина толпы расставалась с другой половиной. Это было что-то вроде тотальной мобилизации. Из речей и разговоров мне стало ясно, что мужчины отправлялись в космос — кто на Венеру, кто на Марс, а некоторые, с совсем уже отрешенными лицами, собирались к другим звездам и даже в центр Галактики. Женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли Пантеоном, а другие — Рефрижератором. Я подумал, что поспел вовремя. Опоздай я на час, и в городе остались бы только замороженные на тысячи лет женщины. Потом мое внимание привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь с запада. Из-за стены поднимались клубы черного дыма.

— Что это там? — спросил я красивую женщину в косынке, понуро бредущую к Пантеону-Рефрижератору.

— Железная Стена, — ответила она, не останавливаясь.

С каждой минутой мне становилось все скучнее и скучнее. Все вокруг плакали, ораторы уже охрипли. Рядом со мной юноша в голубом комбинезоне прощался с девушкиной в розовом платье. Девушка монотонно говорила: «Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль...» Юноша внимал. Потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я еще успел заметить, как над городом с ревом взлетели звездолеты, планетолеты, астропланы, ионолеты, фотонолеты и астроматы, а затем все, кроме серой стены, заволоклось фосфоресцирующим туманом.

После двухтысячного года начались провалы во времени. Я летел через время, лишенное материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорались зарева. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились выше, сферические купола становились все прозрачнее, а звездолетов на пло-

щади становилось все меньше. Из-за стены непрерывно поднимался дым.

Я остановился вторично, когда с площади исчез последний астромат. Тротуары двигались. Шумных парней в комбинезонах не было. Никто не чертился. По улицам по двое и по трое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности, одетые либо странно, либо скучно. Насколько я понял, все говорили о науке. Кого-то намеревались оживлять, и профессор медицины, атлетически сложенный интеллигент, очень непривычно выглядевший в своей одинокой жилетке, растолковывал процедуру оживления верзиле биофизику, которого представлял всем встречным как автора, инициатора и главного исполнителя этой затеи. Где-то собирались прорвать дыру сквозь землю. Проект обсуждался прямо на улице при большом скоплении народа, чертежи рисовали мелком на стенах и на тротуаре. Я стал было слушать, но это оказалось такая скучища, да еще пересыпанная выпадами в адрес незнакомого мне консерватора, что я взвалил машину на плечи и пошел прочь. Меня не удивило, что обсуждение проекта сейчас же прекратилось и все занялись делом. Но зато, едва я остановился, начал разглагольствовать какой-то гражданин неопределенной профессии. Ни к селу ни к городу он повел речь о музыке. Сразу понабежали слушатели. Они смотрели ему в рот и задавали вопросы, свидетельствующие о дремучем невежестве. Вдруг по улице с криком побежал человек. За ним гнался паукообразный механизм. Судя по крикам преследуемого, это был «самопрограммирующийся кибернетический робот на тригенных куаторах с обратной связью, которые разладились и... Ой-ой, он меня сейчас расчленит!..» Странно, никто даже бровью не повел. Видимо, никто не верил в бунт машин.

Из переулка выскочили еще две паукообразные металлические машины, ростом поменьше и не такие свирепые на вид. Не успел я ахнуть, как одна из них быстро почистила мне ботинки, а другая выстирала и выгладила носовой платок. Подъехала большая белая цистерна на гусеницах и, мигая многочисленными лампочками, опрыскала меня духами. Я совсем было со-

брался уезжать, но тут раздался громовой треск и с неба на площадь свалилась громадная ржавая ракета. В толпе сразу заговорили:

— Это «Звезда Мечты»!

— Да, это она!

— Ну конечно, это она! Это она стартовала двести восемнадцать лет тому назад, о ней уже все забыли, но благодаря эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от движения на субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на два года!

— Благодаря чему? Ах, Эйнштейн... Да-да, помню. Я проходил это в школе во втором классе.

Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги.

— Это Земля? — раздраженно спросил он.

— Земля! Земля! — отклинулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки.

— Слава богу, — сказал человек, и все переглянулись. То ли не поняли его, то ли сделали вид, что не понимают.

Увечный астролетчик стал в позу и разразился речью, в которой призывал все человечество поголовно лететь на планету Хош-ни-Хош системы звезды Эоэллы в Малом Магеллановом Облаке освобождать братьев по разуму, стенающих (он так и сказал: стенающих) под властью свирепого кибернетического диктатора. Рев дюз заглушил его слова. На площадь спускались еще две ракеты, тоже ржавые. Из Пантеона-Рефрижератора побежали занедевшие женщины. Началась давка. Я понял, что попал в эпоху возвращений, и торопливо нажал на педаль.

Город исчез и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы. Странное это было зрелище: совершенная пустота и только стена на западе. Но вот, наконец, разгорелся яркий свет, и я сейчас же остановился.

Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Колыхались хлеба. Бродили тучные стада, но культурных пастухов видно не было. На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные

спуски. Совсем рядом с запада по-прежнему возвышалась стена.

Кто-то тронул меня за колено, и я вздрогнул. Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами.

— Тебе что, малыш? — спросил я.

— Твой аппарат поврежден? — осведомился он melodичным голосом.

— Взрослым надо говорить «вы», — сказал я наставительно.

Он очень удивился, потом лицо его просветлело.

— Ах да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в Эпоху Принудительной Вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением.

Я не нашелся, что ответить, и тогда он присел на корточки перед машиной, потрогал ее в разных местах и произнес несколько слов, которых я совершенно не понял. Славный это был мальчуган, очень чистенький, очень здоровый и ухоженный, но он показался мне слишком уж серьезным для своих лет.

За стеной оглушительно затрещало, и мы обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла.

— Слушай, малыш, — сказал я, — что это за стена?

Он обратил на меня серьезный застенчивый взгляд.

— Это так называемая Железная Стена, — ответил он. — К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира — Мир Гуманного Воображения и Мир Страха перед Будущим. — Он помолчал и добавил: — Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна.

— Любопытно, — сказал я. — А нельзя ли посмотреть? Что это за Мир Страха?

— Конечно, можно. Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори свое любопытство.

Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошел и ё-

решительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед:

— Не могу не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед Объединенным Советом СтаСорока Миров.

Я приоткрыл дверцу. Тррах! Бах! Уау! Аи-и-и-и! Ду-ду-ду-ду-ду! Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой меж лопаток, голую и длинноногую, палившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий рев чудовищ. Я обонял неописуемый смрад гнилого горелого небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир — прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое время я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чего доброго, побежал жаловаться в свой Объединенный Совет, и бросился к машине.

Снова сумерки беспространственного времени сомкнулись вокруг меня. Но я не отрывал глаз от Железной Стены, меня разбирало любопытство. Чтобы не терять времени даром, я прыгнул вперед сразу на миллион лет. Над стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался когда по мою сторону стены снова забрезжил свет. Я затормозил и застынал от разочарования.

Невдалеке высился громадный Пантеон-Рефрижератор. С неба спускался ржавый звездолет в виде шара. Вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Шар приземлился, из него вышел давешний пилот в голубом, а на пороге Пантеона появилась, вся в красных пятнах пролежней, девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки. Я отвел глаза — мне стало неловко. Голубой пилот и розовая девушка затянули речь.

Чтобы размять ноги, я сошел с машины и только

тут заметил, что небо над стеной непривычно чистое. Ни грохота взрывов, ни треска выстрелов слышно не было. Я осмелел и направился к коммуникационной амбразуре.

По ту сторону стены простиравлось совершенно ровное поле, рассеченное до самого горизонта глубоким рвом. Слева от рва не было видно ни одной живой души, поле там было покрыто низкими металлическими куполами, похожими на крышки канализационных люков. Справа от рва у самого горизонта гарцевали какие-то всадники. Потом я заметил, что на краю рва сидит, свесив ноги, коренастый темнолицый человек в металлических доспехах. На груди у него на длинном ремне висело что-то вроде автомата с очень толстым стволом. Человек медленно жевал, поминутно сплевывая, и глядел на меня без особенного интереса. Я, придерживая дверцу, тоже смотрел на него, не решаясь заговорить. Слишком уж у него был странный вид. Непривычный какой-то. Дикий. Кто его знает, что за человек.

Насмотревшись на меня, он достал из-под доспехов плоскую бутылку, вытащил зубами пробку, пососал из горлышка, снова сплюнул в ров и сказал хриплым голосом:

— Хэлло! Ю фром ээт сайд?

— Да, — ответил я. — То есть ѿес.

— Энд хау из ит гоуинг он аут зэа?

— Со-со, — сказал я, прикрывая дверь. — Энд хау из ит гоуинг он хиа?

— Итс о'кэй *, — сказал он флегматично и замолчал.

Подождав некоторое время, я спросил, что он здесь делает. Сначала он отвечал неохотно, но потом разговорился. Оказалось, что слева от рва человечество доводит последние дни под пятой свирепых роботов. Работы там сделались умнее людей, захватили власть,

* — Привет! Вы с той стороны?

— Да.

— Ну и как там?

— Ничего. А здесь?

— Порядок... (англ.).

пользуются всеми благами жизни, а людей загнали под землю и поставили к конвейерам. Справа от рва, на территории, которую он охраняет, людей поработили пришельцы из соседствующей вселенной. Они тоже захватили власть, установили феодальные порядки и во всю пользуются правом первой ночи. Живут эти пришельцы — дай бог всякому, но тем, кто у них в милости, тоже кое-что перепадает. А милях в двадцати отсюда, если идти вдоль рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Алтаяра, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать, что им угодно. Еще дальше к западу находится большая колония Галактической Федерации. Люди там тоже порабощены, но живут не так уж плохо, потому что его превосходительство наместник кормит их на убой и вербует из них личную гвардию Его Величества Галактического Императора А-у 3562-го. Есть еще области, порабощенные разумными паразитами, разумными растениями и разумными минералами. И наконец, за горами есть области, порабощенные еще кем-то, но о них рассказывают разные сказки, которым серьезный человек верить не станет...

Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и кувыркаясь, посыпались бомбы. «Опять началось», — проворчал человек, лег ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, гарпующим на горизонте. Я выскочил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом на ступеньках Пантеона все никак не могли покончить со своим диалогом. Я еще раз осторожно заглянул в дверцу: над равниной медленно вспухали отенные шары разрывов. Металлические колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные, оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника наскакавшие всадники в латах рубили в капусту длинными мечами, он орал и отмахивался автоматом...

Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов.

Я вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось слетать еще на миллионы лет вперед и посмотреть умирающую Землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застопорило: не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой, потом пнул педаль изо всех сил, что-то треснуло, зазвенело, колыхающиеся хлеба встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня.

— Что со сцеплением? — спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один.

— Это неважно! — закричал Луи Седловой. — Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили... А как было интересно, верно, товарищи?

Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно.

— Но я все это где-то читал, — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду.

— Ну, а как же! А как же! — вскричал Л. Седловой. — Ведь он же был в описываемом будущем!

— Приключений маловато, — сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой. — Все разговоры, разговоры...

— Ну, уж тут я ни при чем, — сказал Седловой решительно.

— Ничего себе — разговоры, — сказал я, слезая со стендса. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо.

— Нет, отчего же, — сказал какой-то бакалавр. — Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина... Помните? На тригенных куаторах... Это, знаете ли, да...

— Нуто-с? — сказал Пупков-Задний. — У нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?

Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полиходовой темпоральной передаче (его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения), и я потихонечку удалился.

У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным.

Проходили люди, и я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали, никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, а трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел Выбегалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своеобычная пшеничная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам, он не плавал руками и не принимал академических поз.

Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мертвкой белой пленкой.

— Что это с ним? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Роман. — Издох, как видишь.

— Откуда у тебя попугай?

— Сам поражаюсь, — сказал Роман.

— Может быть, он искусственный? — предположил я.

— Да нет, попугай как попугай.

— Опять, наверное, Витька на умклайдет сел.

Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко.

— «Фотон», — прочитал Роман. — И еще какие-то цифры... «Девятнадцать ноль пять семьдесят три».

— Так, — сказал сзади знакомый голос.

Мы обернулись и подтянулись.

— Здравствуйте, — сказал У-Янус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный.

— Здравствуйте, Янус Полуэктович, — сказали мы хором со всей возможной почтительностью.

Янус увидел попугая и еще раз сказал: «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно, погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил:

— Что же это ты, Фотончик?..

Он хотел сказать еще что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он постариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик.

— Роман Петрович, — сказал он. — Будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник.

Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. У-Янус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. Он некоторое время глядел в окно, потом сказал Роману, что ждет его у себя через полчаса, и ушел.

— Странно, — сказал Роман, глядя ему вслед.

— Что — странно? — спросил.

— Все странно, — сказал Роман.

Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения с развеиванием пепла по ветру, но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее, и я стал рассказывать. Роман слушал крайне рассеянно, смотрел на меня отрешенным взглядом, невпопад кивал, а потом вдруг, сказавши: «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и принялся копаться в мятой бумаге и обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил:

— А этот Седловой не пытался путешествовать в описываемое настоящее? По-моему, это было бы гораздо забавнее...

Пока я обдумывал это предложение и радовался Романову остроумию, он перевернул корзинку и высыпал содержимое на пол.

— В чем дело? — спросил я. — Диссертацию потерял?

— Ты понимаешь, Сашка, — сказал он, глядя на меня невидящими глазами, — удивительная история. Вчера я чистил печку и нашел в ней обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзинку, а сегодня его здесь нет.

— Чье перо? — спросил я.

— Ты понимаешь, зеленые птичьи перья в наших широтах попадаются крайне редко. А попугай, которого только что сожгли, был зеленым.

— Что за ерунда, — сказал я. — Ты же нашел перо вчера.

— В том-то и дело, — сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.

Стихи ненатуральны, никто не говорит стихами, кроме библя, когда он приходит со святочным подарком, или объявления о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.

Ч. Диккенс

«Алдан» чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал, невыспавшиеся злые инженеры сидели на полу и неостроумно поносили Кристобаля Хозевича. Они называли его скифом, варварам и гунном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный — Саваоф Баалович Один, — и меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторонку, сел за свой стол и стал наблюдать, как Саваоф Баалович вникает в суть разрушений.

Был он очень стар, но крепок и жилист, загорелый, с блестящей лысиной, с гладко выбритыми щеками, в ослепительно белом чесучовом костюме. К этому человеку все относились с большим пietetом. Я сам однажды видел, как он вполголоса выговаривал за что-то Модесту Матвеевичу, а грозный Модест стоял, льстиво склонившись перед ним, и приговаривал: «Слушаюсь...

Виноват. Больше не повторится...» От Саваофа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить и распрымляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И в то же время он не был магом. Во всяком случае, практикующим магом. Он не ходил сквозь стены, никогда никого не трансгрессировал и никогда не создавал своих дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела Технического Обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом Китеjkградского завода маготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от его профессии делами.

Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена С. Б. Один был ведущим магом земного шара. Кристобаль Хунта и Жиан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине шестнадцатого века он воистину стал всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения Высшего Совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова — Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третий — их совсем немного — могут, скажем, останавливать время, но только в римановом пространстве и ненадолго. Саваоф Баалович был всемогущ. Он мог все. И он ничего не мог. Потому что граничным условием уравнения Совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И С. Б. Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом Технического Обслуживания НИИЧАВО...

С его приходом дела инженеров живо пошли на лад.

Движения их стали осмысленны, злобные остроты прекратились. Я достал папку с очередными делами и принялся было за работу, но тут пришла Стеллочка, очень милая курносая и сероглазая ведьмочка, практиканка Выбегаллы, и позвала меня делать очередную стенгазету.

Мы со Стеллой состояли в редколлегии, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетаются письма с крыльшками. Вообще-то художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом пробравшийся в институт. Но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойра-Ойра, а его помощником — Володя Почкин.

— Саша, — сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами. — Пойдем.

— Куда? — сказал я. Я знал куда.

— Газету делать.

— Зачем?

— Роман очень просит, потому что Кербер лается. Говорят, осталось два дня, а ничего не готово.

Кербер Псоевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты, главным подгонялой и цензором.

— Слушай, — сказал я, — давай завтра, а?

— Завтра я не смогу, — сказала Стеллочка. — Завтра я улетаю в Сухуми. Павианов записывать. Выбегалло говорит, что надо вожака записать, как самого ответственного... Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. Пойдем, Саша, а?

Я вздохнул, сложил дела и пошел за Стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна Стеллочка. Она всегда дает первую строчку и основную идею, а в поэзии это, по-моему, самое главное.

— Где будем делать? — спросил я по дороге. — В месткоме?

— В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда. За чай. А нас пустил к себе Роман.

— А о чём писать надо? Опять про баню?

— Про баню тоже есть. Про баню, про Лысую Гору. Хому Брута надо заклеймить.

— Хома наш Брут — ужасный плут, — сказал я.

— И ты, Брут, — сказала Стелла.

— Это идея, — сказал я. — Это надо развить.

В лаборатории Романа на столе была разложена газета — огромный девственно чистый лист ватмана. Рядом с нею среди баночек с гуашью, пульверизаторов и заметок лежал живописец и киномеханик Александр Дрозд с сигаретой на губе. Рубашечка у него, как всегда, была расстегнута, и виднелся выпуклый волосатый животик.

— Здорово, — сказал я.

— Привет, — сказал Саня.

Гремела музыка — Саня крутил портативный приемник.

— Ну что тут у вас? — сказал я, сгребая заметки.

Заметок было немного. Была передовая «Навстречу празднику». Была заметка Кербера Псоевича «Результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого — начало второго квартала». Была статья профессора Выбегаллы «Наш долг — это долг перед подшефными городскими и районными хозяйствами». Была статья Володи Почкина «О всесоюзном совещании по электронной магии». Была заметка какого-то домового «Когда же продуют паровое отопление на четвертом этаже». Была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мяса» — шесть машинописных страниц через один интервал. Начиналась она словами: «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка Романа о работах отдела Недоступных Проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Кристобаля Хунты «От Севильи до Гренады. 1547 г.». Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось: отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи; наличие беззаботности в организации работы добровольной пожарной дружины; допущение азартных игр в виварии. Было несколько карикатур. На одной изображался Хома Брут, расхлюстанный и с лиловым носом. На другой высмеивалась баня — был на-

рисован голый синий человек, застывающий под ледяным душем.

— Ну и скучища! — сказал я. — А может, не надо стихов?

— Надо, — сказала Стеллочка со вздохом. — Я уже заметки и так и сяк раскладывала, все равно остается свободное место.

— А пусть Саня там чего-нибудь нарисует. Колосья какие-нибудь, расцветающие анютины глазки... А, Санька?

— Работайте, работайте, — сказал Дрозд. — Мне заголовок писать.

— Подумаешь, — сказал я. — Три слова написать.

— На фоне звездной ночи, — сказал Дрозд внушительно. — И ракету. И еще заголовки к статьям. А я не обедал еще. И не завтракал.

— Так сходи поешь, — сказал я.

— А мне не на что, — сказал он раздраженно. — Я магнитофон купил. В комиссионном. Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне пару бутербродов. С маслом и вареньем. Или, лучше, десятку соторите.

Я вынул рубль и показал ему издали.

— Вот заголовок напишешь — получишь.

— Насовсем? — живо сказал Саня.

— Нет. В долг.

— Ну, это все равно, — сказал он. — Только учти, что я сейчас умру. У меня уже начались спазмы. И холдеют конечности.

— Врет он все, — сказала Стелла. — Саша, давай вон за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем.

Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом Стелла произнесла:

— Таких людей, как этот Брут, поберегись — они сопрут!

— Что сопрут? — спросил я. — Он разве что-нибудь спер?

— Нет, — сказала Стелла. — Он хулиганил и дрался. Это я для рифмы.

Мы снова подождали. Ничего, кроме «поберегись — они сопрут», в голову мне не лезло.

— Давай рассуждать логически, — сказал я. — Имеется Хома Брут. Он напился пьяный. Дрался. Что он еще делал?

— К девушкам приставал, — сказала Стелла. — Стекло разбил.

— Хорошо, — сказал я. — Еще?

— Выражался...

— Вот странно, — подал голос Саня Дрозд. — Я с этим Брутом работал в кинобудке. Парень как парень. Нормальный...

— Ну? — сказал я.

— Ну и все.

— Ты рифму можешь дать на «Брут»? — спросил я.

— Пррут.

— Уже было, — сказал я. — Сопрут.

— Да нет. Пррут. Палка такая, которой секут.

Стелла сказала с выражением:

— Товарищ, пред тобою Брут. Возьмите прут, каким секут, секите Брута там и тут.

— Не годится, — сказал Дрозд. — Пропаганда телесных наказаний.

— Помрут, — сказал я. — Или просто — мрут.

— Товарищ, пред тобою Брут, — сказала Стелла. — От слов его все мухи мрут.

— Это от ваших стихов все мухи мрут, — сказал Дрозд.

— Ты заголовок написал? — спросил я.

— Нет, — сказал Дрозд кокетливо.

— Вот и займись.

— Позорят славный институт, — сказала Стелла, — такие пьяницы, как Брут.

— Это хорошо, — сказал я. — Это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль, свежая и оригинальная.

— Чего же в ней оригинального? — спросил простодушный Дрозд.

— Я не стал с ним разговаривать.

— Теперь надо описать, — сказал я, — как он ху-

лиганил. Скажем, так. Напился пьян, как павиан, за словом не полез в карман, был человек, стал хулиган.

— Ужасно, — сказала Стелла с отвращением.

Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттонырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило.

— Коленками назад! — сказал я. — Песенка!

— «Сидел кузнецик маленький коленками назад», — сказала Стелла.

— Точно, — сказал Дрозд, не оборачиваясь. — И я ее знаю. «Все гости расположились коленками назад», — пропел он.

— Подожди, подожди, — сказал я. Я чувствовал вдохновение. — Дерется и бранится он, и вот вам результат: влекут его в милицию коленками назад.

— Это ничего, — сказала Стелла.

— Понимаешь? — сказал я. — Еще пару строф, и чтобы везде был рефрен «коленками назад». Упился сверх кондиции... Погнался за девицей... Что-нибудь вроде этого.

— Отчаянно напился он, — сказала Стелла. — Сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад.

— Блеск! — сказал я. — Записывай. А он вламывался?

— Вламывался, вламывался.

— Отлично! — сказал я. — Ну, еще одну строфу.

— Погнался за девицей коленками назад, — сказала Стелла задумчиво. — Первую строчку нужно...

— Амуниция, — сказал я. — Полиция. Амбиция. Юстиция.

— Ютится он, — сказала Стелла. — Стремится он. Не бриться и не мыться...

— Он, — добавил Дрозд. — Это верно. Это у вас получилась художественная правда. Сроду он не брился и не мылся.

— Может, вторую строчку придумаем? — предложила Стелла. — Назад — аппарат — автомат...

— Гад, — сказал я. — Рад.

— Мат, — сказал Дрозд. — Шах, мол, и мат.

Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой.

— Играет и развивается он, — сказал я наконец, — ругаясь, как пират. Погнался за девицей коленками назад.

— Пират — как-то... — сказала Стелла.

— Тогда: сам черт ему не брат.

— Это уже было.

— Где.. Ах да, действительно было.

— Как тигра полосат, — предложил Дрозд.

Тут послышалось легкое царапанье, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась.

— Смотри-ка! — изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке.

В щель вплоть маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке.

— Попугайчик! — воскликнул Дрозд. — Попугай! Цып-цып-цып-цып...

Он стал делать пальцами движения, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрюкло выкрикнул:

— Р-реактор! Р-реактор! Надо выдер-ржать!

— Какой сла-авий! — воскликнула Стелла. — Сания, поймай его...

Дрозд двинул было к попугаю, но остановился.

— Он же, наверное,кусается, — опасливо произнес он. — Вон клюв какой.

Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того, вчерашнего. Родной единокровный брат-близнец. Полным-полно попугаев, подумал я.

Дрозд отмахнулся кисточкой.

— Еще долбанет, пожалуй, — сказал он.

Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул:

— Пр-роксима Центавр-р-ра! Р-рубидий! Р-рубидий!

Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадило, и чашки весов, мелко трясясь, позвякивали о подставку.

— По-моему, он больной, — сказал Дрозд. Он расеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть.

— Ребята, — сказал я, — кто-нибудь раньше видел в институте попугаев?

Стелла помотала головой. Дрозд пожал плечами.

— Что-то слишком много попугаев за последнее время, — сказал я. — И вчера вот тоже...

— Наверное, Янус экспериментирует с попугаями, — сказала Стелла. — Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде...

Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман Ойра-Ойра, Витька Корнеев, Эдик Амперян и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся и очень бодрый, принял листать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замредактора исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил Дрозда за толстый загризок, согнул его пополам и принялся тыкать носом в газету, приговаривая: «Заголовок где? Где заголовок, Дроздилло?» Роман потребовал от нас готовых стихов. А Эдик, не имевший к газете никакого отношения, прошел к шкафу и принял с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал: «Овер-сан! Овер-сан!» — и все замерли.

Роман уставился на попугая. На лице его появилось давешнее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил Дрозда и сказал: «Вот так штука, попугай!» Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост.

— Оставь, Витька! — закричала Стелла сердито. — Что за манера — мучить животных?

Попугай заорал. Все столпились вокруг него. Корнеев держал его, как голубя, Стелла гладила по хохол-

ку, а Дрозд нежно перебирал перья в хвосте. Роман посмотрел на меня.

— Любопытно, — сказал он. — Правда?

— Откуда он здесь взялся, Саша? — вежливо спросил Эдик.

Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса.

— Зачем Янусу попугай? — осведомился Эдик.

— Ты это меня спрашиваешь? — сказал я.

— Нет, это вопрос риторический, — серьезно сказал Эдик.

— Зачем Янусу два попугая? — сказал я.

— Или три, — тихонько добавил Роман.

Корнеев обернулся к нам.

— А где еще? — спросил он, с интересом озираясь.

Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть его за палец.

— Отпусти ты его, — сказал я. — Видишь, ему не здоровится.

Корнеев отсхнул Дрозда и слова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился и растопырил крылья.

— Бог с ним, — сказал Роман. — Потом разберемся. Где стихи?

Стелла быстро протораторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок, Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев скомандовал:

— Расстрелять. Из крупнокалиберного пулемета. Вы когда-нибудь научитесь писать стихи?

— Пиши сам, — сказал я сердито.

— Я писать стихи не могу, — сказал Корнеев. — По натуре я не Пушкин. Я по натуре Белинский.

— Ты по натуре кадавр, — сказала Стелла.

— Пардон! — потребовал Витька. — Я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю! Я вам еще припомню ваше творение про дачи.

— Какое? — спросил Эдик.

Корнеев немедленно процитировал:

— «Я хочу построить дачу. Где? Вот главная задача! Только местный комитет не дает пока ответ». Было? Признавайтесь!

— Мало ли что, — сказал я. — У Пушкина тоже

были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют.

— А я знаю, — сказал Дрозд.

Роман повернулся к нему.

— У нас будет сегодня заголовок или нет?

— Будет, — сказал Дрозд. — Я уже букву «К» нарисовал.

— Какую «К»? При чем здесь «К»?

— А что, не надо было?

— Я сейчас умру, — сказал Роман. — Газета называется «За передовую магию». Покажи мне там хоть одну букву «К»!

Дрозд, уставясь в стену, пошевелил губами.

— Как же так? — сказал он наконец. — Откуда же я взял букву «К»? Была же буква «К»!

Роман рассвирепел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стэллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «К» в стилизованную букву «З». Эдик Амперян пытался улизнуть с психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал ему перепечатывать заметки на машинке с одновременной правкой стиля и орфографии. Сам Роман принялся расхаживать по лаборатории, заглядывая всем через плечи.

Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему: «В нашей бане завсегда льет холодная вода», «Кто до чистоты голодный, не удовлетворится водой холодной», «В институте двести душ, все хотят горячий душ» и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина! — втолковывал он нам. — Или хотя бы у Почкина. Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему... «Вот по дороге едет ЭИЛ, и им я буду задавим...» Какая физическая сила заключена в этих строках! Какая ясность чувства!» Мы неумело отругивались. Саня Дрозд дошел до буквы «И» в слове «передовую». Эдик починил пульверизатор и опробовал

его на Романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятия, искал на машинке букву «Ц». Все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал:

— Саша, глянь-ка сюда.

Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесовой пленкой, а хохолок обвис.

— Помер, — сказал Дрозд жалостливо.

Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особых мыслей в голове, а если и были, то где-то в подсознании, но я протянул руку, взял попугая и осмотрел его лапы. И сейчас же Роман спросил меня:

— Есть?

— Есть, — сказал я.

На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, и на колечке было выгравировано: «Фотон», — и стояли цифры: «190573». Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал:

— А ну, рассказывайте, что вам известно.

— Расскажем? — спросил Роман.

— Бред какой-то, — сказал я. — Фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли.

Роман снова внимательно осмотрел трупик.

— Да нет, — сказал он. — В том-то все и дело. Это не дубль. Это самый что ни на есть оригинал.

— Дай посмотреть, — сказал Корнеев.

Втроем с Володей Почкиным и с Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль и что они не понимают, почему это нас так трогает. «Возьмем, скажем, меня, — предложил Корнеев. — Я вот тоже не дубль. Почему это вас не поражает?»

Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства Стэллу, открывшего рот Володю Почкина, издевательски улыбающегося Витьку и рассказал им про все — про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину для мусора; и про то, как вчера этого пера в корзине не оказалось, но за-

то на столе (на этом самом столе) объявился мертвый попугай, точная копия вот этого, и тоже не дубль; и про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку.

Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом Романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сыр-бор, и что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлестче. Стеллочка тоже казалась разочарованной. Но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на лицах их читался протест. Корнеев решительно сказал:

— Врете. Причем неумело.

— Это все-таки не тот попугай, — сказал вежливый Эдик. — Вы, наверное, ошиблись.

— Да тот, — сказал я. — Зеленый, с колечком.

— Фотон? — спросил Володя Почкин прокурорским голосом.

— Фотон. Янус его Фотончиком называл.

— А цифры? — спросил Володя.

— И цифры.

— Цифры те же? — спросил Корнеев грозно.

— По-моему, те же, — ответил я нерешительно, оглядываясь на Романа.

— А точнее? — потребовал Корнеев. Он прикрыл красной лапой попугая. — Повтори, какие тут цифры?

— Девятнадцать... — сказал я. — Э-э... ноль два, что ли? Шестьдесят три.

Корнеев заглянул под ладонь.

— Врешь, — сказал он. — Ты? — обратился он к Роману.

— Не помню, — сказал Роман спокойно. — Кажется, не ноль три, а ноль пять.

— Нет, — сказал я. — Все-таки ноль шесть. Я помню, там такая закорючка была.

— Закорючка, — сказал Почкин презрительно. — Ше Холмы! Нэ Пинкертоны! Закон причинности им надоел...

Корнеев засунул руки в карманы.

— Это другое дело, — сказал он. — Я даже не на-

стаиваю на том, что вы врете. Просто вы перепутали. Попугай все зеленые, многие из них окольцованны, эта пара была из серии «Фотон». А память у вас дырявая. Как у всех стихоплетов и редакторов плохих стенгазет.

— Дырявая? — осведомился Роман.

— Как терка.

— Как терка? — повторил Роман, странно усмехаясь.

— Как старая терка, — пояснил Корнеев. — Ржавая. Как сеть. Крупноячеистая.

Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы.

— Итак, — сказал он, — крупноячеистая и ржавая. Посмотрим... Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — прочитал он.

Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском стокнулись лбами.

— Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев. Это было очень эффектно. Стелла немедленно завизжала от удовольствия.

— Подумаешь, — сказал Дрозд, не отрываясь от заголовка. — У меня однажды совпал номер на лотерейном билете, и я побежал в сберкассу получать автомобиль. А потом оказалось...

— Почему это ты записал номер? — сказал Корнеев, прищурившись на Романа. — Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан?

— Блестяще! — сказал Почкин. — Витька, ты молодец. Ты попал в самую точку. Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!

— Идиоты! — сказал Роман. — Что я вам — Выбегалло?

Корнеев подскочил к нему и осмотрел его уши.

— Иди к дьяволу! — сказал Роман. — Саша, ты только полюбуйся на них!

— Ребята, — сказал я укоризненно, — да кто же так шутит? За кого вы нас принимаете?

— А что остается делать? — сказал Корнеев. — Кто-то врет. Либо вы, либо законы природы. Я верю в законы природы. Все остальное меняется.

Впрочем, он быстро скис, сел в сторонке и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок. Стелла глядела на всех по очереди испуганными глазами. Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик.

— Если даже никакие законы не нарушаются, — рассудительно сказал он, — все равно остается странное неожиданное появление большого количества попугаев в одной и той же комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе прелюбопытнейшая личность?

— Кажется, — сказал я.

— И мне тоже кажется, — сказал Эдик. — Чем он, собственно, занимается, Роман?

— Сматря какой Янус. У-Янус занимается связью с параллельными пространствами.

— Гм, — сказал Эдик. — Это нам вряд ли поможет.

— К сожалению, — сказал Роман. — Я вот тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом, и ничего не могу придумать.

— Но ведь он странный человек? — спросил Эдик.

— Да, несомненно. Начать с того, что их двое и он один. Мы к этому так привыкли, что не думаем об этом...

— Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе, мы слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть одну какую-нибудь странность.

— Странность номер один, — сказал я. — Любовь к умирающим попугаям.

— Пусть так, — сказал Эдик. — Еще?

— Сплетники, — сказал Дрозд с достоинством. — Вот я у него однажды просил в долг.

— Да? — сказал Эдик.

— И он мне дал, — сказал Дрозд. — А я забыл, сколько он мне дал. И теперь не знаю, что делать.

Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал:

— Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходил и через пять минут возвращался, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались до его ухода?

— Истинно так, — сказал Роман. — Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствиями сильной контузии.

— Память у него никуда не годится, — сказал Володя Почкин. Он смял листок с вычислениями и швырнулся его под стол. — Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся.

— И о чем беседовал, если виделся, — добавил я.

— Память, память, — пробормотал Корнеев нетерпеливо. — При чем здесь память? Мало ли у кого плохая память... Не в этом дело. Что там у него с параллельными пространствами?..

— Сначала надо собрать факты, — сказал Эдик.

— Попугай, попугай, попугай, — продолжал Витька. — Неужели это все-таки дубли?

— Нет, — сказал Володя Почкин. — Я просчитал. Это по всем категориям не дубль.

— Каждую полночь, — сказал Роман, — он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он вбежал туда так спешно, что не успел закрыть дверь...

— И что? — спросила Стелла замирающим голосом.

— Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном.

— Я пошел, — сказал Корнеев, поднимаясь.

— И я, — сказал Эдик. — У нас сейчас семинар.

— И я, — сказал Володя Почкин.

— Нет, — сказал Роман. — Ты сиди и печатай. Назначаю тебя главным. Ты, Стеллочка, возьми Саншу и

пиши стихи. А вот я пойду. Вернусь вечером, и чтобы газета была готова.

Они ушли, а мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугае.

Когда Роман вернулся, газета была готова, Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со Стеллой, почему происшествие с попугаем совершиению невозможно.

— Молодцы, — сказал Роман. — Отличная газета. А какой заголовок! Какое бездонное звездное небо! И как мало опечаток!.. А где попугай?

Попугай лежал в чашке Петри, в той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило.

— Кто его сюда положил? — осведомился Роман.

— Я, — сказал Дрозд. — А что?

— Нет, ничего, — сказал Роман. — Пусть лежит. Правда, Саша?

Я кивнул.

— Посмотрим, что с ним будет завтра, — сказал Роман.

Эта бедная старая невинная птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает, что говорит.

Р. Стивенсон

Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. «Алдан» был починен и готов к бою, и, когда я пришел после завтрака в электронный зал, у дверей уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того, что мстительно прогнал дубля Кристобаля Хунты, написав на его листке, что не могу разобрать почерк. (Почерк у Кристобаля Хозевича был действительно неудобочитаем; Хунта писал по-русски готическими буквами.) Дубль Федора Симеоновича принес программу, состав-

ленную лично Федором Симеоновичем. Это была первая программа, которую составил сам Федор Симеонович без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны. Я внимательно просмотрел программу и с удовольствием убедился, что составлена она грамотно, экономно и не без остроумия. Я исправил некоторые незначительные ошибки и передал программу своим девочкам. Потом я заметил, что в очереди томится бледный и напуганный бухгалтер рыбзавода. Ему было страшно и неуютно, и я сразу принял его.

— Да неудобно как-то, — бормотал он, опасливо косясь на дублей. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, это не товарищи, — успокоил я его.

— Ну граждане...

— И не граждане.

Бухгалтер совсем побелел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом:

— То-то же я смотрю — не мигают они... А вот этот в синем — он, по-моему, и не дышит...

Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман.

— Саша?

— Да.

— А попугая-то нет.

— Как так нет?

— А вот так.

— Уборщица выбросила?

— Спрашивал. Не только не выбрасывала, но и не видела.

— Может быть, домовые хамят?

— Это в лаборатории-то директора? Вряд ли.

— Н-да, — сказал я. — А может быть, сам Янус?

— Янус еще не приходил. И вообще, кажется, не вернулся из Москвы.

— Так как же это все понимать? — спросил я.

— Не знаю. Посмотрим.

Мы помолчали.

— Ты меня позовешь? — спросил я. — Если что-нибудь интересное...

— Ну конечно. Обязательно. Пока, дружинце.

Я заставил себя не думать об этом попугае, до которого мне в конце концов не было никакого дела. Я отпустил всех дублей, проверил все программы и занялся гнусной задачкой, которая уже давно висела на мне. Эту задачу дали мне абсолютники. Сначала я им сказал, что она не имеет ни смысла, ни решения, как и большинство их задач. Но потом посоветовался с Хунтой, который в таких вещах разбирался очень тонко, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче и снова ее откладывал, а вот сегодня добил-таки. Получилось очень изящно. Как раз когда я кончил и, блаженствуя, откинулся на спинку стула, оглядывая решение издали, пришел темный от злости Хунта. Глядя мне в ноги, голосом сухим и неприятным он осведомился, с каких это пор я перестал разбирать его почерк. Это чрезвычайно напоминает ему саботаж, сообщил он.

Я с умилением смотрел на него.

— Кристобаль Хозевич, — сказал я. — Я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть по любым четырем переменным.

Он поднял, наконец, глаза и посмотрел на меня. Наверное, у меня был очень счастливый вид, потому что он смягчился и проворчал:

— Позвольте посмотреть.

Я отдал ему листки, он сел рядом со мною, и мы вместе разобрали задачу с начала и до конца и с наслаждением просмаковали два изящнейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам.

— У нас с вами неплохие головы, Александро, — сказал, наконец, Хунта. — В нас есть артистичность мышления. Как вы находите?

— По-моему, мы молодцы, — сказал я искренне.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Это мы опубликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши-автостопы и не брюки-невидимки.

Мы пришли в отличное настроение и начали разбирать новую задачу Хунты, и очень скоро он сказал,

что и раньше иногда считал себя побрекито, а в том, что я математически невежествен, убедился при первой же встрече. Я с ним горячо согласился и высказал предположение, что ему, пожалуй, пора уже на пенсию, а меня надо в три шеи гнать из института грузить лес, потому что ни на что другое я не годен. Он возразил мне. Он сказал, что ни о какой пенсии не может быть и речи, что его надлежит приступить на удобрения, а меня на километр не подпускать к лесоразработкам, где определенный интеллектуальный уровень все-таки необходим, а назначить учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках. Мы сидели, подперев головы, и предавались самоуничижению, когда в зал заглянул Федор Симеонович. Насколько я понял, ему не терпелось узнать мое мнение о составленной им программе.

— Программа! — желчно усмехнувшись, произнес Хунта. — Я не видел твоей программы, Теодор, но я уверен, что она гениальна по сравнению с этим... — Он с отвращением подал двумя пальцами Федору Симеоновичу листок со своей задачей. — Полюбуйся, вот образец убожества и ничтожества.

— Г-голубчики, — сказал Федор Симеонович озадаченно, разобравшись в почерках. — Это же п-проблема Бен Б-бецалеля. К-калиостро же доказал, что она н-не имеет р-решения.

— Мы сами знаем, что она не имеет решения, — сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. — Мы хотим знать, как ее решать.

— К-как-то ты странно рассуждаешь, К-кристо... К-как же искать решение, к-когда его нет? Б-бессмыслица какая-то...

— Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, прикладнику, к сожалению, не доступен. По-видимому, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему.

Тон Кристобalia Хозевича был необычайно оскорбителен, и Федор Симеонович рассердился.

— В-вот что, г-голубчик, — сказал он. — Я не-не могу дискутировать с т-тобой в этом тоне п-при моло-дом человеке. Т-ты меня удивляешь. Это н-неп-педаго-гично. Если тебе угодно п-продолжать, изволь выйти со мной в к-коридор.

— Изволь, — отвечал Хунта, распрямляясь как пружина и судорожно хватая у бедра несуществующий эфес.

Они церемонно выплыли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову, над оставленным листком и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче рокочет бас Федора Симеоновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Кристобаля Хозевича. Потом Федор Симеонович взревел: «Извольте пройти в мой кабинет!» — «Извольте!» — проскрежетал Хунта. Они уже были на «вы». И голоса удалились. «Дуэль! Дуэль!» — защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава бретёра и забияки. Говорили, что он приводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимается а-ля Жан Маре скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Федора Симеоновича можно было быть спокойным. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол, потом Федор Симеонович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки эликсиrom Блаженства. Хунта попшевелит поздрями, закрутит ус и выпьет. Федор Симеонович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию: «Свежих огурчиков!»

В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх.

В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой. Он сидел, как и вчера, на коромысле весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважко. Роман, понурившись, стоял над попугаем и вре-

мя от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его гладила мигрень. А Витька, верхом на стуле, раскачивался как мальчик, играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал, лихорадочно тараща глаза.

— Тот самый? — спросил я вполголоса.

— Тот самый, — сказал Роман.

— Фотон? — Я тоже почувствовал себя неважко.

— Фотон.

— И номер совпадает?

Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом:

— Если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера.

— Хотите, я за Бремом сбегаю? — предложил я.

— Где покойник? — спросил Роман. — Вот с чего нужно начинать! Слушайте, детективы, где труп?

— Тр-руп! — рявкнул попугай. — Цер-ремония! Тр-руп за бор-рт! Р-рубидий!

— Черт знает что он говорит, — сказал Роман с сердцем.

— Труп за борт — это типично пиратское выражение, — пояснил Эдик.

— А рубидий?

— Р-рубидий! Резер-рв! Огр-ромен! — сказал попугай.

— Резервы рубидия огромны, — перевел Эдик. — Интересно, где?

Я наклонился и стал разглядывать колечко.

— А может быть, это все-таки не тот?

— А где тот? — спросил Роман.

— Ну, это другой вопрос, — сказал я. — Все-таки это проще объяснить.

— Объясни, — предложил Роман.

— Подожди, — сказал я. — Давай сначала решим вопрос: тот или не тот?

— По-моему, тот, — сказал Эдик.

— А по-моему, не тот, — сказал я. — Вот здесь на колечке царапина, где тройка...

— Тр-ройка! — произнес попугай. — Тр-ройка!
Кр-руче впр-раво! Смер-рч! Смер-рч!

Витька вдруг встрепенулся.

— Есть идея, — сказал он.

— Какая?

— Ассоциативный допрос.

— Как это?

— Погодите. Сядьте все, молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон?

— Есть диктофон.

— Давай сюда. Только все молчите. Я его сейчас расколю, прохвоста. Он у меня все скажет.

Витька подтащил стул, сел с диктофоном в руке напротив попугая, нахохлился, посмотрел на попугая одним глазом и гаркнул:

— Р-рубидий!

Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы восстановить равновесие, он отозвался:

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

Мы переглянулись.

— Р-резерв! — гаркнул Витька.

— Огр-ромен! Гр-руды! Гр-руды! Р-ричи пр-рав!
Р-ричи пр-прав! Р-роботы! Р-роботы!

— Роботы!

— Кр-рах! Гор-рят! Атмосфер-ра гор-рит! Пр-рочь!
Др-рамба, пр-рочь!

— Драмба!

— Р-рубидий! Р-резерв!

— Рубидий!

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

— Замыкание, — сказал Роман. — Круг.

— Погоди, погоди, — бормотал Витька. — Сейчас...

— Попробуй что-нибудь из другой области, — посоветовал Эдик.

— Янус! — сказал Витька.

Попугай открыл клюв и чихнул.

— Я-нус, — повторил Витька строго.

Попугай задумчиво смотрел в окно.

— Буквы «р» нет, — сказал я.

— Пожалуй, — сказал Витька. — А ну-ка... Невстр-руев!

— Пер-рехожу на пр-рием! — сказал попугай. — Чар-родей! Чар-родей! Говор-рит Кр-рыло, говор-рит Кр-рыло!

— Это не пиратский попугай, — сказал Эдик.

— Спроси его про труп, — попросил я.

— Труп, — неохотно сказал Витька.

— Цер-ремония погр-ребения! Бр-ремя огр-раниченено! Р-речь! Р-речь! Тр-репотня! Р-работать! Р-работать!

— Любопытные у него были хозяева, — сказал Роман. — Что же нам делать?

— Витя, — сказал Эдик. — У него, по-моему, космическая терминология. Попробуй что-нибудь простое, обыденное.

— Водородная бомба, — сказал Витька.

Попугай наклонил голову и почистил лапкой клюв.

— Паровоз! — сказал Витька.

Попугай промолчал.

— Да, не получается, — сказал Роман.

— Вот дьявол, — сказал Витька. — Ничего не могу придумать обыденного с буквой «р». Стул, стол, по-толок... Диван... О! Тр-ранслятор!

Попугай поглядел на Витьку одним глазом.

— Кор-рнеев, пр-рошу!

— Что? — спросил Витька. Впервые в жизни я видел, как Витька растерялся.

— Кор-рнеев гр-руб! Гр-руб! Пр-рекрасный р-работник! Дур-рак р-редкий! Пр-релесть!

Мы захихикали. Витька посмотрел на нас и мстительно сказал:

— Ойр-ра-Ойр-ра!

— Стар-р, стар-р! — с готовностью откликнулся попугай. — Р-рад! Дор-рвался!

— Это что-то не то, — сказал Роман.

— Почему же не то? — сказал Витька. — Очень даже то... Пр-ривалов!

— Пр-ростодушный пр-роект! Пр-римитив! Тр-рудяга!

— Ребята, он нас всех знает, — сказал Эдик.

— Р-ребята, — отозвался попугай. — Зер-рнышко пер-рцу! Зер-ро! Зер-ро! Гр-равитация!

— Амперян, — торопливо сказал Витька.

— Кр-рематорий! Безвр-ременно обор-рвалась! — сказал попугай, подумал и добавил: — Ампер-рмтр!

— Бессвязица какая-то, — сказал Эдик.

— Бессвязиц не бывает, — задумчиво сказал Роман.

Витька, щелкнув замочком, открыл диктофон.

— Лента кончилась, — сказал он. — Жаль.

— Знаете что, — сказал я, — по-моему, проще всего спросить у Януса. Что это за попугай, откуда он, и вообще...

— А кто будет спрашивать? — осведомился Роман.

Никто не вызвался. Витька предложил прослушать запись, и мы согласились. Все это звучало очень странно. При первых же словах из диктофона попугай перелетел на плечо Витьки и стал с видимым интересом слушать, вставляя иногда рецелики вроде: «Драмба игнор-рирует ур-ран», «Пр-равильно» и «Кор-рнеев гр-руб». Когда запись кончилась, Эдик сказал:

— В принципе можно было бы составить лексический словарь и проанализировать его на машине. Но кое-что ясно и так. Во-первых, он всех нас знает. Это уже удивительно. Это значит, что он много раз слышал наши имена. Во-вторых, он знает про роботов. И про рубидий. Кстати, где употребляется рубидий?

— У нас в институте, — сказал Роман, — он, во всяком случае, нигде не употребляется.

— Это что-то вроде натрия, — сказал Корнеев.

— Рубидий — ладно, — сказал я. — Откуда он знает про лунные кратеры?

— Почему именно про лунные?

— А разве на Земле горы называют кратерами?

— Ну, во-первых, есть кратер Аризона, а во-вторых, кратер — это не гора, а скорее дыра.

— Дыр-ра вр-ремени, — сообщил попугай.

— У него любопытнейшая терминология, — сказал Эдик. — Я никак не могу назвать ее общеупотребительной.

— Да, — согласился Витька. — Если попугай все время находится при Янусе, то Янус занимается странными делами.

— Стр-ранный ор-битальный пер-реход, — сказал попугай.

— Янус не занимается космосом, — сказал Роман. — Я бы знал.

— Может быть, раньше занимался?

— И раньше не занимался.

— Роботы какие-то, — с тоской сказал Витька. — Кратеры... При чем здесь кратеры?

— Может быть, Янус читает фантастику? — предположил я.

— Вслух? Попугаю?

— Н-да...

— Венера, — сказал Витька, обращаясь к попугаю.

— Р-роковая стр-растя, — сказал попугай. Он задумался и пояснил: — Р-разбился. Зр-ря.

Роман поднялся и стал ходить по лаборатории. Эдик лег щекой на стол и закрыл глаза.

— А как он здесь появился? — спросил я.

— Как вчера, — сказал Роман. — Из лаборатории Януса.

— Вы это сами видели?

— Угу.

— Я одного не понимаю, — сказал я. — Он умирал или не умирал?

— А мы откуда знаем? — сказал Роман. — Я не ветеринар. А Витька не орнитолог. И вообще это, может быть, не попугай.

— А что?

— А я откуда знаю?

— Это, может быть, сложная наведенная галлюцинация, — сказал Эдик, не открывая глаз.

— Кем наведенная?

— Вот об этом я сейчас и думаю, — сказал Эдик.

Я надавил пальцем на глаз и посмотрел на попугая. Попугай раздвоился.

— Он раздваивается, — сказал я. — Это не галлюцинация.

— Я сказал: сложная галлюцинация, — напомнил Эдик.

Я надавил на оба глаза. Я временно ослеп.

— Вот что, — сказал Корнеев. — Я заявляю, что мы имеем дело с нарушением причинно-следственного закона. Поэтому выход один — все это галлюцинация, а нам нужно встать, построиться и с песнями идти к психиатру. Становись!

— Не пойду, — сказал Эдик. — У меня есть еще одна идея.

— Какая?

— Не скажу.

— Почему?

— Побьете.

— Мы тебя и так побьем.

— Бейте.

— Нет у тебя никакой идеи, — сказал Витька. — Это все тебе кажется. Айда к психиатру.

Дверь скрипнула, и в лабораторию из коридора вошел Янус Полуэктович.

— Так, — сказал он. — Здравствуйте.

Мы встали. Он обошел нас и по очереди пожал каждому руку.

— Фотончик, — сказал он, увидя попугая. — Он вам не мешает, Роман Петрович?

— Мешает? — сказал Роман. — Мне? Почему он мешает? Он не мешает. Наоборот...

— Ну, все-таки каждый день... — начал Янус Полуэктович и вдруг осекся. — О чем это мы с вами вчера беседовали? — спросил он, потирая лоб.

— Вчера вы были в Москве, — сказал Роман с покорностью в голосе.

— Ах... да-да. Ну хорошо. Фотончик! Иди сюда!

Попугай, вспорхнув, сел Янусу на плечо и сказал ему на ухо:

— Пр-росо, пр-росо! Сахар-рок!

Янус Полуэктович нежно заулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга.

— Пошли отсюда, — сказал Роман.

— К психиатру! К психиатру! — зловеще бормо-

тал Корнеев, пока мы шли по коридору к нему на диван. — В кратер Ричи. Др-рамба! Сахар-рок!

Фактов всегда достаточно — не хватает фантазии.

Д. Блохинцев

ГЛАВА 5

Витька составил на пол контейнеры с живой водой, мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил:

— Витька, а ты диван выключил?

— Да.

— Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет.

— Выключил и заблокировал, — сказал Витька.

— Нет, ребята, — сказал Эдик, — а почему все-таки не галлюцинация?

— Кто говорит, что не галлюцинация? — спросил Витька. — Я же предлагаю — к психиатру.

— Когда я ухаживал за Майкой, — сказал Эдик, — я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось.

— Зачем? — спросил Витька.

Эдик подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Наверное, от восторга.

— Я спрашиваю: зачем кому-то наводить на нас галлюцинации? — сказал Витька. — И потом, мы не Майка. Мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть? Ну, Янус. Ну, Киврин, Хунта. Может быть, Жиакомо еще.

— Вот Саша у нас слабоват, — извиняющимся тоном сказал Эдик.

— Ну и что? — спросил я. — Мне, что ли, одному мерещится?

— Вообще-то это можно было бы проверить, — задумчиво сказал Витька. — Если Сашку... того... этого...

— Но-но, — сказал я. — Вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет.

Магистры жалостливо улыбнулись.

— Хороший ты программист, Саша, — сказал Эдик.

— Салака, — сказал Корнеев. — Личинка.

— Да, Сашенька, — вздохнул Роман. — Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация.

На лицах магистров появилось мечтательное выражение — видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались. Они жмурились. Они подмигивали кому-то. Потом Эдик вдруг сказал:

— Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать...

Витька очнулся.

— Беркланцы, — сказал он. — Солипсисты немытые. «Как ужасно мое представление!»

— Да, — сказал Роман. — Галлюцинации — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Каждая там у тебя была идея, Эдик?

— У меня?.. Ах да, была. Тоже в общем-то примитив. Матрикаты.

— Гм, — сказал Роман с сомнением.

— А как это? — спросил я.

Эдик неохотно объяснил, что, кроме известных мне дублей, существуют еще матрикаты — точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей матрикат совпадает с оригиналом с точностью до структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки, и вообще это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзамо получил магистра-академика за доказательство матрикатурной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная Маска». Этот матрикат Людовика Четырнадцатого был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сэгиор.

Я не знал тогда, кто такой Ришар Сэгиор, но я сра-

зу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.

— Да, это так, — сказал Эдик. — Я и не настаиваю. Тем более что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии.

— Вот именно, — сказал я смелее. — Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете? Как Луи Седловой.

— Ну? — сказал Корнеев без особого интереса.

— Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же странницу и опять... Тогда понятно, почему попугай похожи. Это один и тот же попугай, и понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон. И вообще, — продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо, — можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы: он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует... По-моему, я все здорово объяснил, а?

— А что, есть такой фантастический роман? — с любопытством спросил Эдик. — С попугаем?..

— Не знаю, — сказал я честно. — Но у них там в звездолетах всякие животные бывают. И кошки, и обезьяны, и дети... Опять же на Западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь...

— Ну... во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски, — сказал Роман. — А главное, совершенно непонятно, откуда эти космические попугаи — пусть даже из советской фантастики — могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру...

— Я уже не говорю о том, — лениво сказал Витька, — что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире.

Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся, что возразить.

— Впрочем, — благосклонно продолжал Витька, — наш Сашенция подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие.

— Не стал бы Янус сжигать идеального попугая, — убежденно сказал Эдик. — Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может.

— А почему? — сказал вдруг Роман. — Почему мы так непоследовательны? Почему Седловой? С какой стати Янус будет повторять Л. Седлова? У Януса есть тема. У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого!

— Давайте, — сказал я.

— Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством? — спросил Эдик.

— Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел? Эдик прав, это матрикаты, это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны: попугай дохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался...

— Почему они говорят по-русски? — спросил Эдик. — И почему все-таки у попугаев такой лексикон?

— Значит, и там есть Россия, — сказал Роман. — Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи.

— Сплошные натяжки, — сказал Витька. — Почему именно попугаи? Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев — прекрасный работник?

— Грубый, — подсказал я.

— Грубый, но прекрасный. И куда все-таки девался дохлый попугай?

— Вот что, — сказал Эдик. — Так нельзя. Мы ра-

ботаем, как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие ученые. У меня который год в подполье происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит». Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем...

И мы расписали все красивым Эдиковым почерком.

Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы: группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования и что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список вопросов выглядел так.

Почему попугай за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же? Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был перед первым (нулевого) и от которого осталось только перо? Куда девалось перо? Куда девался второй (издохший) попугай? Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев? Как объяснить, что третий попугай знает всех нас, в то время как мы видим его впервые? («Почему и от чего издохли попугаи?» — добавил было я, но Корнеев проворчал: «Почему и от чего первым признаком отравления является посинение трупа?» — и мой вопрос не записали.) Что объединяет Януса и попугаев? Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера? Что происходит с Янусом в полночь? Почему У-Янус имеет странную манеру

говорить в будущем времени, в то время как за А-Янусом ничего подобного не замечалось? Почему их вообще двое, и откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах?

После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда: что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира, но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, понастоящему удивительно только, если считать, что эти три или четыре попугая — один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров — в особенности шестизначных — для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай. Тогда нарушается закон причинно-следственной связи, закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Подумаешь, лексикон... Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал:

— Ребята, кажется, я догадываюсь.

Мы не сказали ни слова. Мы только повернулись к нему — одновременно и с шумом. Витька встал.

— Это просто, как блин, — сказал он. — Это три-виально. Это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать.

Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы за-

хватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился.

— Контрамоция! — изрек Витька.

Эдик лег.

— Хорошо! — сказал он. — Молодец!

— Контрамоция? — сказал Роман. — Что ж... Ага... — Он завертел пальцами. — Так... Угу... А если так?.. Да, тогда понятно, почему он нас всех знает... — Роман сделал широкий приглашающий жест. — Идут, значит, оттуда...

— И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера, — подхватил Витька. — И фантастическая терминология...

— Да подождите вы! — завопил я. Последняя страница детектива была написана по-арабски. — Подождите! Какая контрамоция?

— Нет, — сказал Роман с сожалением, и сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не пойдет. — Не получается, — сказал Роман. — Это как кино... Представь себе кино...

— Какое кино?! — закричал я. — Помогите!!!

— Кино наоборот, — пояснил Роман. — Понимаешь? Контрамоция.

— Дрянь собачья, — расстроенно сказал Витька и лег на диван посом в сложенные руки.

— Да, не получается, — сказал Эдик тоже с сожалением. — Саша, ты не волнуйся: все равно не получается. Контрамоция — это, по определению, движение по времени в обратную сторону. Как нейтринно. Но вся беда в том, что, если бы попугай был контратом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы... А вообще-то идея хорошая. Попугай-контратом действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контратом-Янус действительно не мог бы знать, что происходит в нашем «вчера». Потому что написание «вчера» было бы для него «завтра».

— В том-то и дело, — сказал Витька. — Я так и подумал: почему попугай говорил про Ойру-Ойру «стар»? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на

полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего...

— Послушайте, а разве это возможно — контрамоция? — сказал я.

— Теоретически возможно, — сказал Эдик. — Ведь половина вещества во вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимался.

— Кому это нужно и кто это выдержит? — сказал Витька мрачно.

— Положим, это был бы замечательный эксперимент, — заметил Роман.

— Не эксперимент, а самопожертвование, — прорвичал Витька. — Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции... Нутром чую.

— Ах, нутром!.. — сказал Роман, и все замолчали.

Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что же мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира и для мира контрамата... А значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три и не четыре, а всего один, один и тот же. Что получается? Десятого с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее утром одиннадцатого он жив опять. Не только не испепелен, но цел и невредим. Правда, к середине дня он издыхает и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно! Я чувствовал, что это чертовски важно — чашка Петри.. Единство места!.. Двенадцатого попугай опять жив и просит сахарок... Это не контрамоция, это не фильм,пущенный наоборот, но что-то от контрамоции здесь все-таки есть... Витька прав... Для контрамата ход событий таков: попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот: попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив... Словно фильм разрезали

на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый... Какие-то разрывы непрерывности... Разрывы непрерывности... Точки разрыва...

— Ребята, — сказал я замирающим голосом, — а контрамоция обязательно должна быть непрерывной?

Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок, Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились.

— Полночь! — сказал он страшным шепотом.

Все вскочили.

Было так, точно я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мои щеки, они били меня по спине и по шее, они повалили меня на диван и повалились сами. «Умница!» — вопил Эдик. «Голова!» — ревел Роман. «А я то думал, что ты у нас дурак!» — приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу.

Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам немедленно, и мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились! Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яства. Мы вдыхали ароматы, мы закатывали глаза и чмокали, мы потирали руки, ходя вокруг, мы предвкушали...

— Давайте, паконец, внесем ясность, — вкрадчивым голосом начал Роман, — в запутанную проблему Тунгусского дива. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты из анти вещества, самовзрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — все это слишком банально, а значит, далеко от истины. Для меня Тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев, и я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва

просто потому, что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение Тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дискретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда. Что же произошло тридцатого июня тысяча девятьсот восьмого года в районе Подкаменной Тунгуски? Примерно в середине июля того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это не были простые, безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты, товарищи! Люди, прибывшие в наш мир из другой вселенной, где время течет на встречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу вселенную как фильм, пущенный наоборот, превратились в контрамоты дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл был у них равен земным суткам, то существование их, с нашей точки зрения, выглядело бы так. В течение, скажем, первого июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь они вместе со всем своим оборудованием переходят не во второе июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало тридцатого июня, то есть не на мгновение вперед, а на двое суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце тридцатого июня они переходят не в первое июля, а в самое начало двадцать девятого июня. И так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершаєт на своей орбите весьма странные скачки — скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над Землею первого июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского Евразийского материка мощный пожар, дым которого

они наблюдали в могучие телескопы и раньше — второго, третьего и так далее июля в нашем счете времени. Катализм и сам по себе заинтересовал их, однако научное их любопытство было окончательно распалено, когда утром тридцатого июня — в нашем счете времени — они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера — в его счете времени — своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался ка-гамма-плазмоин...

— Как-как? — спросил Витька.

— Ка-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, взял ее. Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло. И не удивительно. Контрамоты вступили в свой новый день — двадцать девятое июня по нашему времязисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около двух часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся падению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии.

Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая.

— Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, — продолжал Роман, — не должна нас интересовать. Может быть, числа пятнадцатого июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняю-

щую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне Силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено также, что где-нибудь в девятьсот шестом или, скажем, в девятьсот первом году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое небольшое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе Подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, что там было до о. Дикси*.

Роман откашлялся и выпил кружку живой воды.

— У кого есть вопросы к докладчику? — осведомился Эдик. — Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слова?

Слова прошли все. И все заговорили. Даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим, и через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающе ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления.

В тысяча восемьсот сорок первом году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий, скромный старичок, переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями,

однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук. Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего, и, верно, потому он не замечал того, чему дивились другие: старик не только не дряхел с годами, но, напротив, становился как будто бы даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока не попали, наконец, в Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства...

Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Я. П. Невструев седьмого марта тысяча восемьсот сорок первого года. Каким образом и когда Я. П. Невструев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился о том, что У-Янус и А-Янус — один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры-Ойры и поверил, потому что понять не мог. Ойра-Ойра узнал от Жиакомо и тоже поверил, потому что был молод и восхищен. Корнееву рассказала об этом уборщица, и Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Баалович и Федор Симеонович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во все, кроме бога.

Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно. Зато будущее мы знали совершенно точно. А-Янус, который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамации. Он посвятит ей всю жизнь. Он заведет себе друга — маленько-го зеленого попугая, по имени Фотон, которого подадут ему знаменитые русские космолетчики. Это случится девятнадцатого мая не то тысяча девятьсот

* Dixi — я сказал (латин.).

семьдесят третьего, не то две тысячи семьдесят третьего года — именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, вскорости после этого А-Янус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя и попугая Фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невструева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А-Янус превратится в У-Януса, и заскользит назад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни А-Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо У-Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в поль часов поль-поль минут поль-поль секунд поль-поль терций по местному времени А-Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У-Янус и его попугай в тот же самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашинее утро.

Вот почему попугай за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, были так похожи друг на друга: они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон! Может быть, его одолела старость, а может быть, его прохватил сквозняк, но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А может быть, именно потому, что знал. Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс, как кино с переставленными частями. Десятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже нет, он сожжен завтра. Завтра, десятого, Роман находит его в чашке Петри. У-Янус находит покой-

ника тогда же и там же и сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескакивает в девятое. Одиннадцатого с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издается на наших глазах под весами (на которых он будет так любить сидеть теперь), и простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро десятого, будет найден там У-Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро девятого, и там его найдет Роман. Двенадцатого с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро одиннадцатого, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро десятого, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро девятого, будет найдено Романом и брошено в мусорную корзину. Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и так далее Фотон, на радость всем нам, будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца, а У-Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном, личном будущем.

Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его, Амперяна, безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна и что тем не менее мы все там будем. И вообще, сказал Роман, может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас и только твою смерть запомнит. Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось.

Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть У-Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-

первых, он являл собою образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенной площади и — кто знает? — может быть, навстречу аракчеевщине, бироновщине, опричнице. И где-то в глубине времен, на вощеном паркете Санкт-Петербургской де Сианис Академии его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике — коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается — ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет: «Герр Нефструефф!.. Как же это?.. Федь фчера ф «Федомостих» определенно писали, что фы скончались от удара...» И ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор...

— Бросьте, — сказал Корнеев. — Распустили слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все погрем.

— Это совсем другое дело, — сказал грустно Эдик.

— Старику тяжело, — сказал Роман. — Извольте относиться к нему поласковее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь.

— А что он ко мне пристает? — огрызнулся Витька. — О чём беседовали да где виделись...

— Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично.

Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.

— Надо объяснять ему все поподробнее, — сказал я. — Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее.

— Да, черт возьми, — сказал Роман. — Он этой зимой ногу сломал. На гололеде.

— Надо предотвратить, — решительно сказал я.

— Что? — спросил Роман. — Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась...

— Но она у него еще не сломана, — возразил Эдик.

Несколько минут мы пытались все сообразить. Витька вдруг сказал:

— Постойте-ка! А это что такое? Один вопрос у нас, ребята, не вычеркнут...

— Какой?

— Куда девалось перо?

— Ну как — куда? — сказал Роман. — Перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, распив делал...

— Ну и что из этого?

— Да, ведь я же его бросил в корзинку... Восьмого, седьмого, шестого я его не видел... Гм... Куда же оно делось?

— Уборщица выбросила, — предположил я.

— Вообще об этом интересно подумать, — сказал Эдик. — Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?

— Есть вещи поинтереснее, — сказал Витька. — Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике «Скороход»? И что бывает с пиццей, которую он съедает за ужином? И вообще...

Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою «Спидолу» и стал просить два рубля. «Ну дайте», — ныл он. «Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть... Дали бы!..» Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать.

— В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж фантастична. Может быть, судьба У-Януса гораздо удивительнее.

Очень может быть, подумали мы и пошли в столовую.

Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У-Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.

— Нет, Янус Полуэктович, — сказал я. — Вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву.

— Ах да, — сказал он. — Я запамятаовал.

Он так ласково улыбался мне, что я репшился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относился ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись:

— Янус Полуэктович, разрешите, я вам задам один вопрос?

Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, вспомнив что-то, сказал:

— Пожалуйста, прошу вас. Только один?

Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак?.. Я сказал:

— Можно, я зайду к вам завтра с утра?

Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил:

— Нет. Это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку.

Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, не зависящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Речь шла о неизбежности. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать («вплоть до увольнения!»), я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград (куда я, кстати, рвался уже три меся-

ца) тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете...

— Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли? — сказал Янус Полуэктович, откровенно за мною наблюдавший. — А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то... Постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какое-нибудь из них. Вы это поймете, — сказал он убедительно. — Вы это обязательно поймете.

Позже я действительно это понял.

Но это уже совсем-совсем другая история.

ПОСЛЕСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИЙ

Краткое послесловие
и комментарий и. о. заведующего
вычислительной лабораторией НИИЧАВО
младшего научного сотрудника А. И. Привалова

Предлагаемые очерки из жизни Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле этого слова. Однако они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов Г. Проницательного и Б. Питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей.

Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь,

читая восхищенные статьи о конъюнктурных фокусах Выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела Абсолютного Знания. Далее, приятно отметить верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них — не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из «Курса дифференциального и интегрального исчисления». Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что же касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду так называемой правде факта. И будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я тем не менее считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки.

1. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительную распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Это в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я конечно, не считаю последней главы третьей части, где авторы хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблаго-

дарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачи. (Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому вопросу, но они пожали плечами и несколько обиженно сказали, что я отношусь к очеркам слишком серьезно.)

2. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги. Так, например, формулируя диссертационную тему М. Ф. Редькина, они допустили четырнадцать (!) фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не М- поля, а мю- поля; что термин «живая вода» вышел из употребления в по-запрошлом веке; что таинственного прибора, под названием аквавитометр, и электронной машины, под названием «Алдан», в природе не существует; что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ — для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно: на совести авторов остаются дикие термины «вектор-магистатум» и «заклинание Ауэрса»; уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. (Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом-профессионалом.) Список такого рода погрешностей и нелепостей можно было бы без труда продолжить, однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались: один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой — что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной и что какая

бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит.

З. Стремление к упомянутой выше художественной правде (по выражению одного из авторов) и к типизации (по выражению другого) привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что Выбегалло и в какой-то степени Кристобаль Хозевич Хунта (я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-нибудь другой). Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб. Но именно поэтому описанный Корнеев выглядит «полупрозрачным изобретателем» (в терминологии самих авторов) по сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Э. Амперяна. Р. П. Ойра-Ойра в очерках совершил бесплотен, хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках.

Авторы попросили меня объяснить некоторые неизвестные термины и малознакомые имена, встречающиеся в книге. Выполняя эту просьбу, я встретился с определенными затруднениями. Естественно, объяснить терминологию, выдуманную авторами («акватометр», « temporальная передача » и т. п.), я не собираюсь. Но я не думаю, что большую пользу принесло бы объяснение даже реально существующих терминов, требующее основательных специальных знаний. Невозможно, например, объяснить термин « гиперполе » человеку, плохо разбирающемуся в теории физического вакуума. Термин « трансгрессия » еще более емок, и вдобавок разные школы употребляют его в разных смыслах. Короче говоря, я ограничился комментарием к некоторым именам, терминам и понятиям, достаточно широко распространенным, с одной стороны, и до-

статочно специфичным в нашей работе — с другой. Кроме того, я откомментировал несколько слов, не имеющих прямого отношения к магии, но могущих вызвать, на мой взгляд, недоумение читателя.

А в г ѿ ры К. — В древнем Риме жрецы, предсказывавшие будущее по полету птиц и по их поведению. Подавляющее большинство из них было сознательными жуликами. В значительной степени это относится и к институтским авгурам, хотя теперь у них разработаны новые методы.

А на це ф á л — урод, лишенный головного мозга и черепной коробки. Обыкновенно анацефалы умирают при рождении или несколько часов спустя.

Б е ц а л é ль, Л е в Б е н — известный средневековый маг, придворный алхимик императора Рудольфа II.

В а м п í р — см. в урдалак.

В а с и л ý с к. — В сказках — чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее взглядом. На самом деле — ныне почти вымерший древний ящер, покрытый перьями, предшественник первоптицы археоптерикса. Способен гипнотизировать. В виварии института содержатся два экземпляра.

В е р в б ó л ъ ф — см. оборотень.

В урдалáк — см. упырь.

Г á р п и и. — В греческой мифологии — богини вихря, а в действительности — разновидность нежити, побочный продукт экспериментов ранних магов в области селекции. Имеют вид больших рыжих птиц со старушечьими головами, очень неопрятны, прожорливы и сварливы.

Г ý д р а. — У древних греков — фантастическая

многоголовая водяная змея. У нас в институте — реально существующая многоголовая рептилия, дочь З. Горыныча и плезиозаврихи из озера Лох-Несс.

Г и о м. — В западноевропейских сказаниях — безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища. Я разговаривал с некоторыми из гномов. Они действительно безобразны и действительно карлики, но ни о каких сокровищах они понятия не имеют. Большинство гномов — это забытые и сильно усохшие дубли.

Г о л ё м — один из первых кибернетических роботов, сделан из глины Львом Бен Бецалелем. (См., например, чехословацкую кинокомедию «Пекарь императора». Тамошний Голем очень похож на настоящего.)

Г о м ў н к у л у с. — В представлении неграмотных средневековых алхимиков — человекоподобное существо, созданное искусственно в колбе. На самом деле в колбе искусственное существо создать нельзя. Гомуникулусов синтезируют в специальных автоклавах и используют для биомеханического моделирования.

Д а н а й ды. — В греческой мифологии — преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, суд принял во внимание тот факт, что замуж они были отданы насилию. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу: у нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно положили.

Д е м о н М а к с в ё л л а — важный элемент мысленного эксперимента крупного английского физика Максвелла. Предназначался для нападения на второй принцип термодинамики. В мысленном эксперименте Максвella демон располагается рядом с отверстием

в переборке, разделяющей сосуд, наполненный движущимися молекулами. Работа демона состоит в том, чтобы выпускать из одной половины сосуда в другую быстрые молекулы и закрывать отверстие перед носом медленных. Идеальный демон способен таким образом без затраты труда создать очень высокую температуру в одной половине сосуда и очень низкую — в другой, осуществляя вечный двигатель второго рода. Однако только сравнительно недавно и только в нашем институте удалось найти и приспособить к работе таких демонов.

Д ж и н н — злой дух арабских и персидских мифов. Почти все джинны являются дублями царя Соломона и современных ему магов. Использовались в военных и политико-хулиганских целях. Отличаются отвратительным характером, наглостью и полным отсутствием чувства благодарности. Невежественность и агрессивность их таковы, что почти все они находятся в заключении. В современной магии широко используются в качестве подопытных существ. В частности, Э. Амперян на материале тринадцати джиннов определял количество зла, которое может причинить обществу злобный невежественный дурак.

Д ж я и Б е н Д ж я и — либо древний изобретатель, либо древний воитель. Имя его всегда связано с понятием щита и отдельно не встречается. (Упоминается, например, в «Испытании святого Антония» Г. Флобера.)

Д о м о в о й. — В представлении суеверных людей — некое сверхъестественное существо, обитающее в каждом обжитом доме. Ничего сверхъестественного в домовых нет. Это либо вконец опустившиеся маги, не поддающиеся перевоспитанию, либо помеси гномов с некоторыми домашними животными. В институте находятся под началом М. М. Каменоедова и используются для подсобных работ, не требующих квалификации.

Дра́кула, граф — знаменитый венгерский вурдалак XVII — XIX вв. Графом никогда не был. Со-вершил массу преступлений против человечности. Был изловлен гусарами и торжественно проткнут осиновым колом при большом скоплении народа. Отличался необычайной жизнеспособностью: вскрытие обнаружило в нем полтора килограмма серебряных пуль.

Звезда Соломонова. — В мировой литературе — магический знак в виде шестиконечной звезды, обладающий волшебными свойствами. В настоящее время, как и подавляющее большинство других геометрических заклинаний, потерял всякую силу и годен исключительно для запугивания невежественных людей.

Инкуб — разновидность оживших мертвцевов, имеет обыкновение вступать в браки с живыми. Не бывает. В теоретической магии термин «инкуб» употребляется в совершенно другом смысле: мера отрицательной энергии живого организма.

Инкунабула. — Так называют первые печатные книги. Некоторые из инкунабул отличаются поистине гигантскими размерами.

Ифрит — разновидность джинна. Как правило, ифриты — это хорошо сохранившиеся дубли крупнейших арабских военачальников. В институте используются М. М. Камноедовым в качестве вооруженной охраны, так как отличаются от прочих джиннов высокой дисциплинированностью. Механизм огнеметания ифритов изучен слабо и вряд ли будет когда-нибудь изучен досконально, потому что никому не нужен.

Када́вр — вообще говоря, оживленный неодушевленный предмет: портрет, статуя, идол, чучело. (См., например, А. Н. Толстой, «Граф Калиостро»). Одним из первых в истории кадавров была небезызвестная Галатея работы скульптора Пигмалиона.

В современной магии кадавры не используются. Как правило, они феноменально глупы, капризны, истеричны и почти не поддаются дрессировке. В институте кадаврами иногда иронически называют неудавшихся дублей и дублеподобных сотрудников.

Левитация — способность летать без каких бы то ни было технических приспособлений. Широко известна левитация птиц, летучих мышей и насекомых.

«Молот ведьм» — старинное руководство по допросу третьей степени. Составлено и применялось церковниками специально в целях выявления ведьм. В новейшие времена отменено как устаревшее.

Оборотень — человек, способный превращаться в некоторых животных: в волка (в е р в о л ъ ф), в лисицу (к и ц у н э) и т. д. У суеверных людей вызывает ужас, непонятно почему. В. П. Корнеев, например, когда у него разболелся зуб мудрости, обернулся петухом, и ему сразу полегчало.

Оракул — по представлениям древних, средство общения богов с людьми: полет птицы (у авгуров), шелест деревьев, бред прорицателя и т. д. Оракулом называлось также и место, где давались предсказания. «Соловецкий Оракул» — это небольшая темная комната, где уже много лет проектируется установить мощную электронно-счетную машину для мелких прорицаний.

Пифия — жрица-прорицательница в древней Греции. Вещала, насыпавшись ядовитых испарений. У нас в институте пифии не практикуют. Очень много курят и занимаются общей теорией предсказаний.

Рамапите́к — по современным представлениям, непосредственный предшественник питекантропа на эволюционной лестнице.

Сэгю́р Риша́р — герой фантастической повести «Загадка Ришара Сэгиюра», открывший способ объемной фотографии.

Таксидермист — чучельник, набивщик чучел. Я порекомендовал авторам это редкое слово, потому что К. Х. Хунта приходит в ярость, когда его называют просто чучельником.

Тे́рци́я — одна шестидесятая часть секунды.

Три́ба — здесь: племя. Решительно не понимаю, зачем издателям Книги Судеб понадобилось называть племя рамапитеков трибой.

«Упанишáды» — древнеиндийские комментарии к четырем священным книгам.

Упýрь — кровососущий мертвец народных сказок. Не бывает. В действительности упыри (в урдаки, в ампирьы) — это маги, вставшие по тем или иным причинам на путь абстрактного зла. Исконное средство против них — осиновый кол и пули, отлитые из самородного серебра. В тексте слово «упырь» употребляется везде в переносном смысле.

Фáнтом — призрак, привидение. По современным представлениям — сгусток некробиотической информации. Фантомы вызывают суеверный ужас, хотя совершенно безобидны. В институте их используют для уточнения исторической правды, хотя юридически считаться очевидцами они не могут.

А. Привалов

Трагедия и сказка

Две повести Аркадия и Бориса Стругацких, объединенные под одной обложкой, настолько отличны друг от друга, что читатель, впервые столкнувшись с этими писателями, возможно, будет удивлен и даже озадачен, когда из сурового, трагедийного мира, царящего в «Трудно быть богом», он будет чудесным образом перенесен в озорное веселье «Понедельника», который «начинается в субботу».

Впрочем, можно надеяться, что таких читателей будет немного: творчество братьев Стругацких пользуется устойчивой популярностью. Два их произведения, отобранных для «Библиотеки современной фантастики», демонстрируют не только разнообразие творческих приемов, которыми владеют авторы, но и возможности самой фантастики, которые далеко еще не в полную меру используются нашими писателями.

Братья Стругацкие выступили впервые в 1958 году, начав с таких традиционных для фантастики тем, как прилет инопланетных пришельцев или путешествие на Венеру. Но после повести «Попытка к бегству» (1962 г.) их книги дают все меньше и меньше оснований для ярлычка традиционализма, и каждое новое произведение братьев Стругацких радует свежестью и оригинальностью формы, богатством выдумки, глубиной и серьезностью поставленных вопросов, при неизменно сохраняющейся увлекательности повествования. Некоторые их книги вызывали споры, и это вполне естественно, потому что писатели находятся в постоянном поиске.

Путь, проделанный Стругацкими, в какой-то мере характерен и для всей нашей фантастической литературы в целом. С каждым годом все более становится ясным, что задачи фантастики не в выдвижении и нагромождении невероятных научно-технических гипо-

тез и не в популяризаторских диалогах об основах кибернетики или термодинамики. Растет понимание того, что главная задача фантастики — в углубленном внимании к нравственным, социально-психологическим проблемам настоящего и будущего, в создании запоминающихся, масштабных человеческих характеров.

Было бы преждевременным сказать, что на этом пути — пути подлинно художественной литературы — мы уже достигли небывалых успехов. Настоящих успехов пока меньше, чем хотелось бы. Но не следует забывать, что наша фантастика еще весьма молода, что она только начинает разворачиваться в полную силу. И лучшие книги Стругацких вышли за последние годы на лидирующие места в ведущей группе наших писателей-фантастов. К числу таких книг в первую очередь относится повесть «Трудно быть богом».

«Трудно быть богом» — произведение со сложной идеей. Сложной не в смысле ее запутанности или нечеткости, а по самой сути. В своем творчестве Стругацкие неоднократно обращались к теме подвига. Они рассматривали разные аспекты этого явления, привлекающего их (как и многих других писателей) потому, что в героические минуты, часы, дни все человеческое в человеке раскрывается с наибольшей силой. Подвиг первооткрывателей-космонавтов в «Стране багровых туч» и подвиг осознанного долга в «Попытке к бегству», подвиг-самопожертвование во имя науки в «Стажерах» и подвиг воли, самообладания, бескорыстия в «Далекой Радуге». Но подвиг, который должен совершить герой повести «Трудно быть богом», Антон, он же Румата Эсторский, — особого рода. Антон проходит через тяжелейшее нравственное испытание, испытание, требующее от человека мобилизации всех его душевных сил.

Попробуйте поставить себя на место Антона, представьте себе, что каким-то фантастическим образом вы очутились на римской площади Цветов в тот час, когда торжественная и жуткая процессия инквизиторов ведет на костер Джордано布鲁но, а вокруг беснуется толпа, привыкшая и приученная к подобным

зрелищам. Что сделали бы вы? Мрачно промолчали? Стали бы агитировать в пользу гуманизма? Бросились бы с кулаками на зрителей или начали стрелять в палачей? И что вообще надо делать, если развитая гуманистическая цивилизация сталкивается с дикостью и мракобесием?

Можно ли гневаться на людей, столпившихся вокруг костров, можно ли забыть, на каком уровне находится их сознание?

Да, разумом мы прекрасно понимаем, что наивна и бессмысленна попытка одним прыжком преодолеть пропасть, отделяющую сознание человека коммунистического от человека средневекового. Но столь же ясно мы понимаем и то, как трудно Антону и его товарищам, выросшим в обществе, где человек, человеческий разум, человеческая индивидуальность — явления высшей ценности, как трудно им смотреть на пытки, костры, разврат. Далеко не все выдерживают это испытание. «...Десять лет назад Стефан Орловский, он же дон Канада, командир роты арбалетчиков его императорского величества, во время публичной пытки восемнадцати эсторских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам, зарубил императорского судью и двух судебных приставов и был поднят на копья дворцовой охраной. Корчась в предсмертной муке, он кричал: «Вы же люди! Бейте их, бейте!» — но мало кто слышал его за ревом толпы: «Огня! Еще огня!..»

Кто сможет не то что осудить, а хотя бы упрекнуть этого Стефана? Кто сможет упрекнуть и Антона, в конце концов обнажающего свой меч? Есть черта, которую не может перешагнуть человек, если он хочет остаться человеком, то есть существом с горячей душой, способной любить и страдать. Преступившая такую грань душа может превратиться в выжженную или ледяную пустыню. И в то же время мы понимаем, что пост Антона не должен, не может быть оставлен, потому что не могут люди коммунизма оставить страдающий народ, потому что они должны ему помочь.

«Трудно быть богом» назвали авторы свою книгу. Совсем наоборот. Трудно быть человеком. Богом быть

легко. Бог может прилететь на припрятанном вертолете, чтобы спасти вождя крестьянского восстания, или, заплатив взятку золотом «дьявольской» чистоты (полученным в походном синтезаторе), выкупить старого книгочия. Бог мог бы одним движением руки уничтожить любое сборище палачей и насильников. Но, может быть, именно так и следует поступить? Уж воспитанием-то инквизиторов незачем заниматься. Не напрасны ли эти жертвы и страдания, не прекратить ли пытки и убийства разом, обрушив карающую десницу справедливости на палачей местных Джордано? Не слишком ли пассивно-академическую роль отвели себе посланцы Земли?

Вот вопросы, которые неизбежно рождаются у каждого во время чтения книги. Но в самой книге есть ответ на эти недоумения. Авторы сами перебрали все возможные варианты оперативного вмешательства в жизнь гипотетической планеты, где «правит бал» средневековое варварство.

Конечно, можно применить силу оружия. Так как посланцы Института Экспериментальной Истории — люди, а не боги, то в негодующем мозгу Антона не раз рождаются картины торжествующего мщения: «...Мысль о том, что тысячи... по-настоящему благородных людей фатально обречены, вызывала в груди ледяной холод и ощущение собственной подлости. Временами это ощущение становилось таким острым, что сознание помрачалось и Румата словно наяву видел спины серой сволочи, озаряемые лиловыми вспышками выстрелов, и перекошенную животным ужасом, всегда такую незаметную, бледненькую физиономию дона Рэбы, и медленно обрушающуюся внутрь себя Веселую Башню...»

Ну, хорошо, всякие там доны рэбы, серые штурмовики и черные монахи уничтожены. Что делать потом? Ведь сознание людей Арканара не подготовлено к столь революционным переменам. Даже самые передовые из них, вроде ученого Будаха, спасенного к тому же в последнюю минуту из рук палача, не могут отрешиться от представления, что существующий строй — лучший, единственно возможный строй. На-

сильственное уничтожение правящей верхушки ввергнет страну в пучину кровавого хаоса, в отчаянную борьбу за власть...

Но если не годится этот путь, то неужели у людей коммунистического будущего с их воистину фантастической мощью нет, кроме «лиловых вспышек выстрелов», других средств, чтобы вмешаться и изменить ход событий? Средства есть. И о них думает Антон: «Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация, Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках...» И сам же себе отвечает: «Стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?» А право же, история слишком серьезная штука, чтобы «отменять» да еще насилиственным образом закономерности ее движения.

Стругацкие с такой поразительной наглядностью, с такими зрымыми подробностями изобразили несуществующую феодальную страну, что временами, право, забываешь, что все это Страна Фантазия, что не может быть существ, абсолютно схожих с людьми. Но все же давайте отвлечемся от правил игры, которые предложены нам авторами, и подумаем: а зачем все это нужно? Не пустая ли это игра воображения? Какие задачи ставили перед собой создатели несуществующего Арканара?

«...Дайте наиболее совершенные электронные машины народу, состоящему из неграмотных людей. Вернитесь к ним через несколько лет, и вы увидите эти машины поломанными, а людей столь же несчастными и невежественными». Эта цитата взята из сборника «Какое будущее ожидает человечество?», где собраны материалы интереснейшей дискуссии, состоявшейся между марксистами и немарксистами в Руайонне, парижском пригороде. Такой довод привел один советский философ в ответ на высказывания апологетов технократии, видящих спасение от всех современных бед в развитии науки и техники. Но сами по себе ни наука, ни техника не могут помочь людям — скорее они повредят им. Все дело в том, кому служат,

в чьих руках находятся эта наука и эта техника, или, другими словами, каковы социальные условия в обществе.

В сущности, единовременное вмешательство землян в жизнь планеты Стругацких было бы гиперболизированным воплощением идей технократов. Стоит, мол, дать людям могучую технику, и все пойдет само собой. Увы, люди-то останутся «столь же несчастными и невежественными»; кавалерийские попытки перепрыгнуть через исторические эпохи, к сожалению, могут только усугубить положение.

Но если проблемы, выдвинутые в фантастической книжке, активно обсуждаются крупнейшими философами и социологами, то отсюда следует вывод: эти проблемы актуальны и злободневны, даже в чисто практическом плане.

Однако не значит ли это, что книга Стругацких зовет к тому, чтобы слаборазвитые народы были оставлены на произвол судьбы? Конечно, нет, ведь для того и посланы разведчики на планету, для того и приносят они жертвы, чтобы изучить реальные возможности для помощи тамошним жителям. Кажется, сами авторы склонны считать, что они ограничились в повести только постановкой вопроса. И действительно, окончательных решений они не предлагают, но все же ответ в книге намечен.

Ведь Антон и прочие посланцы человечества всеми силами спасают разум планеты, представителей ее передовых кругов — книжников и поэтов, ученых и бунтарей. Разумеется, просветительство само по себе не может быть причиной изменения общественной структуры. Но прогрессивные идеи, рождаясь всякий раз из социальных противоречий данного исторического периода, активно воздействуют на формирование социального самосознания народных масс и тем самым способствуют революционным преобразованиям, ускоряют их ход. На известном этапе этого процесса, вероятно, можно будет помочь и оружием.

Конечно, было бы неправильно видеть в произведении какую-то злободневную инструкцию, это книга-притча, у которой есть свой философский подтекст,

трактующий понятия гуманности и бесчеловечности, разума и чувства, благородства и подлости... А кроме того, в ней есть и еще одна сторона. Она, эта сторона, идейно не менее важна, чем все то, о чем шла речь до сих пор. И если я говорю о второй стороне гораздо короче, то лишь потому, что она никаких недоумений вызвать не может. «Трудно быть богом», кроме всего прочего, — яростный памфлет, направленный против тирании, насилия, против равнодушия, жестокости, против обывальщины, которая вскармливает деспотизм. Не нужно быть особо тонким интерпретатором творчества Стругацких, чтобы понять: главный свой удар они наносят по фашизму, что неоднократно подчеркнуто прямыми аналогиями. Может быть, сравнение морали фашизма со средневековой варварской моралью не столь уж и ново, но от этого оно не перестает быть верным и точным...

Что же касается второй из вошедших в этот том повестей, то она служит еще одним доказательством (если такие доказательства нужны), что фантастика дает необыкновенно богатые возможности юмористам, сатирикам, памфлетистам...

«Сказка для младших научных сотрудников», — написали авторы в подзаголовке. И это действительно сказка, самая настоящая сказка. И, как каждая сказка, это — ложь (то есть я хотел сказать: фантастика), да в ней намек, добрым молодцам (то есть младшим научным сотрудникам и всем прочим читателям) урок.

Но это не только сказка, это еще и шутка, не-бывальщина, пародия, а в чем-то, может быть, даже и автопародия. Поэтому читатель «Понедельника...» должен обладать чувством юмора или хотя бы чувством, что он не обладает чувством юмора. Ведь «Понедельник начинается в субботу» весьма затруднительно отнести к так называемой научной фантастике. И в то же время правомерность включения повести-сказки в «Библиотеку современной фантастики» не вызывает никаких сомнений.

Она и вправду удивительно современна, эта сказка, где юмористический эффект достигается соединением

столъ далеких друг от друга стихий — стихии современности с ее мудреной терминологией, с техническими фокусами, с забавными при взгляде со стороны обычаями середины XX века и стихии старинного фольклора с его певучим «гой-еси», с домашними, очень поэтичными чудесами. На стыке этих двух стихий и рождаются: НИИЧАВО, квантовая алхимия, кепка-невидимка, или баба-яга, разъезжающая на такси, или огнедышащий дракон, которого возят на полигон в цистерне, или чародеи, стоящие в очереди за получкой... Но улыбка, вызываемая этими картинаами, была бы в значительной степени бессодержательной, если бы за ними не прятались различные «намеки».

Понедельник начинается в субботу у людей, которые искренне увлечены своим делом, которые работают не за страх, а за совесть, которых клещами не оторвешь от любимого занятия. То, что научные сотрудники в повести Стругацких занимаются исследованием проблем чародейства и волшебства, ничуть не мешает нам узнавать в них наших хороших знакомых — славных ребят, испещряющих математическими формулами салфетки в столовых. И поистине чудесные дела, которыми занимаются эти молодые люди в институтах, лабораториях и конструкторских бюро, зачастую куда более фантастичны, чем наивные мероприятия, организуемые героями волшебных сказок.

Стругацкие дружелюбно посмеиваются над растерянностью своего городского героя, неожиданно для себя окунувшегося в сказочный мир, более едко, но все же не очень зло они «критикуют» подозрительную и прижимистую старуху Наину Киевну. Однако есть вещи, которые вызывают у авторов уже не улыбку, а презрение и гнев. И тогда добродушный юмор сменяется сатирой, гротеском.

Конечно, далеко не в каждом научно-исследовательском институте есть столь же ретивые администраторы, как Модест Матвеевич, и такие квазипрофессора, как Выбегалло. Но вместе с тем едва ли кто рискнет утверждать, что это герои чисто фантастические. К сожалению, наверно, каждому приходилось встречать

в жизни и модестов матвеевичей, и выбегалл — полуграмотных, но чрезвычайно претенциозных невежд, не только речь, но и мышление которых является собой диковинную смесь «французского с нижегородским», блестящее спародированную Стругацкими. Бывало и так, к сожалению, что от подобных выбегалл зависело подчас решение важных вопросов. Но как упорно ни держались выбегаллы на поверхности, как ловко ни пользовались они своим любимым оружием — очковтирательством и демагогией, их дутые репутации рано ли, поздно ли лопались, как гриб-бождевик, как разлетевшиеся на части «эксперименты» профессора Выбегалло. А в плодах научного творчества профессора, во всех этих караврах с ненасытной глоткой мы вновь узнаем модели самых главных, самых ненавистных врагов писателей — мещан-потребителей.

С первых строк «Понедельника...» читатель попадает в атмосферу нашего замечательного русского Севера, окруженнего и впрямь романтической дымкой народных поверий и легенд. Не только в сказке Стругацких, но и наяву в наших северных областях самым удивительным, иногда даже парадоксальным образом сочетаются старина и современность, средневековые Соловки и атомные ледоколы. Но случается и так, что под натиском нового старина съеживается, пропадает. А этого не должно быть. Наш священный патриотический долг — сохранить советский Север, этот бесценный дар, оставленный нам в наследство предками, чтобы еще долгие века люди могли восхищаться творческим гением русских умельцев. И любовное описание выдуманного, но вполне похожего на реальный городок Лукоморье, где происходит действие, тоже таит в себе намек. Вся эта старина полноценно входит в нашу сегодняшнюю жизнь, а то, что авторы временами незлобиво посмеиваются над несколько провинциальной Говорящей Щукой, которой никак не удается идти в ногу с техническим прогрессом, отнюдь не нарушает атмосферу уважения к старине, заслуживающей уважения.

Хотя в послесловиях и не принято делать критических замечаний, я все-таки решусь на одно. Меня не

очень устраивает финал «Понедельника...». Мне кажется, что слишком уж засерьезнили его авторы, придумав хитроумную историю с У-Янусом и А-Янусом. В отличие от большинства других мест, сцен, образов, ходов «Понедельника...» за этой самой контрамоцией не скрывается никакого намека. Она существует сама по себе и именно поэтому выпадает из общей забавно иронической тональности. Когда Стругацкие остроумно высмеивали пустопорожнюю и трафаретную фантастику в путешествии по описываемому времени, мне думается, они смело могли бы включить в число встреченных Приваловым персонажей директора института, живущего во «встречном времени»...

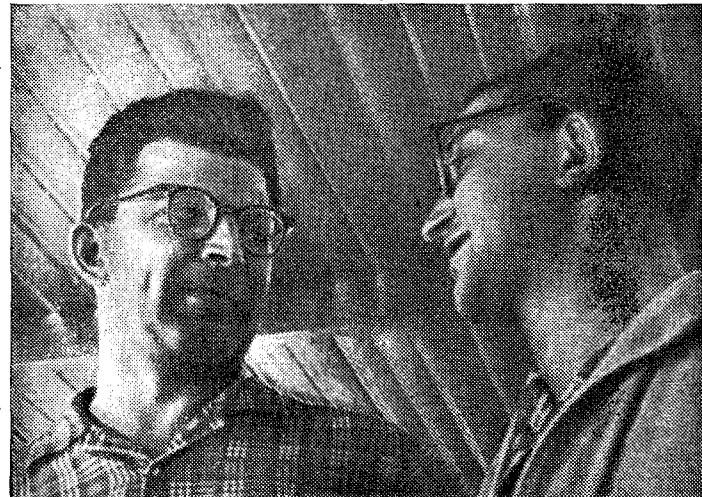
Я начал с заявления, что «Трудно быть богом» и «Понедельник начинается в субботу» кажутся написанными разными авторами. Конечно, это не совсем верно. Повести объединяет как и неизбежное сходство авторской интонации, так и общий оптимистический взгляд на жизнь. Жизнь не состоит из одножанровых элементов, в ней нет ни сплошных трагедий, ни сплошных комедий. Оптимизм «Трудно быть богом» не только в утверждаемой авторами исторической неизбежности победы сил добра над силами зла, в мрачную обстановку «Трудно быть богом» нередко врывается улыбка, скажем, вместе с появлением барона Пампы, этакого арканарского Портоса. А на веселые страницы «Понедельника...» нет-нет да и проникнет нотка грусти...

Да, настоящая фантастика — это совсем не научно-технические выдумки, которые и вправду не заслуживают ничего большего, чем две сухие буквы «НФ», смахивающие на что-то вроде торговой марки. Фантастика, как и вся прочая литература, — прежде всего человековедение, это литература в литературе, которой в равной степени «показаны» и остросюжетные приключенческие повести, и сатирические памфлеты, и лирические раздумья, и философско-социальные романы. Творчество братьев Стругацких — отличный пример того, каких успехов можно достичь в любом из этих жанров умелыми, галантливыми руками.

ВСЕВОЛОД РЕВИЧ

СТРУГАЦКИЙ
Аркадий Натаевич

СТРУГАЦКИЙ
Борис Натаевич



родился 28 августа 1925 года. По специальности переводчик-референт японского языка.

родился 15 апреля 1933 года. По специальности звездный астроном.

Пишут в соавторстве. Первая книга — научно-фантастическая повесть «Страна багровых туч» — вышла в 1959 году. С тех пор у Стругацких вышли сборники рассказов и повестей «Шесть спичек» и «Путь на Амальтею», повести «Сталкеры», «Возвращение», «Далекая Радуга» и «Трудно быть богом», «Хищные вепри века» и «Попытка к бегству» и сказка «Понедельник начинается в субботу».

*Аркадий Натанович Стру-
гацкий, Борис Натанович
Струацкий.* ТРУДНО
БЫТЬ БОГОМ. ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ
В СУББОТУ. М., «Молодая
гвардия». 1966. 432 с. (Б-ка
современной фантастики.
В 15-ти томах, т. 7). Р2.
Редактор *Б. Клюева*.
Художественный редактор
А. Степанова. Техничес-
кий редактор *И. Егорова*.
Подписано к печати 12/IX
1966 г. Бум. 84×108¹/₃₂.
Печ. л. 13,5(22,68). Уч.-изд.
л. 21,7. Тираж 215 000 экз.
Цена 87 коп. Заказ 173.
Типография «Красное зна-
мя» изд-ва «Молодая гвар-
дия», Москва, А-30, Су-
щовская, 21.

L. L. Korn.

MORNING FIELD